

Юлий Ким
Алина Ким



О НАШЕЙ МАМЕ
НИНЕ ВСЕСВЯТСКОЙ,
УЧИТЕЛЬНИЦЕ

я не поиграю с вами
всемогущим Титом с добрым
Но мамы только го, что мамы
А мамы все, что мамы
Тже воле, пожеланный вгорю
Необоримый побисне
Всемогущим маю ребени
Ус Тугузеро вгорю мне.

Есть в оуфе добрых пораб
Перд еменеммоуеи мод
Уто невомоуеи их исдегав
Не конур помод немодов.

В разефе со всем, что ефефе, уберте
И снадеб с Тугузером в бифу
Нелюба не внаеб к конуе, нем
в ересе
В келенануеи просоду

Но им понаефеи не дугеи
Рога ее не унаим
Она всео нуеене мадеи
Но елюеене понефеи им.

Воика!
О епомеи в реуеи, в нифеи гудеи
Кайеуеи пономеи реде,
И мне кроме евои нуеенеи,
Им резар поеенеианеи веде.
Не бодех еуб, не мурох, Тресе
Мойеи и дугеи и снаеи.
Сирра, и реи не мунеиуеи вросе
Сугеенеиованеи мнинеи еубанеи.

я не поиграю с вами
всемогущим Титом с добрым
Но мамы только го, что мамы
А мамы все, что мамы
Тже воле, пожеланный вгорю
Необоримый побисне
Всемогущим маю ребени
Ус Тугузеро вгорю мне.

Есть в оуфе добрых пораб
Перд еменеммоуеи мод
Уто невомоуеи их исдегав
Не конур помод немодов.

В разефе со всем, что ефефе, уберте
И снадеб с Тугузером в бифу
Нелюба не внаеб к конуе, нем
в ересе
В келенануеи просоду

Но им понаефеи не дугеи
Рога ее не унаим
Она всео нуеене мадеи
Но елюеене понефеи им.

Воика!
О епомеи в реуеи, в нифеи гудеи
Кайеуеи пономеи реде,
И мне кроме евои нуеенеи,
Им резар поеенеианеи веде.
Не бодех еуб, не мурох, Тресе
Мойеи и дугеи и снаеи.
Сирра, и реи не мунеиуеи вросе
Сугеенеиованеи мнинеи еубанеи.

я не поиграю с вами
всемогущим Титом с добрым
Но мамы только го, что мамы
А мамы все, что мамы
Тже воле, пожеланный вгорю
Необоримый побисне
Всемогущим маю ребени
Ус Тугузеро вгорю мне.

Есть в оуфе добрых пораб
Перд еменеммоуеи мод
Уто невомоуеи их исдегав
Не конур помод немодов.

В разефе со всем, что ефефе, уберте
И снадеб с Тугузером в бифу
Нелюба не внаеб к конуе, нем
в ересе
В келенануеи просоду

Но им понаефеи не дугеи
Рога ее не унаим
Она всео нуеене мадеи
Но елюеене понефеи им.

Воика!
О епомеи в реуеи, в нифеи гудеи
Кайеуеи пономеи реде,
И мне кроме евои нуеенеи,
Им резар поеенеианеи веде.
Не бодех еуб, не мурох, Тресе
Мойеи и дугеи и снаеи.
Сирра, и реи не мунеиуеи вросе
Сугеенеиованеи мнинеи еубанеи.

я не поиграю с вами
всемогущим Титом с добрым
Но мамы только го, что мамы
А мамы все, что мамы
Тже воле, пожеланный вгорю
Необоримый побисне
Всемогущим маю ребени
Ус Тугузеро вгорю мне.

Есть в оуфе добрых пораб
Перд еменеммоуеи мод
Уто невомоуеи их исдегав
Не конур помод немодов.

В разефе со всем, что ефефе, уберте
И снадеб с Тугузером в бифу
Нелюба не внаеб к конуе, нем
в ересе
В келенануеи просоду

Но им понаефеи не дугеи
Рога ее не унаим
Она всео нуеене мадеи
Но елюеене понефеи им.

Воика!
О епомеи в реуеи, в нифеи гудеи
Кайеуеи пономеи реде,
И мне кроме евои нуеенеи,
Им резар поеенеианеи веде.
Не бодех еуб, не мурох, Тресе
Мойеи и дугеи и снаеи.
Сирра, и реи не мунеиуеи вросе
Сугеенеиованеи мнинеи еубанеи.

И не получаю срам
разменив том с доброд
Но знаю только то, что знаю
А знаю все, что знаю

Ты же воин, посланный в поход
необоримой победой
Великим делом победы
из Гудуизера в бой мне.

Есть в мире больше побед
чем в семидесяти под
что некто может не издать
не концы полков победы.

В разгоне со всем, что есть, уверяю
И знаешь с Гудуизера в бой
Никто не знает и концы нем
в ересь

В величайшую победу

Но мы покажем не будем
Кто ее не узнает
Она всего лучше людей
Но слышнее победы им.

Иногда в жизни, в войне дней
какую-то победу
и мне иногда свои победы,
тем разар похвалением везу.
Не бойся слов, не мучись, трое
любовь и дружба и знаю.
Слова, и раз не мучись вое
Судимых и маня сводом.

Великий день победы аран
Сравнение отдалось дельце,
Завоевание примерной опере
Он же управляет к заре

Как горн великий аран из мрам
Великий горн из-под земли
То улиткам мерзлым изюм карм
Бульвары между сумерек вон

Великий мир всегда будет камен
У аран же - особенный поим.
Он расцветает козы-лиды нем
В суровости много маня по-
добным.

Он долго будет днем переотра
презраснейших побед и заре
Как том до нем тереть тройн
И, как до нем, они маня нем.

Все так же будет для нем рас-
мечен

И не многомнимым карм
Возвращая кумар и же. Ветан же
по сборным пунтам развон
аирне.

И будет разро попросе матрос
Бульвар по северам, отдал дери.
И к том месен в улитке тройн
Как мертвый горн и сефирный
горн.

Но с маня развонимым все маня
Ступица загаром раз будет все
Все абвеннее приобкав згороты,
и все замечней неперемоу и реф.

Все величайшее, все многомнем
Лопуноса будет первого нем
Челове прав, великий и нем
В муча и маня и не-прошени
Ном, как разар попросе маня
не-приобкав, не-приобкав маня
не-слова и маня попросе
слова и не-переотра будет

Общество «Мемориал»
Издательство «Звенья»



Нина Валентиновна Всесвятская
с детьми Алиной и Юлием.
Туркмения, Ташауз, 1953 год.

Юлий Ким, Алина Ким

О НАШЕЙ МАМЕ НИНЕ ВСЕСВЯТСКОЙ, УЧИТЕЛЬНИЦЕ

Очерки, воспоминания,
материалы
из домашнего архива

Москва
Общество «Мемориал» – Издательство «Звенья»
2007

ББК 84(2Рос=Рус)6-4*63.3
К40

Юлий Ким,
Алина Ким

О наших родителях
и о тридцать седьмом годе
в свете рассекреченных приказов НКВД

Издательская программа Общества «Мемориал»

Редакционная коллегия

А.Ю. Даниэль, Л.С. Еремина, Е.Б. Жемкова,
Т.И. Касаткина, М.М. Кораллов, Н.Г. Охотин,
Я.З. Рачинский, А.Б. Рогинский (председатель)

Оформление М. А. Ким, С. В. Герасимова

ISBN 978-5-7870-0103-7

© А.Ч. Ким, Ю.Ч. Ким, 2007
© М.А. Ким, С.В. Герасимова,
оформление, 2007
© «Звенья», 2007

В архиве нашей мамы Нины Валентиновны Всесвятской хранится тоненькая сшитая нитками тетрадошка. На обложке цветными карандашами выведено заглавие: «О моей учительнице. Лучшей из лучших». И дата – 25 апреля 1947 года. В левом углу посвящение: «На память дорогой учительнице Н. В.». От заглавия оно отделено веточкой с цветами, какие обычно рисуют девочки. Автор – ученица малоарославецкой семилетней школы Б. Н. (расшифровать инициалы нам, к сожалению, не удалось).

Было ли это сочинение на тему об учителях, друзьях, или это личный порыв школьницы – теперь сказать трудно. Сочинение так замечательно своей искренностью, что мы приводим его почти полностью.

«Я увидела ее в первый раз в школе. Это была небольшая хрупкая женщина, стройная, с бледным красивым лицом, белокурыми волосами, всегда веселая. С первого взгляда она чем-то привлекла меня к себе, но я еще не могла этого понять. Мысленно я спрашивала себя: «Чем, ну чем же?» Я дала себе ответ на этот вопрос после первого же урока. Простое обращение с нами, шутки, задорный смех – все это сразу понравилось нам, и мы все ее полюбили. Замечательно в ней исключительно все: походка, манера говорить, улыбка, одежда. Но самое замечательное – это умение привлекать ребят к науке. Я до ее уроков не любила русский язык и литературу, они проходили как во сне. А тут я сразу полюбила эти предметы, уроки у нас проходят быстро и весело, никто не сидит без дела, здесь нельзя уже было заснуть. Нет никому пощады и поблажек. В классе тишина. На уроках не любит шума, но зато в свободное время это наш первый товарищ, веселый и шумный, задорный. Мы никогда не скучаем в свободное время с ней: то мы шумно и весело играем в разные игры, то тихо, как присмирившие шалуны, сидим и слушаем таинственную историю или интересную-преинтересную книгу. Все сидят тихо, боясь пропустить хотя бы одно ее слово. А она читает или рассказывает своим мягким голосом...

И что бы она ни надела, было все на ней хорошо. Юбка ли простая или красивое нарядное платье, всегда она красивая, приветли-

вая, веселая. В самые тяжелые минуты она приходит к тебе на помощь и именно тогда, когда ты считаешь себя ненужной, всеми забытой, брошенной. Нет, даже в нашей советской стране мало таких жизнерадостных людей, которые так горячо любят свое дело. Я думаю, что те, кто хотя бы раз видел ее, сейчас же узнает Нину Валентиновну...»

Такое вот эссе.

Автор называет свою героиню красивой. У мамы были большие голубые глаза. На детских фотографиях она прехорошенькая, на юношеских – действительно, очень красивая. Но в нашей памяти и на фото 40-х мама не просто худенькая – истощенная, и, конечно, все пережитое отложило свои следы на ее лице: оно посуровело, обозначились складки возле губ, появились характерные для Всевышних впадины под глазами.

А на красивую одежду в ту пору и намека не было. Но любящие детские глаза видят «красивое лицо», «нарядное платье»...

Ни Б. Н., ни остальным школьникам в те годы и в голову не приходило, что их «жизнерадостная» учительница пробыла более семи лет в советских концлагерях и появилась в Малоярославце потому, что не имела права приблизиться к столице, где жила до ареста, ближе чем на 100 км.

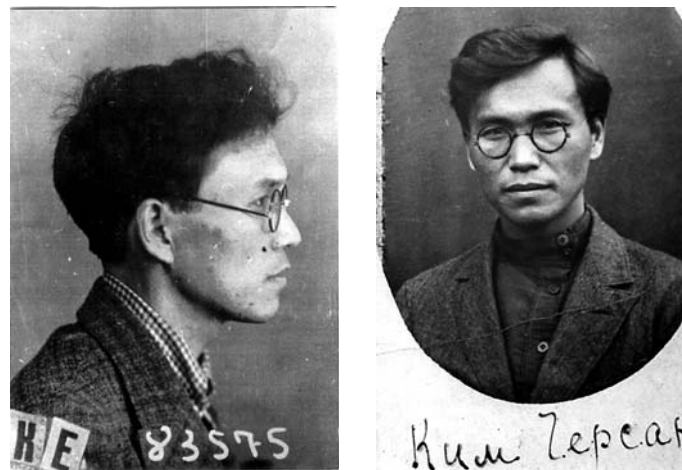
Вернувшись из лагерей, мама не говорила правды о себе ни нам, детям, ни окружающим людям, ни, тем более, своим ученикам. Мы слышали от нее только общие фразы о жертвах «колеса истории». Да и что она тогда могла еще сказать?

Двадцатый съезд партии лишь приоткрыл завесу, скрывающую истину о недавнем кровотокающем прошлом. Только в конце 1980-х, с приходом гласности, это прошлое заговорило в полный голос: казенным языком страшных документов.

Это, в первую очередь, приказы Ежова лета 1937-го: ныне знаменитый оперативный приказ № 00447 от 30 июля «Об операции по репрессированию бывших кулаков, уголовников и других анти-советских элементов» и целая череда последовавших за ним. Номера и даты сразу врезались в память и теперь живут в ней наряду с такими черными цифрами истории, как «9 января 1905 года» или «22 июня 1941 года», как, собственно, и сотворенный этими приказами «37-й год». Большинство этих документов было обнаружено в архивах ФСБ и президента РФ летом 1992 года усилиями исследователей из Общества «Мемориал» и других ученых-архивистов. Теперь они опубликованы*. Документально подтверждено и то, что само собой разумелось: приказы выпускались во исполне-

ние принятых Политбюро ЦК ВКП(б) в начале июля 1937 года решений о массовой чистке «антисоветских элементов» в масштабах страны. Решения же эти разрабатывались лично Секретарем ЦК И. В. Сталиным; его подпись стоит под соответствующими протоколами.

По какому из ежовских приказов «прошел» наш отец Ким Чер Сан? Скорее всего ни по какому: жертвы массовых операций осуждались специальными «тройками» заочно. Отца же судила Военная коллегия Верховного суда СССР, состоявшая из председательствующего и двух военных юристов (ни прокурор, ни адвокат в имеющихся у нас копиях протоколов суда не значатся). По всей видимости, его даже привели на «заседание суда», которое продолжалось 15 минут. Военная коллегия массовыми операциями не зани-



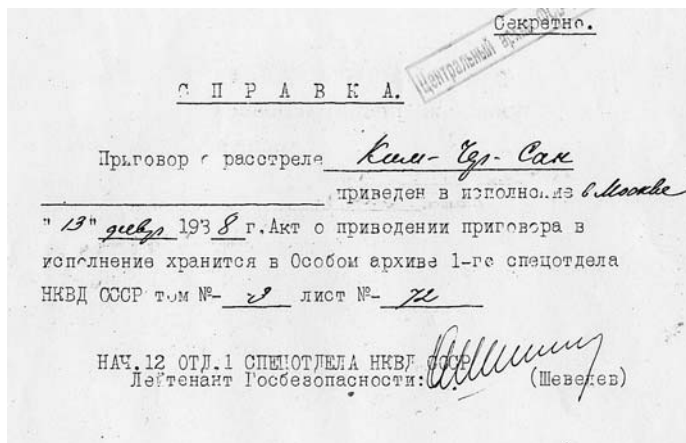
Фотографии
из дела № 15614

малась; по ее приговорам всего-то расстреляно чуть больше 40 тысяч человек – сущие пустяки. Для советских корейцев было разработано типовое обвинение: шпионаж в пользу Японии*. По этому обвинению проходил и наш отец. Вынесенный приговор – высшая мера наказания – привели в исполнение в тот же день, 13 февраля 1938 года.

Протокол «суда» мы смогли увидеть и скопировать через много лет, когда в стране начали рассекречивать архивы ФСБ. Тогда же стали известны многие места казни и захоронения жертв политических репрессий 1930–1940-х годов в Москве и вблизи от нее. В изданной в 2000 году книге «Расстрельные списки. Москва,

* Корейцы – жертвы политических репрессий в СССР, 1934–1938 гг. Кн. 1. М., 2000.

* Полную публикацию приказа № 00447 см., напр.: Трагедия советской деревни: Коллективизация и раскулачивание, 1927–1939: Документы и материалы: В 5 т. Т.5. 1937–1939. Кн. 1. 1937 / Под ред. В. Данилова, Р. Маннинг. М.: РОССПЭН, 2004. С 330–337. Впервые же общественность узнала об этом приказе из публикации в газете «Труд» от 4 июня 1992 г. и из статьи Н. Геворкян «Встречные планы по уничтожению собственного народа» в газете «Московские новости» от 21 июня того же года.



1937–1941, «Коммунарка», Бутово»* мы нашли фотографию отца и краткую справку о нем. Он был расстрелян на территории спецобъекта «Коммунарка», расположенного на 24-м километре Старо-Калужского шоссе. Сколько раз, ни о чем не ведая, мы проезжали мимо этой «зоны смерти» по дороге из Малоярославца в Москву и обратно...

В документальном фильме А. Колесникова и А. Липкова «Я к вам травой прорасту» (Киноvideостудия «Филмен», 2004) на основании свидетельств очевидцев, архивных документов, кадров кинохроники проясняется жуткая в своей простоте отработанность системы уничтожения людей на территории Бутово и «Коммунарки» в 1937–1938 годах: всех приговоренных к казни в тот же день сажали в специальные машины-душегубки и везли на эти «спецобъекты», где выводили группами, расстреливали, бросали в вырытые экскаваторами рвы, присыпали землей, выстраивали следующих... Этот страшный путь проделал и Ким Чер Сан, кореец, тридцати четырех лет от роду, беспартийный, редактор-переводчик Издательского товарищества иностранных рабочих в СССР.

Впрочем, последний путь отца был окончательно предопределен еще за десять дней до «суда» и казни, 3 февраля, когда члены Политбюро ЦК ВКП(б) Сталин, Молотов и Каганович утвердили очередные подготовленные НКВД списки. В одном из этих списков, где перечислено 110 человек, намеченных к «рассмотрению по 1-й категории» (т.е. к расстрелу), значится под № 34 и Ким Чер Сан**. Так что Военная коллегия лишь отштамповала заранее вынесенный приговор.

Тем самым была, в сущности, решена и судьба нашей мамы: коль скоро ее муж был осужден Военной коллегией Верховного суда как «изменник», она автоматически подпадала под другой ежовский приказ – оперативный приказ НКВД СССР № 00486 «О репрессировании жен и размещении детей осужденных изменников Родины»*.

Согласно этому приказу, аресту подлежали все женщины, чьи мужья за принадлежность к «правотроцкистским шпионско-диверсионным организациям» были приговорены к расстрелу, заключению в тюрьмы или лагеря Военной коллегией Верховного суда или военными трибуналами. (Впрочем, предусматривалось и исключение: «п. 5. Аресту не подлежат: <...> жены осужденных, разоблачившие своих мужей и сообщившие о них органам власти сведения, послужившие основанием к разработке и аресту последних».)

Далее в приказе подробно разъясняется, что делать «в отношении каждой намеченной к репрессированию семьи», куда размещать «оставшихся после осуждения детей-сирот» еще не арестованных и ни о чем еще не подозревающих родителей.

Формальное осуждение ЧСИР («членов семей изменников родины») возлагалось на Особое совещание при НКВД, что сводило процедуру к минимуму. Арест – тюрьма – два-три формальных допроса – краткое «обвинительное заключение» (по сути – анкетная справка) – заочный приговор Особого совещания: заключение в лагерь на срок, установленный приказом № 00486 («не менее как 5–8 лет»). Сочинители приказа так торопились, что для дальних областей (Сибирь, Дальний Восток) предписывалась передача в центральные органы «обвинительных заключений» на жен врагов народа по телеграфу; так же, по телеграфу, ОСО сообщало приговор на места.

Заключенных Бутырской тюрьмы, где содержалась Нина Всевятская, просто вызывали по очереди и объявляли «срока». Маму приговорили к пяти годам лишения свободы. О страшной участи мужа она не успела узнать. В 1956 году, как и многим семьям казненных, маме выдали справку о смерти Кима Чер Сана (якобы в 1944 году) без указания места и причины гибели.

Статья писателя и поэта Наума Коржавина в журнале «Континент», посвященная документам НКВД, «регламентирующим» Большой террор, заканчивается словами: «Этот год – 1937-й – <...> уже был не просто преступным безумием идеологии, как «красный террор», и не имитацией этого буйства, как коллективизация, а сознательным насаждением безумия в чистом виде»**.

* Расстрельные списки. Москва, 1937–1941: «Коммунарка», Бутово: Книга памяти жертв политических репрессий. – М.: Общество «Мемориал» – Издательство «Звенья», 2000.

** Жертвы политического террора в СССР: Электронный альбом в 2 компакт-дисках. Диск 2. Сталинские расстрельные списки. М.: Звенья, 2004.

* Приказ № 00486 от 15 августа 1937 г. впервые был опубликован в газете «Мемориал-аспект» № 2/3 за октябрь 1993 г. (публикация Н. Г. Охотина). См. также: История сталинского ГУлага, конец 1920-х – первая половина 1950-х годов: Собрание документов: В 7 т. Т. 1. Массовые репрессии в СССР / Отв. ред. Н. Верт, С. В. Мироненко. Отв. сост. И. А. Зюзина. М.: РОССПЭН, 2004. С. 277–281.

** Коржавин Н. Будни «тридцать седьмого года» // «Континент» (Париж–Москва). 1997. № 1.

На наш взгляд, это «безумие» имело самую прямую связь с революционным террором, взрастившим вождей, ни во что не ставивших человеческую жизнь, вошедших во вкус безнаказанного уничтожения людей. Революция и Гражданская война закончились, но карательные органы продолжали с прежней жестокостью устранять всех, кого прикажут, – соратников и противников, в одиночку и массами, периодически пожирая в том числе и самих себя. Просто расстрелы и заключение в концлагеря в стране, назвавшей себя социалистической, стали именоваться более благозвучно – «репрессиями».

Кампания, развернутая приказами лета 1937-го, отличалась от всех прочих невероятными масштабами, вовлекшими в лубянской мясорубку сотни тысяч мирных граждан, зачастую совершенно далеких от политики. И еще, пожалуй, одним: в ходе этой кампании массовые аресты и казни окончательно становятся частью обыденной жизни страны, повседневной рутинной работой государственной машины. При чтении этих приказов содрогаешься не только от их содержания, но и от их буднично сухого канцелярского косноязычия: «антисоветские элементы разбиваются на две категории», «арестованные строго окарауливаются»... Язык нелюдей. Может быть, за бредовой фразеологией скрывалось неосознанное желание авторов облегчить себе свое палачество? «Элементы», «контингент» – вроде бы и не люди, с ними можно расправляться, поправ и законы, и собственную совесть.

Вакханалия 1937 года прекратилась почти ровно через год – осенью 1938-го. Прекратилась так же, как и началась, – одним росчерком пера: приказом № 00762 от 26 ноября 1938 года (тоже разработанным в порядке «осуществления Постановления СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 17 ноября 1938 г.»*). За четырнадцать месяцев вампиры насытились кровью сотен тысяч невинных и видом их разоренных гнезд. Главная цель террора была достигнута: народ стал запуганным и послушным, единоличная власть главного палача утвердилась окончательно. Да и лагеря с детприемниками переполнились. Можно было и передохнуть.

Как водится, были признаны «ошибки» и «нарушения революционной законности». Вину за них свалили на «проникших в НКВД и Государственную Прокуратуру врагов». Ежов с помощниками разделили участь своих жертв, а добрый дядя Берия отменил приказы своего предшественника как «утратившие силу».

Однако приговоры 1937–1938 годов силы своей не утратили. Почти все, кто «ошибочно» был отправлен в лагеря и на каторгу, продолжали отсиживать и пересиживать свои «срока». В том числе и Нина

Всесвятская: ее пятилетний срок растянулся на семь с лишним лет.

После реабилитации мама часто говорила: «О нас когда-нибудь обязательно напишут книги». К счастью, это «когда-нибудь» наступило довольно скоро, и все вместе мы с огромным волнением читали в «самиздате» и «тамиздате» В. Шаламова, Е. Гинзбург, А. Кестлера и многих других. В 1962 году страну потрясла повесть А. Солженицына «Один день Ивана Денисовича», опубликованная в «Новом мире».

Поток так называемой лагерной литературы не иссякает до сих пор, перехлестнув рубеж XX и XXI веков. Вот теперь и мы издаем книгу о маме. Почему?

Не только потому, что нашему поколению детей репрессированных все еще необходимо «избывать» события, которыми мы ранены на всю жизнь. Не случайно диссидентское движение возникло именно в этом поколении «рассерженных детей», которым осточертели ложь и гнет власти.

В нашей книге мы хотим показать, как молодой женщине удалось достойно перенести свалившиеся на нее беды, какие жизненные силы, впитавшиеся с детства, унаследованные от праотцев, помогли ей не просто выстоять самой, но и оставить светлый след в душах людей, с которыми ее сводила судьба, в сердцах и умах ее учеников. Многие из них стали замечательными учителями-словесниками, стремившимися, по их собственному признанию, быть максимально похожими на своего учителя.

Людей, генерирующих Зло, единицы. Ужасает число готовых на все исполнителей Злой Воли. Достаточно вспомнить, с какой подобоострастной готовностью запрашивали руководители регионов в 1937 году разрешения у Центра увеличить «лимит на репрессирование» (в результате этой ретивости к ноябрю 1938 года было расстреляно людей в пять раз больше, чем планировалось приказом № 00447!).

У Добра служителей куда меньше, и голоса их часто слышны только тем, кому посчастливилось с этими людьми повстречаться. Из лагеря Добра была наша мама. Продлить на земле память о ней, увеличить круг общения с ней – вот то, что побудило нас составить книгу.

Кроме того, как сказал известный историк и публицист Ю. Каграманов, «история – это всегда знание о людях»*. Возможно, наша книга поможет будущему историку «вчувствоваться» в эпоху, уже более или менее удаленную во времени.

В составлении книги мы пошли по пути хронологического изложения событий в жизни мамы.

* Органы государственной безопасности СССР в Великой Отечественной войне: Сборник документов. Т.1. Кн.1. М., 1995.

* Каграманов Ю. От какого наследства мы отказываемся //Континент (Париж–Москва). 1997. № 1.

Мы использовали ее неоконченные воспоминания о детстве – записи, сделанные в простых школьных тетрадках характерным ее почерком с наклоном влево. Увы, часто дети, занятые сиюминутными делами, недостаточно чутки к своим родителям. Видимо, не встретив с нашей стороны заинтересованности, необходимой для такого труда памяти, мама перестала заполнять тетрадки, даже не завершив описания важного для ее становления периода жизни в Угодском Заводе. Ее воспоминания об этом времени дополняются записками ее дяди и младшей сестры.

Очерки маминых подруг по ГУЛАГу в какой-то мере восполняют не рассказанное мамой о лагерях и ярко дополняют ее устные воспоминания о великом «запроволочном братстве», о постоянном вдохновенном взаимопросветительстве.

В книге использованы документы, письма из семейного архива, мамины стихи, написанные в лагере и адресованные детям и взрослым.

О послелагерной жизни Нины Валентиновны рассказывается в очерках детей и внука, в ее собственных записках, найденных в архиве, в воспоминаниях учеников.

Наши вставки восполняют пробелы и связывают воедино отдельные части.

Рукопись книги была уже в редакции, когда в ноябре 2005 года мы пришли на фотовыставку Общества «Мемориал» в музее А. П. Чехова на Малой Дмитровке. Фотохудожник Николай Середа побывал в Казахстане на территориях бывших концлагерей, специально построенных для жен «врагов народа» в 1938 году. Самым крупным был Акмолинский лагерь жен изменников родины, тут же окрещенный заключенными именем «АЛЖИР» – такая «удачная», будто в насмешку над действительностью, получилась аббревиатура. Мы уже раньше слышали это ставшее историческим название (правда, не от мамы и ее лагерных подруг – они отбывали заключение вблизи Долинки, центра Карлага). На месте лагерей теперь поселки, города, и лишь кое-где обнаружил фотохудожник сохранившиеся знаки пережитого: колючую проволоку, сваленную в каменоломнях Карабаса, цементные столбы с остатками проволочного ограждения, тополиные аллеи, посаженные руками заключенных. Собравшиеся на выставке дети узниц сквозь слезы вглядывались в запечатленные фотокамерой казахстанские степи, сопки, восходы и закаты казахстанского солнца. Здесь много лет жили наши мамы, и выставка помогла нам, детям, через шестьдесят с лишним лет почти осязаемо ощутить себя на их месте.

Многим из нас подарили книгу «Узницы „АЛЖИРа“», подготовленную Ассоциацией жертв незаконных репрессий г. Астаны и Акмолинской области и Международным обществом «Мемориал». В ней помещены имена и краткие справки о 7257 женщинах, отбывавших срок в Акмолинском лагере. Среди них мы нашли имена почти всех героинь очерков, помещенных в нашей книге: Эстер Вайссанд, Нины Всесвятской, Нелли Гальперштейн, Нины Каминской, Веры Камионской, Иоланты Келен-Фрид, Елизаветы Кицмаршвили, Фанни Кривицкой, Елены Маркович-Кауфман, Полины Новицкой. Они прибыли одним составом из Сегежлага в Карлаг и были выгружены в Карабасе 20 августа 1941 года – все, кроме Елены Львовны Маркович, которую привезли в Карлаг тремя годами раньше. С ней мама познакомилась в резервации для бывших невольников, на «101-м километре» от Москвы, в городе Малоярославце.

Нашли мы в этой книге и имя Веры Петровны Брауде, находившейся в Акмолинском лаготделении с 1939 года. Через десять лет она нашла приют, так же как и наша семья, в малоярославцеком доме Ларисы Федоровны Чириковой.

Не оказалось в списках большого друга нашей мамы – Лидии Владимировны Домбровской.

Это были образованные, красивые, сильные духом женщины – тогда совсем еще молодые. Они помогли друг другу достойно пережить испытания и вышли не сломленными из этой неравной схватки со злом и его прислужниками.

Вот и все, чем мы хотели предварить эту книгу.

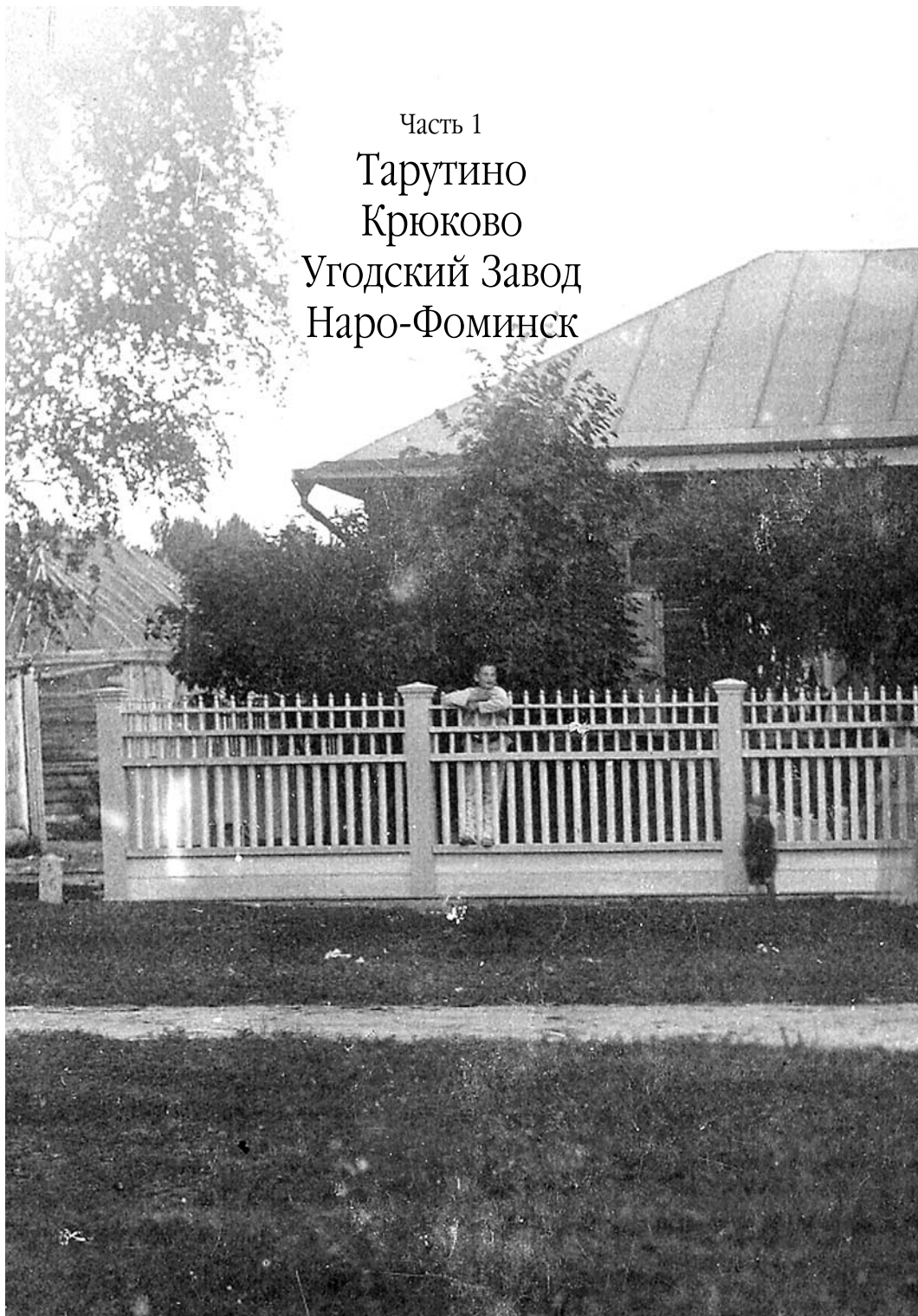
Выражаем глубокую благодарность за бесценную помощь в работе над книгой Татьяне Бахминой, Борису Беленкину, Марии Брауде, Наталье Васильевой, Александру Даниэлю, Марине Елистратовой, Всеволоду Журавлеву, Наталье Малыхиной, Альберту Ненарокову, Евгению Плешанову, Арсению Рогинскому, Светлане Фадеевой, Людмиле Флейшер.

Особенно благодарим за поддержку издания этой книги Владимира Захарова и Николая Скотникова.

* Узницы «АЛЖИРа».
М.: Общество
«Мемориал» –
Издательство «Звенья»,
2003.

Часть 1

Тарутино Крюково Угодский Завод Наро-Фоминск



Юлий Ким, Алина Ким

О наших предках

Быть без чувства живой связи с дедами и прадедами – значит, не иметь себе точек опоры в истории.

Павел Флоренский

О наших прадедах со стороны мамы – угодскозаводском священнике Василии Павловиче Всесвятском и его супруге Александре Николаевне (в девичестве Любимовой) – мы знали из рассказов (позже записей) мамы и ее сестры Натальи, нашей тетушки. В основном – о факте их существования, так как обе сестры не успели хорошо их запомнить.

Гораздо больше мы знаем об их детях – сыновьях Николае и нашем дедушке Валентине (о них будет много рассказано в книге), о Павле (его очерк помещен в книге) и в меньшей степени о дочери Анне. Это были умные, статные, красивые люди.

За последнее десятилетие знания о наших предках существенно пополнились. К нашему счастью – так как мы узнали о них много интересного и важного. И к нашему стыду, ибо знания эти добыли не мы.

Много лет сотрудники Угодскозаводского народного краеведческого музея (с 1986 года Музея маршала Г. К. Жукова) с большим энтузиазмом и любовью занимаются возрождением памяти о замечательных людях – просветителях Угодскозаводского края, в том числе о семье Любимовых–Всесвятских. Особенно ценными сведениями мы обязаны главному хранителю музея Александру Ивановичу Ульянову*. Так, в газете «Калужские губернские ведомости» за 1873 год им обнаружена очень интересная краеведческая статья «Село Уготский железный завод». Автором ее был Николай Дмитриевич Любимов (1818–1873), дед маминой бабушки Александры Николаевны (наш, стало быть, прапрадед). Под его руководством в Угодском Заводе (раньше речка Угодка, протекающая по селу, именовалась Уготой) в 1865 году была построена каменная Никольская церковь (до этого была ветхая деревянная). В церковь

* Ульянов А. И. Подвижники. Жуково, 1993; Ульянов А. Детство полководца. Магнитогорск, 1996.

Статья из архива



Соны на поля или при выгонах скота
время безведрия, бездожия и т. п.
Старший священ. села Уготки
Николай Любимовъ.

церкви, 2) Сельская, 3) Немецкая, и теперь есть, площадь... Мо... ныхъ жителей на торгъ, 3) Немецкая, Мо... что тамъ, близъ... самый заводъ, Мо... поставилъ себя... кирпичные... иль и которъ, крытые... — и он... рше до сихъ поръ... 4) ру... торъ наследилъ иностранными, 4) ру... селившиеся отъ службы, и... которые въ то время... иль укрывавшихся отъ службы, и... мотъ и мѣщанами и, можетъ быть... щими родства, 6) Новая поселени... перахъ четырехъ, изъ всѣхъ... этой свободѣ... свои прозвища... шуръ сохраняли свои прозвища, наприм.: Бояринови, Барисовы, повинны, Пашкины, Протасовы, Угтови, Вязовы, Незнамяне, Выходцевы и проч., даже и Калужскіе, Одесскіе, Козловы Калужскіе и проч. На этомъ заводѣ самъ Великій Преобразователь время пребывания на заводѣ Великій Петръ... Лыковъ въ деревнѣ водами, гдѣ... поръ сохранилъ название вода въ немъ чистая, прозывается гнилью**).



Основатели рода
Всесвятских –
Александра
Николаевна
и Василий Павлович
с внуками.
Начало 1900-х годов



Прасковья
Николаевна
Любимова

о. Василий (1843–1912?) и Александра (точные даты жизни установить не удалось) стали основателями огромного клана Всесвятских.

Другая дочь Н. Д. Любимова – Прасковья – окончила епархиальное женское училище, работала педагогом, была активным поборником женского образования, устроила первую в крае школьную елку, проводила литературные вечера, концерты, спектакли.

Сын Н. Д. Любимова Иван стал врачом кряковской больницы, именно он познакомил практикантку Лизу Успенскую со своим племянником Валентином, который позже работал врачом в Крюкове, куда привез и жену Лизу, и трех детей: Нину (нашу маму), Леву и Наташу.

В сохранившихся метрических книгах значится, что священник Н. Д. Любимов венчал отца будущего маршала Г. К. Жукова Константина Артемьевича (Жуковы жили в деревне Стрелковке в пяти километрах от Угодки), а через двадцать два года овдовевшего Константина венчал со второй женой Устиньей уже о. Василий. Он же крестил и всех детей от этого брака, в том числе родившегося 19/XI 1896 г. Георгия Жукова. О. Василий, помимо основной работы, занимался большой общественно-просветительской деятельностью, открыл первую в селе библиотеку, был даже следователем по преступлениям лиц духовного звания.

стекалось много народу из соседних уездов ради чудотворных икон Святого Чудотворца Николая и пресвятые Богородицы Иверския, святого колодезя. Николай Дмитриевич, сам сын священника, служил священником в новой церкви. Прежде по его же инициативе в 1861 году была открыта приходская угодскозаводская школа. Преподавал в ней студент калужской семинарии Василий Павлович Всесвятский, вскоре принявший сан священника Никольской церкви. За него и вышла замуж дочь Н. Д. Любимова Александра. Василий Павлович,

А. И. Ульянову удалось выяснить, что сын отца Василия врач Николай Васильевич, борющийся в 1918–1919 годах с эпидемией тифа в крае, спас и тяжело больного сыном, а затем возвратным тифом Георгия Жукова.

Главным хранителем найден также документ о политической неблагонадежности маминоного отца (нашего деда) Валентина Васильевича Всесвятского (1880–1940). Оказывается, он состоял в кадетской партии и единственный на всю Угодскозаводскую волость проводил политические собрания по вопросам земли, демократизации страны. Это объясняет, почему молодому специалисту запретили после окончания учебы работать в центре России. Снял запрет в 1910 году главный жандарм Калужской области. На запрос губернатора о враче Всесвятском он ответил краткой резолюцией: «...по моему мнению, в настоящее время не представляет из себя лица, вредного в политическом отношении».

После этого дед был принят на работу в Тарутинскую больницу.

Такие интересные сведения о наших предках узнали мы с помощью архивных исследований угодских краеведов.

В 1991 году сотрудники музея организовали культурно-просветительское общество «Воскресение». Цель его – возрождение традиций, заложенных лучшими людьми края – тремя поколениями Любимовых–Всесвятских, Ремизовых и других. Организаторы общества назвали их подвижниками. К сожалению, этот созидательный, действительно подвижнический, переходящий из поколения в поколение процесс с установлением советской власти был прерван, церковь разрушена, на ее месте прочно утвердился милицейский участок. В 1929 году арестовали очень любимого народом священника Никифора Николаевича Ремизова, и через два года он погиб на лесоповале. Семью о. Никифора буквально выгнали на улицу. Замечательные врачи, учителя с их семьями разбрелись кто куда.

К счастью, память о них хранится заботами работников музея. В уголке подвижников в новом помпезном, мраморном изнутри и снаружи здании музея Г. К. Жукова на нас со старых фотографий смотрят красивые одухотворенные лица просветителей Угодского



Три сына о. Василия
(слева направо):
Валентин
(отец Нины
Всесвятской),
Николай
(основатель угодско-
заводской больницы)
и Павел

края (теперь милое слово Угодка звучит лишь в названии речки; село Угодский Завод было переименовано в 1974 году в село Жуково, в 1996 году – в город Жуков). В 1990 году сотрудники музея добились присвоения городской больнице имени Н. В. Всесвятского (в ней до сих пор верно служат медицине три старых корпуса), а библиотеке – имени Н. Н. Ремизова.

Каждую первую субботу июля общество «Воскресение» отмечает День подвижников.

Собравшиеся впервые в этот день возложили цветы прямо на землю вблизи места, где были церковь и кладбище. Но вскоре там же, возле автобусной остановки, замдиректора музея Маргарита Александровна Федорова обнаружила вылезший из земли ажурный край чугунной плиты. Осторожно действуя инструментами, сотрудники музея извлекли три фрагмента плиты, покрытые ржавчиной и почвенными наслоениями. Директор музея Александр Васильевич Филимонов рассказал нам, как А. И. Ульянов, очищавший плиту, вдруг взволнованно вскрикнул: «Вы только прочтите, что на ней написано!»

На сложенных вместе кусках плиты «проступила» такая надпись.

Надпись на плите:

*Здесь покоится прах
Священно-иерея села
Угодки
Николая
Дмитриевича
Любимова
и главного
попечителя
по постройке сего
Храма.
Родился онъ 1818 г.
27 Марта.
Священствовал
с 10 Августа 1841 г.
Скончался 1873 г.
30 Июня*



Это была могильная плита первого угодского подвижника, нашего прапрадеда!

Такое явление плиты кажется чудом. Недалеко от этого места среди деревьев плиту возложили на имитированную могилу, поставили возле нее Памятный знак, и с тех пор все, кому дорога память о великих угодчанах, собираются в начале июля возле этого знака.

По рассказам Александра Васильевича, Памятный знак освящал о. Игорь (Игорь Павлович Сойко, 1915–2003), служивший тогда в угодском молельном доме, человек со своей драматической судьбой. Когда-то окончив Духовную Академию в Варшаве, о. Игорь священствовал в одном из сел Западной Украины. Когда пришли советские войска, он был арестован и сослан в Норильск, где его, как и многих заключенных, использовали страшным образом – опускали в новую шахту для проверки на выживаемость в ней (когда-то для этих же целей запускали в шахту канареек). Потом он попал в Канск, а в середине 50-х осел в Жукове. Может быть, в память о встрече с маршалом еще до ареста: именно Г. К. Жуков разрешил пройти через кордон советских войск священнику, спешившему причастить тяжелобольную женщину.

Что же касается продолжения просветительских традиций, нужно сказать, что музей Жукова стал для города настоящим культурным центром, где проходят концерты, лекции, встречи с интересными людьми.

В своих неоконченных воспоминаниях о детстве мама с большой нежностью написала о деревьях ее детства – соснах и липах, росших на большом дворе. Они и по сю пору там – молчаливые свидетели нашей жизни. Только упомянутая ею молодая «липовая аллея» превратилась в солидную аллею из вековых лип, каждое лето наполняющих своим тонким неповторимым ароматом угодско-заводские веси.



*Памятный знак
в честь подвижников
Угодского Завода*



*Семейство Всесвятских–Любимовых–Успенских – три поколения.
 В первом ряду сидят (слева направо): Прасковья Николаевна Любимова (сестра попады, учительница), наша бабушка Елизавета Оситовна Успенская с дочерью Ниной, наши патриархи: Александра Николаевна с внуком Колей и о. Василий; Анна Николаевна Любимова (младшая сестра Александры), Ольга Петровна Санина – жена Николая Всесвятского с дочерью Галей.*

*Во втором ряду стоят: две неизвестные женщины, Оля, Варвара и Коля Любимовы (семья брата попады Ивана Николаевича Любимова), три неизвестные женщины, дочь о. Василия Анна, мать Елизаветы Оситовны Александра Михайловна Успенская (наша прабабушка по маминей линии).
 В третьем ряду стоят: сыновья о.Василия Валентин (наш дед), Павел и Николай, между ними Вера – дочь брата о.Василия, боровского священника Семена Павловича Всесвятского.
 Угодский Завод, 1907 год*

Нина Всесвятская

Неоконченные воспоминания о детстве

Старательным почерком и старательным языком
о своей жизни

... **Н**а пригорке ветряные мельницы машут крыльями. Лошади испугались и понесли. Я оказалась на земле, вывалившись из повозки. Я цела и невредима. Я – это, вероятно, сверток, нечто закутанное в одеяла, потому что мне тогда не больше года, а может, и меньше. Воспоминание недостоверное, хотя случай такой был. Очевидно, остался в памяти по рассказам родных, но почему-то всю жизнь мне казалось, что я и сама это помню.

Первые смутные воспоминания себя самой относятся к Тарутину. Очень смутные, очень неопределенные.

Терраса, деревянная, желтая. И дом тоже желтый и деревянный. В зелени. Я на террасе, и у меня горе: разорвалась нитка, рассыпались бусы. Я стараюсь собрать бусинки и плачу...

У меня есть подруга Шура. Ей шесть лет, мне года четыре. У Шуры худенькие смуглые поцарапанные ручки, а у меня толстые белые. Мне очень не нравятся мои руки, мне хочется иметь такие же, как у Шуры (может быть, отсюда начало того, что мой папа называл – ходить за семьдесят верст вокруг себя?).

В Тарутине родилась сестренка Таля. Нас, меня и брата, зовут посмотреть, как Таля «гуляет». На покато століке лежит маленький красненький человечек и перебирает в воздухе ножками и ручками.

Крюково. Рукавишниковская больница. Это уже четко врезалось в память. С той удивительной цепкостью, которая бывает у памяти только в детстве.

Мне хочется и сейчас мысленно пройти по знакомой дороге от станции до нашего дома. Сколько потом было дорог и домов, а эти, первые, не смешались, не перепутались.

Вот шоссе, которое начинается тут же за станцией, вот округлый поворот с побеленными до половины дорожными столбиками. Можно идти по этому шоссе, мимо дач Некрасовых, Булатовых, Воскобойниковых. Для сокращения пути сворачивали влево на проселочную дорогу, пересекали большое село Андреевское, с церковью, с помещичьим домом Лепешкиных, стекольным заводом, шли славной лесной дорожкой и выходили вновь на шоссе. А тут уже близко. Вот справа останутся пруд и купальня. Вот шоссе уходит дальше, правее, огибая пруд, а к больнице ведет немощная дорога, пересекая рощи-

цу. Больница большая, построенная отдельно от деревень, среди березок. От дороги начинается заразным баракком, как тогда говорили, слева и амбулаторией – справа. А дальше длинное здание госпиталя, к главному входу которого вела тополевая аллея; родильня на углу, от нее дорога поворачивает, проходит мимо большого дома с двумя входами – это дом заведующего больницей Ивана Николаевича Любимова – родного дяди моего отца. Дальше – через деревянный мостик к двум окраинным домам: один деревянный с большой террасой, там живут фельдшерицы, а наш – последний в ряду, каменный, белый. Первый вход, угловой, ведет в квартиру нашей соседки – акушерки Надежды Алексеевны Стефановской, а дальше крытое крыльцо с двумя дверями – передним и черным входом – это наше. Перед нашими последними домами – березовая рощица, а дальше дорога через лужок, мимо лесочка ведет в деревню Жилино, что расположена версты за полторы от больницы.

Помню наш дом изнутри. Черное крыльцо вело в кухню, а парадное в переднюю. Слева – папин кабинет, прямо – столовая, из нее дверь в детскую, из детской – в спальню родителей, из спальни – в переднюю. Помню, как было удобно колесить по кругу комнат на трехколесном велосипеде, играть в прятки.

Дорога от станции до больницы не могла не запомниться: шоссе было местом наших прогулок, по этой дороге уже после революции я ходила в железнодорожную школу второй ступени, проделывая каждый день путь в четыре километра туда и обратно.

Крюково и больницу я навестила позже, когда была студенткой. Я испытала при этом то, что обычно испытывают выросшие люди, оказавшись в местах, где они были маленькими: все уменьшилось, потеряло свою значительность. Стали ниже дома; горка погреба, предмет наших набегов и всяческих упражнений, оказалась совсем маленькой, шаг в три-четыре можно ее одолеть. Перед госпиталем рос тополь, на нижней толстой ветке которого мы любили покачаться, но дотянуться до этой ветки было так нелегко. А теперь эта ветка стала тоньше и опустилась ниже. И вся больница, и окружающие ее березки, вся эта страна нашего детства потеряла свою пространность и обширность.

А ведь действительно Рукавишниковская больница была нашим миром, за пределы которого мы не так часто попадали. В деревне



*Иван Николаевич
Любимов,
главный врач
Рукавишниковской
больницы*



*Молодожены:
Лиза Успенская
и Валентин
Всесвятский.
Юрьев, 1906 год*

Жилино мы бывали нечасто, с окрестными дачниками общения не имели. Кто они были, эти Некрасовы, Булатовы, Воскобойниковы, я не знаю, да и едва ли в детстве точно знала. И фамилии запомнились, наверно, потому, что дачи эти, расположенные вдоль шоссе, были нашими ориентирами: дойдем, мол, «до Булатовых» и обратно, или: проводим «до Некрасовых».

Народ, видно, был богатый. Дача Некрасовых имела белую каменную ограду, железные тяжелые ворота. Дача Булатовых тоже была за высоким забором, там был пруд, лодки.

С детьми дачников мы не встречались, и родители наши знакомства не водили. Наши друзья жили в больнице, это были дети фельдшеро-в, сиделок, мы были «больничные».

Рукавишниковская больница, по нашим семейным легендам, сыграла немаловажную роль в жизни и судьбе наших родителей: без нее не было бы и нас, и наших деток, и наших внуков.

Мама, тогда Лиза Успенская, родом из Романова, городка на Волге, окончив в Москве курсы фельдшерниц и акушерок, первую практику проходила в Рукавишниковской больнице, под руководством Ивана Николаевича Любимова.

Видимо, не раз Иван Николаевич рассказывал о своих племянниках, трех братьях Всесвятских, из-под города Малоярославца Калужской губернии. И однажды, когда Иван Николаевич уезжал на родину, он шуточно спросил у своих сослуживцев, кому что привезти в подарок. Вот тогда-то и пожелала Лиза Успенская себе в подарок одного из его племянников, о которых немало была слышана лестного. Иван Николаевич обещание выполнил. Там и познакомились, и полюбили друг друга – не знаю, на радость ли, на горе ли – Лиза Успенская и Валентин Всесвятский.

Отсюда и пошла наша ветвь.

Потом вместе кончали они в Петербурге медицинский факультет, там в студенческой комнате и появилась на свет я в 1907 году.

И вот, побывав недолго на Украине, поработав в Тарутине, родители мои оказались вновь в Крюкове, за сорок верст от Москвы, за четыре версты от железнодорожной станции.



Маленькая Нина

К тому времени нас, ребят, было трое: мой брат Лева и сестренка Таля. Приехали мы в Крюково в 12-м или 13-м году, незадолго перед войной.

Когда мне было лет девять-десять, я хотела стать непременно писательницей и преимущественно – детской. У меня уже были тогда даже рукописи. На отдельных листах, нарочно выдернутых из тетрадки (так, мне казалось, будет больше похоже на настоящую рукопись), я записала сочиненную сказку. Сказка была написана под влиянием «Задуманного слова» – детского журнала, который мы получали. Речь шла о бедном мальчике, оставшемся без рождественской елки, о добрых ангелах, которые перенесли его в сказочный дворец, где вокруг елки веселились маленькие дети. Писала я свою сказку тайком от ребят, прятала рукопись и чувствовала себя настоящим писателем. Тогда же появились первые стихи, из которых я помню только две строчки:

Лева, милый огородник, целый день в саду,
Все копает, поливает он свою грядку.

Но начало моей «писательской деятельности» относится к «дзюковскому периоду».

Мне было года три-четыре (по рассказам мамы), когда я начала сочинять истории, причем сочиняла я вслух и при этом бегала от одной стены комнаты до другой. Так на стенах наших комнат оставались темные отпечатки моих ладошек. Как и почему процесс сочинительства столь нерасторжимо соединился с беганием, когда это началось – трудно объяснить. На нашем семейном языке это называлось: Нинка рассказывает. Подрастая, брат и сестра стали подсмеиваться над этой странной привычкой и бежали поглядеть, как Нинка «размазывает» (так неуважительно отзывались они о творчестве). Что я сочиняла – не помню. Сначала это были сложные сплетения из рассказов нашей няни и услышанных сказок. Мои рассказы обычно начинались словами: «У нас в деревне...». Один из рассказов (вероятно, автору было тогда лет пять) стал семейным анекдотом, и я его запомнила: у нас в деревне была попадьня, у нее было шестнадцать детей, ей нечем их было кормить, тогда она убила младшего сына, содрала с него шкуру и продала на базаре, на деньги накупила всего и накормила своих детей. Почему такой кровожадной была попадьня – не могу сказать.



*Дети Лизы
и Валентина
Всесвятских:
Нина, Таля и Лева.
1913 год*

Зато я помню острую потребность побегать и порассказывать вслух. Это было так же необходимо, как есть и пить. Неутоленная жажда рассказывания была мучительна, как всякая неутоленная жажда. Иногда эта потребность появлялась на прогулках, и я начинала бегать взад и вперед, обгоняя остальных или отставая от них. Беспokoила ли эта странность родителей? Вероятно, не очень. Когда мне исполнилось лет семь-восемь, меня стали останавливать, говорили о том, что в школе, видимо, мне придется, бегая, отвечать учительнице, что надо мной будут смеяться. Я стала стесняться, убегала куда-нибудь в лес, в сад и постепенно отвыкла. Осталась только надолго привычка фантазировать, причем чаще всего во время ходьбы. Идем гулять, а я про себя сочиняю свои бесконечные истории, представлявшие скорей всего переиначенные на свой лад сюжеты прочтенных книг. Иногда случайно вслух что-нибудь скажешь и испуганно обернешься – не подслушал ли кто? Уже позже, лет в двенадцать-тринадцать, я помню, как, оторвавшись на минутку от какой-нибудь увлекательной игры, я тут же, оставшись наедине с собой, вспоминала, где кончилась история моих героев, и продолжала ее дальше. В эти же двенадцать-тринадцать лет я любила рассказывать свои истории ребятам. Мы жили тогда уже в Угодском Заводе – на родине отца. Я любила ходить в лес за грибами, за ягодами и соблазняла пойти в лес брата, сестру и их товарищей обещанием рассказать какую-нибудь выдуманную мной историю. Часто я оказывалась в проигрыше: спутники мои искали грибы, я же бродила по лесу и выдумывала продолжение приключений моих героев, а корзинка моя оставалась пустой.

Помню, что и в куклы я играла по-своему. Мои куклы становились героями всяческих приключений, они взбирались на гору-буфет, спускались в темные пещеры – под кровать, плыли по реке-половице. Я вела за них оживленный диалог с соответствующими интонациями.

Только однажды мама решила меня приобщить к женским добродетелям (как она любила говорить), использовав куклу. Но и этот эпизод носил явно литературный характер. Мне было лет десять. Я много читала, и в книгах моим сверстницам дарили куклы, и куклы играли большую роль в их жизни. А меня считали взрослой и дарили книги про этих девочек и их кукол. А как-то я возрoптала и пожелала, чтобы и мне на день рождения подарили куклу. И вот все пошло совсем как в книгах. Перед днем рождения я заболела ангиной. Вечер. Я лежу в постели, в столовой стучит швейная машинка, и я догадываюсь, что это шьется платье моей новой кукле. Все так хорошо и так трогательно. Утром просыпаюсь – рядом со мной на стуле сидит огромная кукла в синей юбке, в белой матроске, с фарфоровой головкой, с льняными косами. Все совсем как в книгах.

Кукла была названа Нюсей. Но книжной девочки так и не получилось. Играть в мамы и дочки охоты не было, еще менее занимало меня шить Нюсе платья. Нюся быстро мне наскучила, мамина идея приучить к женским добродетелям провалилась.

Не вышло из меня и писательницы, но, помимо тяги к рифмованию, помимо любви к чужим фантазиям, что привело меня впоследствии на литфак пединститута, остался с тех ранних пор особый, я бы сказала, «литературный» подход к жизни. Как в своих выдуманных «историях», я и взрослой часто представляла себя героиней совершающихся событий, в действительности, уже не выдуманных, а это не раз помогало в обстоятельствах трудных, а порой и фантастических. Какая фантазия обгонит жизнь с ее сюрпризами и парадоксами?

Если в раннем детстве моя фантазия питалась рассказами няни, то позже ее поддерживали книги и всякие мамини выдумки. Читать я научилась рано. Учила меня бабушка, мамина мама, во время приездов из Романова. Была она учительницей и прекрасной рукодельницей. Грамоте она меня выучила, а к рукоделию склонностей не привила, и на всю жизнь я невзлюбила иголку, спицы и крючки для вязания. Помню единственную салфетку, связанную под руководством бабушки; она почему-то вместо полагающегося квадрата приняла форму двух треугольников, соединенных вершинами друг с другом. А грамота пошла впрок. Книгу я рано полюбила. Помню, как мне была обещана книга «Иринкино счастье» (автора забыла). Я еще ничего или почти ничего не знала о книге, но я уже видела ее во сне, я ждала ее, я ходила с постоянным сознанием: а у меня что-то есть, что-то новое, милое, хорошее, увлекательное – новая, еще не прочитанная книга.

Я помню красную книгу с золотым обрезаем «Маленький лорд Фаунтлерой» о Ведрике, его прелестной маме, о старом высокомерном лорде Фаунтлерое, покоренном златокудром внуком. Помню «Как я была маленькой», кажется Желиховской, ее же «Жизнь пережить – не поле перейти». «Я и моя мама», автора не помню, а героя – маленького сына кухарки – помню довольно отчетливо. Были у нас в почете Жюль Верн и Майн Рид. Мама пробовала устраивать изредка чтения вслух. Помню, как читалось что-то из книг географического направления. Мама летом отправлялась с нами «в путешествия» в пределах нашей Страны Детства. Мы должны были вообразить, что мы первооткрыватели новых земель, что мы заблудились, и по кучкам лошадиного навоза и еще каким-то приметам нам следовало найти дорогу к селению.

Любви к географии, однако, мамини опыты не принесли. В географии я осталась профаном на всю жизнь. Но мама пожала плоды сво-



Александра Михайловна Успенская (романовская бабушка Нины Всесвятской)

их трудов: охоту к перемене мест возымели все ее дети. И в один прекрасный день разлетелись кто куда: я уехала на Дальний Восток, брат – в Узбекистан, сестра – на Волгу. Прав был папа, который в ответ на мамины печали и вздыхания говорил ей: что посещешь – то и пожнешь.

Помню мои первые «литературоведческие» наблюдения: мама причисляет меня, а я задаю ей глубокомысленный вопрос: что общего между такими писателями, как Жюль Верн и Майн Рид? Обрадованная мама хочет от меня получить ответ на столь серьезный вопрос. «А ты заметила, что своего главного героя они любят называть одинаково – Гарри?» – говорю я. Мама разочарована. И по ее тону я понимаю, что не оправдала ее надежд.

Сколько раз, став потом преподавателем литературы, я вспоминала эту свою неудачу, когда скользила мыслью по поверхности явления и не оправдывала надежды своих учеников.

Хоть время было военное, но воспитание нам давалось по всем правилам. На смену няням к нам пришла гувернантка. Она должна была обучить нас немецкому языку. Думаю, что жила она у нас недолго, ибо в памяти не оставила никакого следа. К сожалению, не осталось следа и от немецкого языка, впрочем, к усвоению языков особого таланта я не имела, так что, может, это и не вина нашей гувернантки.

Обучались мы и музыке. Как и когда появился рояль в нашем доме – не помню. Стоял он в столовой. У мамы музыкальный слух совсем отсутствовал, и мы, увы, от нее это унаследовали, особенно я и брат. Мама знала ноты, садилась за рояль и играла одним пальцем детские песенки, а мы должны были петь вслед за ней. Особенно любила она «исполнять» на рояле «Во Францию два гренадера», вероятно, за мотив Марсельезы, входящей в эту песню.

Неудивительно поэтому, когда мы стали обучаться музыке, мы спросили у мамы, будем ли мы тоже одним пальцем играть или двумя руками, как играют у Любимовых. Мама заверила нас, что будем играть двумя руками. Училась я старательно, но толку было мало, ибо Бог талантом обделил. Когда папа вернулся с войны, не раз морщился он, слушая, как я фальшивлю. Мои немзыкальные уши и впоследствии доставили мне много огорчений, особенно в Угодском Заводе, где жили наши двоюродные братья и сестры, к которым по несправедливости судьбы перешли музыкальные таланты старшего поколения, где папа создал отличный четырехголосый хор, где вообще так много и так хорошо пели. Я тоже пела в хоре и все мечтала – вдруг что-то случится и папа скажет: «Смотрите, ай да Нина, стоит среди вторых голосов, а ведет партию первых, да так точно». Так говорилось, но не обо мне. И я твердо решила, что это искусство не для меня. И, кажется, приобщили меня к музыке мои собственные дети.

Детские годы более связаны с мамой, чем с папой. Папа был взят на фронт в самом начале войны, а вернулся в 1919 году, во время обмена пленных, так как, провоевав несколько месяцев, он оказался в плену у немцев. Все эти трудные годы работала врачом в больнице и воспитывала нас троих наша мама.

Во время последней войны мама писала мне: «Хотелось бы написать историю своей жизни, да вот бумаги нет. А то бы написала и послала Эренбургу».

И хотя я знала, что у мамы, у моих детей, живших с ней и сестрой, нет не только бумаги, но и хлеба насущного, однако было как-то поособому горестно, что вот нет бумаги и не на чем маме писать историю ее жизни. Не знаю, смогла бы мама написать так о себе, как умела она рассказывать, а рассказывала она замечательно. Жаль, что не записывала в свое время ее рассказы.

Мы редко помним наших мам молодыми, разве по фотографиям, более поздний облик заслоняет молодое лицо, и остаются мамы в памяти старенькими.

Была мама среднего роста, плотная... Бывало, придет с собрания из Народного дома, а по собраниям она была ходить охотница, и докладывает: «Народу-то немного было, одна четырехпудовая масса слушала докладчика». Мне кажется, она всегда носила короткие стриженные волосы, а ведь раньше, когда мы жили в Крюкове, у нее была прическа, такой ее фотографировал кто-то году в 15-м, во время войны. Ее фотография в овальной рамке стояла обычно на письменном столе.

Была она вспыльчива и в ссоре могла наговорить немало лишнего. Поэтому не раз происходили разрывы дипломатических отношений между мамой и родичами, между мамой и ее сослуживцами.

Впрочем, гневалась она недолго и, поостыв, с юмором, свойственным ей, описывала эти ссоры.

Она глубоко и сильно расстраивалась от всяческих невзгод своей жизни и в то же время умела всегда увидеть смешную сторону даже в трагических ситуациях, что, я думаю, ее нередко спасало и делало жизнеустойчивой. Она умела смешно рассказывать и заразительно смеяться. «Невозможная Лизавета» – так называла ее, бывало, жена папиного старшего брата. Одна из моих подруг молодости как-то призналась мне, что именно в нашей семье научилась смеяться.

Всегда у мамы были какие-нибудь, как она говорила, «доминанты», которые ее мучили, не давали ей спать. Вызывались эти неотвязчивые мысли то разными злобами дня, связанными с пропитанием семьи, с несложным нашим хозяйством, то, в не меньшей степени, мировыми проблемами. Мама могла не спать и мучиться бессонни-

цей, думая, как просушить сено для нашей коровы в дождливое лето и что будет с Испанией и испанцами.

Была она человеком энергичным и деятельным, и смерть ее настигла на посту, как она всегда и хотела.

В деятельности врача ее больше привлекала профилактика болезней, нежели лечение их, и перед смертью в полубреду она строила планы организации работы участковых врачей. Работала она до 73 лет, на пенсию уходить не собиралась, «штопать чулки вам не буду» – решительно заявляла она.

Родилась мама на Волге, в маленьком городке с длинным названием: Романово-Борисоглебск. После революции город был переименован и по имени какого-то местного героя стал называться Тутаево.

На маминой родине была я два раза. От первой поездки к бабушке, еще до войны 14 года, остался в памяти почему-то дворик, выложенный широкими камнями. Был дождик, камни намокли, а потом, пригревшись на солнце, заполнили дворик каким-то особым, специфичным запахом, приятным и острым. И впоследствии запах асфальта после дождя всегда вызывал в памяти этот дворик, как-то случайно зацепившийся в сознании, хотя должны бы запомниться Волга, пароход, новый город..

Бабушка была учительницей, с мужем своим она разошлась, ибо был он горьким пьяницей. И бабушка, женщина характера твердого и решительного, стала одна воспитывать двух своих дочек. Была она, коли не ошибаюсь, из военной среды. Мне представляется, по рассказам мамы, что в доме их толклись какие-то военные люди со своими денщиками. Один эпизод, опять-таки случайный, застрял в памяти: маму, тогда еще девочку Лизу, послали в лавку за пивом и закуской. Деньги лежали в толстом кожаном кошельке. Руки у нее были заняты покупками, карманов в платице не оказалось, и, недолго думая, она взяла в зубы кошелек и, припрыгивая, бежала домой. Ее увидели из окна и встретили таким дружным хохотом, что она совсем растерялась да так и осталась стоять в дверях с кошельком в зубах.

Училась она и сестра ее Тоня в епархиальном училище в Ярославле. Любила Лиза Успенская сама посмеяться и других посмешить. Тоню, серьезную и несколько апатичную, шокировало поведение старшей сестры, и по вечерам она ей выговаривала, чуть не плача: «Будет тебе шута из себя строить, над тобой все смеются...» А Лиза не унималась и собиралась тогда стать артисткой. Артисткой она не стала, но страсть к драматическому искусству была присуща всей нашей семье.

После окончания епархиального училища все почти мамы подруги повыходили замуж, а мама твердо знала, что будет учиться дальше. Откуда в ее голову залетели мечты о женской самостоятель-

ности, о необходимости дальнейшего образования – не знаю. Вероятно, большое влияние оказала жизнь бабушки, пошедшей наперекор общественному мнению, сумевшей своей работой учительницы и рукодельницы, без посторонней помощи воспитать двух девочек. Может, к тому времени идеи эмансипации женщин витали, как говорится, в воздухе.

Хотела она стать непременно врачом. В Москве открылись курсы акушеров и фельдшериц, мама слышала, что без протекции туда не принимают. И вот, недолго думая, она пишет письмо директору этих курсов и просит его оказать ей протекцию. К ее удивлению, она получила из Москвы ответ да еще какой: ее приглашали приехать на курсы.

Так и оказалась Лиза Успенская в Москве. Когда она представилась директору, оглядев ее, весело сказал: «Так вот какая моя протезе!»

За курсы надо было платить, а денег у бабушки, разумеется, не было. Над неимущими курсистками брали шефство богатые покровители. Был и у мамы такой, фамилии его не помню. Мама ездила к нему благодарить за оказанную ей помощь.

Из своего Романово-Борисоглебска попала мама в среду совсем отличную. На курсы шли девушки, захваченные идеями об эмансипации женщин. Там мама приобщилась и к политике.

Летом ездила к себе на Волгу. Подруги в родном городе давно обзавелись семьей, а Лиза Успенская никак не могла влюбиться. «Господи, – молилась она, – если суждено мне влюбиться, так уж хоть поскорее».

Очевидно, Бог услышал молитву – и там, в Романове, пришла первая любовь к студенту Саше. От Саши мама узнала о новой революционной философии – марксизме. Катались в лодке по Волге и читали «Капитал» Карла Маркса. «Вот и были бы вы Александровичи», – говаривала нам, уже взрослым, мама, рассказывая о себе. – Впрочем, тогда вы бы и не вы были».

Так и не вышли мы Александровичами. Саша был забыт, а у мамы были еще два увлечения: чуть не вышла она замуж за одного вдовца с двумя детьми и чуть не уехала с ним в Сибирь, да, видно, вмешалась родня и удержала ее от этого филантропического шага. Была она влюблена в своего начальника – заведующего больницей в Воскресенске – Константина Александровича, человека женатого, но была эта привязанность скорее обожанием, платонической влюбленностью в человека, по рассказам мамы, удивительно обаятельного. Остался в памяти один эпизод из этого периода маминой жизни. Собрались на террасе Константина Александровича его сослуживцы. Пили вечерний чай. В сумерках начали рассказывать всякие страшные истории. Дошел черед до мамы. «Был у нас в городе один пара-

лизованный человек. Возили его на кресле, сам он передвигаться не мог. Как-то ранним летом на даче попросил он, чтобы его отвезли в сад. Дело уж к вечеру было. Отвезли его, да как-то так случилось, что и забыли его в саду. А сад густой, тенистый. Утром хватились, побежали к нему, а он лежит, весь изъеденный комарами». Мама замолчала, все несколько недоуменно переглянулись, а из кабинета Константина Александровича, окно которого было открыто, раздался неудержимый хохот. Рассмеялись и все остальные. «Ну и страшная история, – до слез смеялся Константин Александрович, – весь изъеден комарами». Тут только мама поняла свою оплошность, ведь история-то и правда страшная была: парализованного старика нашли в саду мертвым – самого главного-то мама и не сказала.

Представляю, какой необычной показалась мама, стриженная недавняя курсистка, когда она появилась в семье священника из села Угодский Завод Калужской губернии. Хотя мой дед, человек умный и терпимый, имел своих трех сыновей, из которых ни один не захотел пойти по духовной линии, все после семинарии разбежались в институты – кто в Киев, кто в Юрьев, хоть его собственная единственная дочка училась в Москве, однако, наверно, странно ему казалось, когда на свадьбе «молодая» сказала пламенную речь об эмансипации женщин.

Однако же мама никогда не чувствовала себя чужой в папиной семье. Особенно близко сошлась она с папиной младшей сестрой Ньюрой.

Незадолго до папиной женитьбы закончился свадьбой длительный роман его старшего брата, окончившего медицинский факультет в Киеве.

Невдалеке от Угодского Завода было небольшое имение, купленное богатым московским купцом Саниным. В летнее время в имение наезжали его хозяева. Барышни из имения водили знакомство с семинаристами из Угодского Завода. Были они юноши веселые, талантливые, образованные. Одна из барышень, Ольга, влюбилась в Николая – старшего из Всесвятских.

Вместе пели, музицировали, гуляли. Завязался роман, роман был тайный. Нельзя было и подумать, чтобы богатая купеческая дочь вышла замуж за сына сельского священника. Тайно обменивались письмами. По дороге в имение был сосновый бор с непонятным названием Богдановка. Вот туда-то в условленное место, в дупло старой сосны, и отсылались письма. Почтальоном Николая был его младший брат – мой папа.

Как ни противились Санины, однако дочь их вышла замуж за Николая Всесвятского. Ее прокляли сначала сгоряча, потом простили, и



*Дочь отца Василия
Анна*

она получила большое приданое. Часть этого приданого была дана моим родителям для продолжения образования; часть была вложена в постройку угодскозаводской больницы, где и начал свою работу врач Николай Всесвятский.

Отец учился в Юрьеве, так как семинаристов из Калуги в Москву и Петербург не пускали, а мама – в Петербурге. Только на последнем курсе они смогли объединиться: на женские высшие курсы был открыт прием мужчин, отец перевелся и был, по семейной нашей летописи, первым и последним студентом-мужчиной на этих курсах.

Получив дипломы врачей, родители уехали работать на Украину, в Нежинск. В центральных губерниях им поначалу работать запретили как участникам студенческих волнений. Сохранилась у нас одна фотография: небольшой деревянный домик, у крыльца лошадь, запряженная в телегу, в телеге папа в косоворотке, в студенческой фуражке, рядом мама в платочке, покрытом по-деревенски, на крыльце женщина, видимо, фельдшерица, встречающая приветливой улыбкой приехавших врачей.

Крюково было третьим или четвертым местом работы родителей. Нашу жизнь в Крюкове я не могу восстановить последовательно, год



*Ольга Петровна
и Николай
Васильевич
Всесвятские
с детьми Галей
и Колей*

Выезд молодых врачей



за годом. Она рассыпается в моем воображении на отдельные эпизоды, не связанные прочно, не сцепленные между собой; не всегда я знаю, какие из них сохранила моя память, какие возникают как семейные анекдоты и легенды.

Пусть они и явятся так, как возникают передо мной, тесня и обгоняя друг друга.

Весна. Молодая зеленая травка и первые желтые цветы одуванчиков на лужайке перед каменным белым зданием прачечной. Лужайка тянется вдоль стены, она огорожена низеньким забором. Мы, больничная детвора, прыгаем, бросаем вверх вязаные шапочки, матросские бескозырки и орем в каком-то совершенно неудержимом упоении. Просто прыгаем. Орем и бросаем вверх шапки, потому что весна, потому что солнце, тепло, потому что нам весело.

За нашим домом сад. Большие георгины, пионы, левкои. Цветы и музыка сопровождали всюду папу, даже в немецком плену.

Маленькая Таля, ей года два, нагнулась над клумбой. «Таля, не рви цветы!» – строго кричит папа. Таля заливается громким плачем. Такая обида. Она только хотела понюхать бархатистые анютины глазки.

Вся семья сидит за обедом в столовой. Да и не только наша семья, почти всегда за столом бывали гости, иногда столовались со служивцы.

Лева капризничает, он шлепает ложкой по тарелке с кашей. Он распалился, и никто не может его унять. Папа вытаскивает брата из-за стола и ревущего, отчаянно брыкающегося несет к себе в кабинет на кожаный диван. Это высшая мера наказания. Выше не было. Нас никогда не шлепали и даже в угол не ставили. На диване или на кровати с решеткой мы отсиживались за шалости и капризы.

Из кабинета сначала доносится отчаянный рев, потом он становится тише, тише – и вот дверь столовой распахивается, на пороге стоит брат с салфеткой, завязанной у шеи, голубые глаза его еще не высохли, по румяным щекам размазалась каша вперемешку со слезами, но он улыбается совершенно счастливой улыбкой и радостно говорит: «Я уже успокоился».

Мы возимся на диване, брат норовит залезть на стол, мама сердито говорит ему: «Лева, я тебе тысячу и один раз говорила: нельзя залезать с ногами на стол, а ты все залезаешь». Не помню, сколько было лет брату, когда он сочинил такой рассказ: «Я пошел на охоту и взял с собой собаку. Под кустом сидел заяц. Я тысячу и один раз говорил собаке: не лай, а она все лаяла, и заяц испугался и убежал».

Зимний вечер. Мы катаемся на трехколесном велосипеде в нашей столовой. Велосипед один, а нас трое. Маленькая Таля плохо управ-

ляется с педалями и задерживает очередь. В досаде толкаю сзади велосипед, Таля еще не уселась, теряет равновесие и падает навзничь, сильно ушибаясь затылком о пол. Раздаются ее отчаянный крик и плач. Из кабинета бежит испуганная мама. Я стою в растерянности и страхе. Талю укладывают в кровать, меня отправляют на диван. Я реву и сквозь слезы кричу маме: «Мама, выпори меня, мне будет легче!» Таля говорит еще плохо. Почему-то ей легче даются концы слов, чем их начала. «Ду лять» – это значит на ее языке «пойду гулять». «Не так, Талечка, – поучает ее кто-то, – скажи: пойду гулять!» «Ду лять», – уже грустно повторяет сестра и готова зареветь. Няня Таня выручает: «Скажи, Талечка, когда буду большая – скажу, теперь не умею». «Да душая, да жу, пель мяю», – повторяет Таля на своем необыкновенном языке.

Мы любим бывать в гостях у нашей соседки Надежды Алексеевны. Мы ее немного побаиваемся, потому что она нам спуска не дает и по всякому поводу читает нотации. И тем не менее нам с ней хорошо, и в основном мы друзья. В ее небольшой квартире удивительная чистота и порядок. У нас тоже чисто, но не до блеска. И вещи часто не на своих местах. И не раз мы ищем что-нибудь пропавшее, закатившееся, засунутое. У нее – у каждой вещи свое место, и попробуй – нарушь. Надежда Алексеевна работает акушеркой в родильне. Волосы у нее с проседью. Глаза небольшие, зоркие. Руки ловкие. На язык она прямая и резкая. Из-за этого у нее с нашей мамой бываю столкновения. Тогда мы не ходим к ней в гости. Но это бывает редко. Обычно Надежда Алексеевна частая гостья у нас, а мы у нее. Особенно благоволит она к братишке: он большеголов, ослепительно голубоглаз и премило улыбается. Если он приходит один, то, обязательно получив угощение, спросит: «А Нинке? А Тальке?» И честно донесет в карманах то, что получит для нас. Но однажды он жестоко обиделся на Надежду Алексеевну. Он был болен, и она пришла ставить ему горчичники. Лева брыкался, сердился и наконец закричал: «Надежка Алексеевка, глупая Фирсановка!» Все так и покатались со смеху, и Надежда Алексеевна тоже. Фирсановка – это название одной из станций между Москвой и Крюковым. Лева, наверно, был твердо уверен, что все слова на КА содержат в себе нечто презрительно-ругательное. И был озадачен общим весельем в ответ на его грозный выпад.

Как-то мы пили чай на терраске Надежды Алексеевны. Пили чай с такими великолепными, румяными, горячими, вкусными шанежками, которые умела готовить только Надежда Алексеевна. По ступенькам крыльца медленно, нерешительно, но важно и не теряя достоинства поднимался большой соседский петух с золотистыми перьями на шее и большим красным гребнем. Я увидела петуха и громоглас-

но сказала: «Вот и петух направляет к нам... свои походные инструменты...» Все расхохотались. Я совсем смутилась: слово СТОПЫ, которым мне хотелось щегольнуть, как назло, улетучилось из памяти. Долго не забывала Надежда Алексеевна и лукаво спрашивала: «Нина, куда же ты направляешь свои походные инструменты?»

К кому-то из фельдшерц на лето приехала родственница. Ее зовут Надей, ей шестнадцать лет. Надя считает себя взрослой, на нас смотрит с пренебрежением и любит нас изводить и дразнить. Я ее терпеть не могу. И вот однажды мы пошли гулять по шоссе «до Булатовых» или «до Некрасовых». Шли с нашей няней Таней. Надя была тоже с нами. На шоссе спокойно, изредка протарахтит телега. И вдруг из-за поворота вырвались трое велосипедистов. Мы рассыпались по обе стороны шоссе. Увидев, что оказалась рядом с ненавистной Надей, я, метнув на нее сердитый взгляд, стрелой понеслась на противоположную сторону к няне Тане. Один из велосипедистов налетел на меня, меня отбросило в сторону, а велосипедист, резко затормозив, оказался под велосипедом. Я отделалась небольшими синяками, меня поставили на ноги, няня, напугавшаяся не меньше меня, ощупывала мои ноги и руки. Велосипедист, молодой человек, побледневший от волнения и боли, подошел к нам и, убедившись, что девочка цела и невредима, повел, сильно прихрамывая, велосипед. «И зачем ты побежала, осталась бы на той стороне, какая тебе разнища?» – чуть не плача выговаривала мне няня Таня. «С Надькой не хотела, вот», – еще всхлипывая, отвечала я.

По дороге решили ничего дома не говорить, чтобы никому не попало. И вдруг после обеда папу вызывают в больницу: привели больного, молодого человека с дачи Булатовых, со сломанной рукой.

Ну все! Сейчас наша тайна раскроется! Велосипедист нажалуется: шутка ли, рука сломана – и по моей вине. Папа возвращается, зовет меня, сердце замирает. Но папа протягивает мне целый пакет китайских яблок, маленьких и румяных.

– Это тебе велосипедист прислал, спрашивал, цела ли ты, говорит, что споткнулся об тебя и чуть руку не сломал. А ты ничего и не сказала.

Я облегченно вздыхаю, угощаю всех яблочками, а Надька, конечно, ничего не получает. В конце концов, она во всем виновата.

Наша мама в больнице. В доме тревожно. Нас ведут навещать маму, маме плохо. Мама лежит в палате родильни. Такое впечатление, что у нее распух язык, так она плохо, неразборчиво говорит. На языке она держит что-то. Лицо у нее красное, а глаза мутные. Вечером мы ужинаем не в столовой, а в кухне. Няня Таня говорит жалостливым голосом: «Плоха ваша мама-то. Если умрет, поди, вашей мамой будет Мария Александровна».

Мария Александровна – фельдшерца. У нее пышные с рыжинкой волосы и румяные щеки. Мы любили ходить к ней в гости. Но потом нам сказали, что мама и Мария Александровна поссорились. И нам нельзя больше ходить к ней в гости.

Мария Александровна милая и добрая, она мне нравится, но почему она должна стать нашей мамой? У нас есть мама, и она не умрет. Я начинаю реветь. Няня Таня, чувствуя, что сказала лишнее, меня успокаивает.

Мама выздоровела и вернулась. Не помню, тогда или позже мы узнали, что у нас родилась сестренка Маруся, но умерла.

Мама и я живем не в Крюкове, а в Детчине. Папа, Лева, Таля и няня Таня остались в Крюкове. От Детчина остались в памяти маленькие комнатки, белые, очень чисто отскобленные полы, на них половички. Мы – я и соседские дети – составили стулья, накрыли их одеялом, залезли под одеяло и играем в поезд. Почему-то мне кажется, будто тогда же я прочитала книгу Желиховской «Жизнь пережить – не поле перейти», хотя едва ли в семь лет мне дали читать такую сложную книгу.

Впоследствии я узнала, что в Детчино мама уехала с намерением больше не возвращаться в Крюково, что в это время решалась судьба нашей семьи. В одном большом и трудном разговоре с папой (я уже была замужем) он мне сказал, что только семь лет была гармонична их семейная жизнь. Что нарушило гармонию, трудно определить. Возможно, сказывалась разница в возрасте: папа был младше мамы на шесть лет; впрочем, браки заключают на небесах, а боги насмешливы. И жестоки. Словом, через семь лет начались поиски гармонии, приносящие, вероятно, страдания и той, и другой стороне. Новые открытия папы каждый раз глубоко ранили маму, которая одного его любила всю жизнь. Папа горячо любил нас, детей, и по-своему любил, ценил, уважал маму. Все это для нас стало известным много-много позже. Каждый из родителей принес что-то большое в жертву, сохранив семью, окупалась ли для них жертва – кто скажет?

Из Детчина мы с мамой вернулись в Крюково; мир был восстановлен. Уехала из Крюкова Мария Александровна. Я думаю, что не без ее участия было принято решение: она, тоже горячо и на всю жизнь полюбившая отца, не захотела разбивать семью. Уже во время войны, в Подсолнечном, куда она переехала, у нее родилась дочка – наша младшая сестра по отцу.

Я узнала об этом откуда-то и помню, как однажды спросила у мамы: могут ли быть дети у мам без пап. Вопрос, видно, долго меня мучил, ответа мамы не помню, то ли она уклонилась, то ли я была удов-



*Крюковская
фельдшерца
Мария Александровна
Зарина. 1913 год*



*Ира Всевятская,
3 года*

летворена ее ответом. Даже место помню, где произошел этот разговор, а ответ не запомнился.

Очень смутно помню, как мы провожали папу на войну. Кажется мне, что я вижу его в военной форме, даже будто бы нагибается он ко мне, поднимает меня и целует. Но воспоминание такое туманное, может, и воображаемое да еще с помощью какой-либо фотографии тех времен.

Зато хорошо помню, как весь наш дом охватила тревога, когда от папы не было долго писем. Как плакала мама, как успокаивала ее жившая тогда у нас романовская бабушка, как обрадовались первому письму из плена. Папа воевал несколько месяцев и попал в плен вместе с Самсоновской армией, в плену он и был всю войну до 1919 года.

Запомнилась одна елка, уже в войну, без папы. Рождественские елки были в нашей жизни таким же большим праздником, как в жизни всей детворы обеспеченных семей. Но обычно, как показывают воспоминания многих, елка для детей была сюрпризом. Ее готовили втайне – и вот она убранная, сияя огнями и игрушками, встречала их. А в нашей семье было принято готовиться к елке, наряжать ее всей семьей. И уж не знаю, что интересней – елка-сюрприз или елка – творение рук твоих. Столько бывало предпраздничной суеты, мы сами делали гирлянды, флажки, клеили игрушки, вешали наше и купленное на елку (а в Угодском Заводе, где лес был рядом, и за елкой сами ездили, сами выбирали ее в лесу – и это великое удовольствие), сами прикрепляли свечки. К елке готовили стихи, басни, пословицы, разыгрывали в лицах. И ставилась елка не в середине комнаты, а в углу, чтобы просторнее было веселиться, плясать, водить хороводы. Помню, как на одном из праздников Лева сказал свое первое стихотворение под елкой: он видел, как под елку выходили старшие дети, говорили стихи. И вот, преодолевая застенчивость, он сполз с чьих-то колен, неожиданно для всех оказался под елкой, быстро сказал: «Калинка-малинка, конь бежит», – и, совсем смутившись от такой храбрости, кинулся бежать. На елку, помимо «больничных» детей, приглашались деревенские ребяташки. Наверно, и в годы войны устраивались елки, и были они, наверно, веселые, но из этого времени я помню невеселую елку. Видимо, дома беспокоились за отца, вновь потеряв связь с ним, или мама болела – только дома елки не было, настроение, должно быть, тоже было непраздничное, игры не клеились. И вдруг кто-то постучался в дверь и в комнату вошел кто-то высокий, худой, в женском платье и маске обезьяны. И так смешно было видеть маску обезьяны на этом высоком и худом человеке, что мы развеселились. «Обезьяна» оказалась веселой, она прыгала и плясала с нами, только не говорила, не желая, чтобы мы узнали ее по голосу. И лишь в конце веселья бы-

ла снята маска – обезьянкой нарядилась наша бабушка, наша суровая строгая бабушка, от которой нам так часто доставалось.

Уж не помню, до войны или во время войны отправилась наша Талья в Америку. К нашей соседке Надежде Алексеевне приезжали ее друзья Грановские с единственным сыном Гришей. У Гриши было, как мне помнится, милое девичье личико, ходил он в бархатных костюмчиках с белыми воротничками, был мечтателен и задумчив. Хотя он был ровесником Левы, но больше водился с Талей. Вот ее-то он и уговорил уйти с ним в Америку. Даже, кажется, сухарями запаслись. Грише было лет пять, а Тале года три. Исчезновение беглецов быстро обнаружилось, и нашли их около шоссе по дороге в Жилино: Талья сидела и горько плакала, а Гриша тыкал ей в рот конфетку, сам чуть не плача. Гришу после Крюкова я не видела. От Надежды Алексеевны узнала, уже будучи студенткой, что Гриша Грановский был изгнан из какого-то высшего учебного заведения за то, что восстал против исключения его однокурсников из-за неподходящего социального происхождения. Дальше о жизни его я не знаю.

Самыми близкими нашими друзьями были Кокины. Жили они с нами рядом, перебежишь небольшой лужок мимо сарая, который носил громкое имя Театральный, – и вот широкая деревянная терраса, на которой часто мы играли в дождливое время, вот дверь в небольшую квартиру.

Было их тоже трое: Борис, Соня и Павлик. Няни нас поддразнивали «женихами» и «невестами». Борис был на полгода младше меня. Один раз моя мама дала нам задачу на соображение: надо было разложить орехи на две кучки так, чтобы в одной было втрое больше, чем в другой. Как я ни переключивала орехи, задача не решалась. Борис сообразил довольно быстро: разложил орехи на четыре кучки и три соединил вместе. Я была поражена таким простым решением и сильно уязвлена: на полгода младше и такой умный. Наверно, очень переживала, если так надолго запомнила этот укол самолюбия. К нашим друзьям мы бежали с утра. Если Кокиных почему-то не пускали на улицу, это было большое для нас огорчение. Все детские игры мы переиграли с ними, нашими первыми приятелями. Сарай, что стоял между нашими домами, недаром назывался Театральным. Зимой там лежали дрова, а летом сарай пустовал, и мы его приспособили для наших театральных представлений: мы его убрали, вешали импровизированный занавес, приглашали на наши спектакли взрослых.

Увлечение театральным искусством шло от мамы. С ней мы готовили детские пьески. Ставились они в нашей столовой, один угол которой отгораживался занавесом. Пережила я однажды горький позор провала. Ставилась пьеса «Сладкий пирог». Я играла мельника,

который не удержался и съел кусок сладкого пирога, скрыв свое преступление. Когда же наказывали другого, невиновного, истинный виновник происшедшего в раскаянии признавался в своей вине. И на самом эффектном месте я начисто забыла свою роль. От волнения я перестала слышать суфлера-маму, в полном смятении убежала со сцены и долго обливала слезами подушку, понимая всю непоправимость случившегося: спектакль «Сладкий пирог» был провален.

Летом 1917 года меня готовили к экзаменам в гимназию. Я должна была ехать в Москву и жить в семье дяди Коли, старшие дети которого также поступали в гимназию. В августе, перед самым экзаменом, кто-то из наших приятелей заболел коклюшем. Решено было меня изолировать, чтобы я не заразилась и смогла поехать к первому сентября в Москву. Меня взяли к себе Любимовы. Детям запрещено было со мной играть, а я не должна была выходить за пределы дома и сада Любимовых. Это было что-то новое и романтическое в нашей жизни. Сначала ребята подбегали к забору и мы вели переговоры на значительной дистанции. Потом я осмелилась набрать яблок-паданцев в большом любимовском фруктовом саду и спрятать их в укромном местечке так, чтобы ребята могли взять их. К яблокам я присоединила письмо, написанное шифром. В ответ я получила какую-то книгу и ребус. Борис предложил издавать тайный журнал. Журнал прятался под забором, из номер в номер шли рассказы и повести с продолжением. Из всех произведений журнала я запомнила только одно стихотворение Бориса.

Жили-были два Ивана
И Матрена – их сестра.
Раз пошли они на речку
Ловить осетра.
Осетра они поймали,
Чешую с него содрали
И, сварив себе уху,
С аппетитом кушать стали.
Тут обед их перервал
Косолапый Мишка.
Он ввалился к ним в окно,
Не набивши шишку.
Иван малый испугался
И со страху убежал,
А Иван большой поленом
Мишке все бока намял.

Сколько потом было выучено стихов великих поэтов, сколько из них навсегда забыто, а первое стихотворение Бориса Кокина живет в памяти больше пятидесяти лет. И где он, автор этого стихотворения? Едва ли остался жив. Мы потеряли связь с нашими друзьями после отъезда из Крюкова. Впоследствии доходили до меня сведения о том, что, будучи студентом, он вступил в партию, был в оппозиции, вероятно, закончил жизнь где-нибудь в лагерях в тридцатые годы.

Кроме Кокиных, уже во время войны, наша компания пополнилась: прижились в больнице двое детей-сирот – Акулька и Колька. К фельдшернице Ефросинье Петровне, что жила возле амбулатории, приехала ее племянница Оля Виноградова, тоже осиротевшая; появился сын одной из сиделок – мальчик лет двенадцати-тринадцати, Ваня Органов.

Ваня стал главным организатором наших игр. Под его руководством мы играли в войну и в индейцев. Он нас выстраивал «во фронт», снабжал самодельным оружием. Мы маршировали, стреляли из ружей и из луков, им были разработаны суровые наказания за провинности: нарушивший военную дисциплину выходил из строя, привязывался к дереву, стоял в указанном месте с поднятой рукой. Словом, Ваня нас муштровал с азартом.

С Ваней связан такой случай: летом мы ходили купаться на пруд. Был пруд не очень большой, но довольно глубокий и чистый. На берегу были построены купальни. И однажды в этом пруду чуть не утонул Лева. Зашел он слишком глубоко, испугался, вскрикнул и исчез под водой. Мама на берегу услышала его крик и как была в белой полотняной юбке и блузке, так и начала спускаться в воду по ступенькам купальни, крича: «Лева тонет! Спасите!» И вот тогда-то Ваня Органов, купавшийся вместе с нами, поплыл саженками к брату и, схватив его за руку, извлек из воды. Авторитет нашего командира после этого подвига укрепился несказанно.

Своеобразным преломлением предреволюционных событий была наша игра в «кружки» или «партии». Наша прежде в основном дружная компания разбилась на две группы или, как мы говорили, на два «кружка». Туманные сведения о подпольных «кружках» привезла нам из Москвы Оля. Каждый «кружок» выбирал своего вождя. Мы почему-то, вероятно, под влиянием героев Жюль Верна, возвели своих вождей в чин капитана. В одном из «кружков» главенствовала Ольга, в другом – Борис. «Кружки» строили шалаши, выдумывали свои пароли, и дальше шла игра, напоминающая казаков-разбойников, с той только разницей, что «кружки» существовали и функционировали постоянно и, надо сказать, власть была жестко централизованной: члены «кружка» безоговорочно должны были подчиняться своему

вождю. Оля была вождем-капитаном явно деспотичным. Худенькая, смуглая, с черными слегка вьющимися волосами, ярко-черными глазами и бровями, прямым носиком и решительным подбородком, она любила властвовать и в дружбе была капризна и даже вероломна. Была она моей первой подружкой, я безусловно была под ее началом, что мне не всегда нравилось. Но в то же время я любила ее, и в моей любви много было от гордого сознания, что я верный друг Оли, у которой нет ни папы, ни мамы, которой так одиноко на свете, которую я не раз утешала, когда она плакала после ссоры с тетей, впрочем, женщиной милой и доброй, но все-таки тетей, а не мамой. И в этом я находила для себя много новых ощущений, щекочущих где-то у самого сердца. С Олей мы встретились один раз уже взрослыми: я училась в институте, она работала, учиться не имела возможности. Показалась она мне очень красивой и очень чужой. Жизнь шла в разных планах – и больше встречаться нам не захотелось.

В нашем доме во время войны временно жила жена большевика Николая Михайловича Мещерякова, кажется, звали ее Анна Григорьевна. Она болела малярией, лечилась в нашей больнице. Как она попала к нам – не знаю. Изредка ее навещал муж. Вероятно, это было летом 1917 года, между Февральской и Октябрьской революциями. По вечерам мама и Николай Михайлович горячо и подолгу спорили. Я помню, как бывало из детской, уже лежа в кровати, я вижу две мелькающие тени на стенах столовой. Тени то сходятся, то расходятся. Голоса, сначала сдержанные – дети спят, становятся громче и громче, как мне кажется, все более сердитыми и враждебными. Мне страшно, мне представляется, что Николай Михайлович обижает маму. И это с его стороны так нехорошо: он гость и жена его у нас живет и лечится. Спор продолжался далеко за полночь.

Тогда мы не знали, что спор шел о судьбах России, что этот спор был не только в нашей столовой, что мама и Николай Михайлович – оба марксисты – уже не были единомышленниками. Мама шла за Плехановым, за меньшевиками, Николай Михайлович был большевик.

Слово «большевик» уже вошло и в нашу жизнь, как и от кого – не вспомню. Однажды Анна Григорьевна, прислушиваясь к нашим играм, удивленно спросила нас: «Дети, откуда вы взяли, что большевики – это разбойники, которые убивают и грабят?» По этому поводу у нее был разговор с мамой, последствия которого я не запомнила, видимо, мама нас к политике не стала приобщать.

Накануне грозных событий 1917 года в сентябре я уехала в Москву, сдала экзамен в первый класс гимназии Арсеньевой, что находилась на Пречистенке, и стала жить в Штатном переулке, в доме умер-

шего купца Санина, с тетей Олей и моими двоюродными сестрой и двумя братьями.

Дом Саниных поразил меня своей грандиозностью и большим количеством зеркал, в которых можно видеть себя с ног до головы. Комната, которая была отведена мне и моей двоюродной сестре Гале, могла бы вместить все три комнаты нашего крюковского дома.

Со своими двоюродными я, наверно, сошлась быстро, потому что осталось бы в памяти чувство тоски по дому (я же покинула его первый раз), чувство одиночества. Галка, как звали сестру в семье, была высоконькая девочка, с продолговатым лицом, черноглазая, хорошенькая, с двумя толстыми косами, предметом моего восхищения и доброй зависти: черные волосы на висках кудрявились – не то что моя соломенная крыша! Была она старше меня года на два, вместе мы ходили в гимназию, я в первый, она в третий класс. Мне она нравилась, но друзьями мы стали много позже.

Из трех двоюродных мне наиболее симпатичен был младший брат – Валентин, учившийся в приготовительном классе. Был он коренаст, широкоплеч, лицо немного скуластое, карие небольшие глаза и широкие брови. Было в нем что-то спокойно-уравновешенное, что особенно привлекало к нему. С ним я учила таблицу умножения и басни, с ним шалила, ему рассказывала о Крюкове. В гимназии Арсеньевой я училась очень недолго, и в памяти осталось всего несколько эпизодов, с ней связанных.

Я сижу за партой и сама не своя от страха: у меня отстегнулись от лифчика штанишки – и вдруг меня вызовут. И я пойду к доске, и все увидят, что со мной случилось. Спасительный звонок – и я, придерживая через платье злосчастные штанишки, выбираюсь из класса, спускаюсь по лестнице и лечу в раздевалку, чувствуя, как ползут книзу мои противные штанишки. И когда, зарывшись где-то в шубах, я наконец привела себя в порядок, я почувствовала такое облегчение, какое бывает, когда просыпаешься, освободившись от кошмарного сна.

Нас ведут на прогулку вверх по Гоголевскому бульвару. Мы идем парами, с нами наша классная дама, еще молодая женщина, которая мне нравилась. Со мной в паре Валя Платонова, моя недолгая подружка по гимназии. Я громко рассказываю ей содержание недавно прочитанной книги. Рассказываю громко, в тайной надежде на то, что классная дама слышит меня и уж наверно думает: какая молодчина, такая маленькая и такая начитанная и рассказывает так хорошо. Классная дама действительно приближается к нам и говорит мне резко и сердито: «Разве можно так кричать во время прогулки? Вести себя не умеешь!» Я сразу сникаю и умолкаю. Сердце сжимается от горькой обиды. Всю дорогу до гимназии я придумываю казнь для классной да-

мы. В гимназии, воображаю я, вспыхивает пожар. Паника. Все спешат к выходу. В давке падает без сознания Она (класная дама). Никто не хочет ей помочь. И только я с риском для жизни спешу к ней на помощь. Она приходит в себя, я ей помогаю встать, мы спешим к выходу. И тогда она поймет, как была несправедлива ко мне...

И еще. Я возвращаюсь из гимназии. День солнечный и теплый. Настроение радостное: в дневнике хорошие отметки. Через ход со двора я вхожу в санинский дом. На одной из дверей, держась руками за скобки, катается какой-то маленький мальчик в кремовой матроске. Я прохожу мимо него и уже собираюсь объявить идущей навстречу тете Оле о своих радостях, как вдруг она говорит своим громким и звучным голосом: «Хороша сестра. Брата родного не замечает. Не поздоровалась даже». Я оглядываюсь – у двери действительно стоит Левка, глядит озадаченно своими голубыми глазами. «Левка! – удивляюсь я. – Да почему же ты такой маленький?» На фоне грандиозного дома мой восьмилетний братишка показался мне совсем крохотным. А из глубины комнат слышался знакомый грассирующий говор мамы.

Помню еще приезд к нам в Москву дяди Коли из Угодки. Был он самый высокий из братьев, чертами лица напоминал мне папу. Бросились к нему мои двоюродные, а мне грустно стало – мой папа в плену, когда-то увижу его. Дядя Коля понял меня, привлек к себе, погладил по голове. Галя, страстно любившая отца и похожая на него, даже расплакалась от радости. Меня это поразило. О том, что можно плакать от радости, я читала только в книгах. Мне казалось, что я никогда не смогу так сильно радоваться и так сильно любить. Сияющими глазами смотрела Галя на отца, а я с чувством уважения и даже зависти смотрела на мою сестру.

Думаю, что после приезда дяди Коли мы уехали в Угодский Завод.

В Москве было тревожно, чувствовалось, что надвигаются какие-то события, революция, начавшаяся в феврале, не завершилась.

Меня тетя Оля брала с собой: в Крюкове было голодно, да и маме одной было трудно. Так очутилась я осенью 1917 года в имении моей тети в Угодском Заводе, которое перешло к ней после смерти ее родителей.

Не ко времени получила тетя этот подарок, и немало горя он причинил ей и ее детям. Как я узнала потом, дядя Коля был против того, чтобы жена его стала помещицей, владелицей дома, роскошного липового парка, земельных угодий. Дядя Коля редко бывал там, жил при больнице в большом поместительном доме, помимо больницы, было у него немало общественных дел в селе. А семья его – тетя Оля с детьми – переехала-таки в имение.

Вот там и очутилась я в ту осень.

Имение было небольшое, но очень приятно выглядело. Дом деревянный с мезонином, с террасами, перед домом большой цветник. В парке с чудными, ветвистыми липами разбегались аллеи. Недалеко от дома – скотный двор с конюшней, хлевом, птичником и сараем с душистым сеном. В этом сарае мы любили развлекаться: кувыркались в сене, прыгали с балок вниз, что было особенно увлекательно, так как балки были высоко над сеном, и сердце замирало, когда, оттолкнувшись от балки, летишь вниз, а пружинящее спрессованное сено подбрасывает тебя вверх.

Хорошо было играть на просторе липового парка. Наши крюковские рощицы меркли перед этими горделивыми великанами, еще не стяхнувшими с себя золотистой листвы.

Здесь, в имении, я дорвалась до книг, которые в нашу домашнюю библиотеку не допускались. И прежде всего это были довольно толстые в синих обложках с золотыми буквами, с картинками во всю страницу повести и романы Лидии Чарской. Я упивалась ими и дома, и в парке, куда удирала от двоюродных и где могла пропадать часами, не замечая осенней прохлады. «Дом шалунов», «Сибирячка», «Княжна Джаваха»... Трогательные истории о пропавших детях, переживших столько приключений и благополучно возвращавшихся к своим родителям. Маленькие благородные рыцари, готовые пожертвовать жизнью даже ради своих врагов, – таким был главный герой повести «Дом шалунов», спасший одного из воспитанников детского приюта – дома шалунов – от преследования страшного разъяренного быка. Гордая княжна Джаваха, прямая и чистая сердцем, смелая и обаятельная девочка, попавшая в дом своей тетки, аристократической дамы, и ее фальшивых и лицемерных дочерей. А приключения Александры Дуровой в изложении Чарской! Оторваться даже для обеда было трудно. «Ты глаза себе испортишь», – урезонивала меня тетя Оля, но ничто не в силах было вырвать меня из этого увлекательного мира. Вернувшись в Крюково, я с недоумением спрашивала у мамы, за что она не любит такую замечательную писательницу. «Она выдумывает своих героев. У нее черное есть черное, белое есть белое. И добро в конце концов поражает зло», – пояснила мама.

Мама была права, и книги Чарской исчезли из библиотек наших детей и внуков, исчезли закономерно, но в одном ей нельзя отказать – она умела строить сюжеты своих увлекательных повестей.

В имении еще дом был полная чаша, а в Крюкове мы уже узнали, что значит не есть вдоволь.

Помню, как-то испекли ржаные лепешки к завтраку. Залитые сметаной, они показались всем нам, ребятам, очень вкусными. Но тетя Оля только мне разрешила взять несколько лепешек, остальные по-

лучили по кусочку. «Нина уже привыкла к черному хлебу», – пояснила тетя. И я почувствовала себя умудренней своих двоюродных: я уже знала, почему фунт лиха.

Жила я в имении, видимо, несколько месяцев, потому что помню, как снег выпал, как мы катались с горки, как любил съезжать на животе Шурка – следующий за Валентином сын тети Оли и дяди Коли, самый задиристый и горластый.

Где-то в декабре я вернулась в Крюково, то ли потому, что революционные события стали разворачиваться шире и подступали к Угодке и имению, то ли по какой другой причине, но в Москву мы больше не вернулись и оказалась я снова дома.

Восемнадцатый год памятен голодом и болезнями. Свершившаяся революция мало что изменила в нашей детской жизни. Взрослые принимали и лечили больных. Мы, дети, понемногу учились дома, играли и читали. Няня Таня готовила скудные обеды.

В наших детских разговорах большое место стали занимать воспоминания о вкусной еде. Вспоминали, как бывало обычно к вечеру приходили в больницу разносчики с большими корзинами, которые устанавливались на голове на толстых резиновых кругах. Какие вкусные солоноватые витушки из теста, калачи, ватрушки, сдобные булочки приносили они! А другие – печенье в пачках, конфеты в коробках, шоколадки. И мы бежали к папам и мамам и просили купить что-нибудь к вечернему чаю! А теперь чай стал морковным, разносчики больше не ходят. Лева в день его рождения подарили посоленные сухарики из ржаного хлеба, положены они были в красивую коробку и сильно отсыпались духами. Мама научилась жарить пирожки из ржаной муки с примесью картошки, начинка делалась из вареной чечевицы, если чечевицу поперчить, пирожки совсем напоминали когдатошные, мясные. Пшено в разных видах и вобла занимали главное место в нашем меню. Появляясь в столовой, мы быстро оглядывали стол, спрашивали коротко: по сколько?

И это стало главным: по сколько кусочков хлеба, сахара, картофельных пирожков со свеклой и прочей пищи полуголодного времени.

Тогда не на сцене, а в действительности случилась со мной неприятная история, подобная той, что была изображена в пьеске «Сладкий пирог», только без идилического конца.

К нам в гости ждали старую нашу няню, которая нянчила еще маму, потом некоторое время и меня. Говорила она певуче, по-волжски окая, была маленькой, сухонькой, милой старушкой. Мы ее любили и ждали. И вот к ее-то приезду было приготовлено такое изысканное блюдо, как молочная яичница с поджаренным хлебом. Приезд няни почему-то задержался, яичница стояла в буфете, и, как тогда, в пьесе,

я потихоньку подкралась к буфету и с горящими от волнения ушами притронулась ложкой к краям яичницы, потом незаметно как-то от яичницы, края которой я все подравнивала и подравнивала, почти ничего не осталось. Вечером приехала няня, и обнаружилось мое злодеяние. Но признаться в содеянном я была не в силах и, сгорая от стыда, прятала глаза от вопрошающих и негодующих взоров мамы. Наверно, мама поняла мои муки, потому что были сказаны горькие слова, но не прямо в мой адрес.

Был еще один памятный случай. Почему-то в больнице ждали обыска: говорили, что будут отбирать запасы пищи. Мама отнесла котелок с пшеном к Олиной тете, у которой, видимо, и таких запасов не было.

Оля, узнав об этом, стала укорять меня: вот, мол, нечестно, вы, как буржуи, запасы прячете. Я с плачем прибежала к маме и упрашивала ее отдать это пшено Оле и ее тете или пусть его возьмут при обыске.

Мама как-то меня успокоила, что-то объяснила Оле, а обыска не было, и котелок с пшеном вернулся на место.

Помню, как мы сидели на нашей терраске и жевали неторопливо и длительно кашу из ржаной крупы. Каша была жесткая, мама заставляла жевать тщательно, дабы не было заворота кишок.

Перед выборами в учредительное собрание мы, детвора, занимались агитацией. Мы ходили по домам и распространяли агитационные листки. Помню, что мы с мамой разошлись в политических убеждениях. Мама собирала голоса за № 3 (под которым числились меньшевики в списках), мы вслед за детьми Кокиными – за № 5, так как Мария Степановна, мама наших приятелей, тяготела больше к эсерам. Это была какая-то новая интересная игра взрослых, в которой мы принимали участие.

С осени меня решили отдать в школу. Самая ближняя школа была на железнодорожной станции, за четыре версты от больницы. И запомнилась мне эта школа больше всего дорогой до нее. Еще бы! Четыре версты туда ранним утром, четыре версты обратно, и это все-таки в одиннадцать лет и с пустым желудком. От больницы я шла одна до села Андреевского. Там я заходила за своей подружкой Шуркой Усоловой. Отец ее был из зажиточных крестьян, имел красивый деревянный домик с резными ставнями. У Шурки меня часто подкармливали. И до сих пор помню круглые караваи домашнего заварного хлеба, от которых отрезался длинный ломоть или горбушка, и кружку парного молока. Вот и лица Шурки, ее мамы забылись, а этот вожделенный кусок ароматного хлеба с молоком не забывается.

Если повезет, сокращали путь, прицепившись на задок каких-нибудь попутных санок, если кучер остановит лошадку в ответ на наше жалобное: «Дяденька, подвези!» А то нагонит деревенский обоз:

на первых санках сидит возница, а за ним три-четыре лошади сами трусят гуськом с деревенскими розвальнями. И тут уж не зевай: прыгай с разбегу в последние санки. И зимняя дорога с дорожными приключениями, с веселыми блестящими на снегу осталась в памяти более четко, нежели школа, учителя и одноклассники.

Иногда меня будили раньше обычного, наскоро кормили завтраком и выводили в полумрак к дому Любимовых. Это значило, что к утреннему поезду выезжал кто-нибудь на станцию и прихватывал меня с собой. И вот я еду в пролетке или в санях, подремываю и приезжаю в школу за час-полтора до начала уроков. Однажды привезли меня таким образом в школу. Дверь школы, как обычно, была уже открыта. Одновременно со мной, а то и раньше приезжали с рабочими ранними поездами ученики с соседних станций. В большой полутемной кухне мы чистили картошку для горячих завтраков, которыми нас подкармливали. Картошка очищена, учителей еще нет, начинается веселая беготня по пустынным коридорам школы. Сцепившись за руки с моей одноклассницей, мы начали быстро кружиться. Запретное, но приятное удовольствие. И в это время кто-то из расшалившихся мальчишек подставил нам ножку. Я отлетаю в сторону и падаю лицом вниз. Что было со мной дальше, я потом никак не могла вспомнить. Очнувшись в классе, за партой, на уроке арифметики. Мне казалось, что я проснулась, что мне снилась школа. Мне было странно, что мой сон стал явью, что я действительно в классе. У меня очень болит голова, губы какие-то дельстые, саднит лоб около глаза. На перемене я отпросилась домой. Возвращаясь, я напряженно вспоминала, как я попала в школу, что со мной случилось. На свежем воздухе странное состояние полусна-полуяви исчезло, я постепенно вспомнила, как я ехала в школу, как чистила картошку, как мы кружились и как я упала. Но как я оказалась в классе на уроке, этого я восстановить не смогла, хотя, очевидно, я как-то двигалась, машинально продолжала жить, не осознавая себя.

Мама была не на шутку испугана моим видом (губы распухли, на лбу синяк и ссадина) и моим состоянием. И вот я лежу на диване, с примочками на лице и на голове, испытывая приятное чувство оттого, что в центре внимания и забот, и даже некоторую гордость от пережитого потрясения.

До больницы добираются сыпной тиф и испанка. Переболела испанкой и я. Заболела как раз тогда, когда в школе готовился какой-то праздник и я должна была изображать весну. Мы с мамой делали искусственные цветы для венка, было сшито из марли платье, было выучено стихотворение – и вдруг испанка. И, видно, так мне хотелось все-таки выступить, так я упрашивала маму, что та сдалась и меня, еще не совсем вставшую на ноги, привезли в школу.



Валентин
Всесвятский
в немецком плену.
Открытка,
отправленная
24 апреля 1916 года

Оборот открытки:
письмо, адресованное
в Москву Марии
Александровне
Зариной, у которой
уже родилась дочь
Ирина.

На немецком
штемпеле текст:
«Письмо
военнопленного
проверено цензурой
лагеря для
военнопленных
Хаммерштайна»

И стою я в венке, с завитыми волосами, в своем костюме весны, но никакие румяна не помогают, «весна» бледная-бледная, с провалившимися глазами, голова кружится, опираюсь на стенку. Мама озабоченно смотрит на меня, ругая себя за потворство и ожидая всяких осложнений недолеченной болезни. Но я выхожу на сцену, каким-то не своим голосом говорю стихи, не сбившись и ничего не спутав, и, подхваченная мамой, закутанная, еду домой выздоравливать окончательно.

Зимой 1919 года вернулся из плена папа.

Хотя, видимо по письмам папы, по слухам о происходящем обмене пленными, мы вообще-то ждали его возвращения, но все равно он явился внезапно, поздно вечером, постучав у парадного крыльца. Стук в парадное, запертое наглухо в ту зиму, небогатую топливом, заставил всех насторожиться. «Кто там?» – спросила тетя Таня, вглядываясь в стеклянную дверь парадного крыльца. А мы уже высунулись в переднюю, исполненные любопытства. «Валентин Василыч!» – вдруг радостно вскрикнула Таня и побежала в кухню открывать черный ход. А мама уже спешила из кабинета, я летела из столовой, за мной брат и сестра. И вот папа, заснеженный, в шинели, в военной фуражке, стоит в передней и обнимает маму, меня, брата. А семилетняя Таля, которую папа оставил совсем маленькой, прячется за няню Таню, а няня подталкивает ее к папе, и Таля не знает, то ли плакать, то ли смеяться, когда папа поднимает ее на руки.

И вот мы сидим за столом, под круглой висячей керосиновой лампой. И папа сидит с нами, и мне кажется, что он совсем-совсем такой,

каким я его помнила, каким видела на фотографиях. Он ест с нами жидковатый суп из пшена и похваливает: «Супец – молодец – так у нас в плену говорили».

На следующий день мне разрешено не ходить в школу, но я, конечно, иду. Как же не поделиться своей радостью со всеми в школе, как же не сказать с гордостью: «А к нам папа вернулся». И хочется показать папе, какая я большая, как я хожу так далеко в школу.

И много дней душа была полна радостным сознанием: а у меня что-то есть, что-то необыкновенное, радостное, праздничное – папа вернулся.

Однако через несколько дней я успела обидеться на папу. Он уже начал работать, и кто-то из сослуживцев пришел к нему выяснить что-то связанное с работой. Папы не было дома, и мама быстро выяснила все за него. Папа, узнав об этом, сказал: «Лиза, не вмешивайся в мои дела». Меня это задело: как так «не вмешивайся»? А кто же вершил все дела, пока папа был в плену? Кто все выяснял и давал распоряжения? И в конце концов не так уж плохо получалось! А тут приехал и уже «не вмешивайся в его дела». Я исподлобья смотрела на папу, но он не заметил моего возмущения, и я не выразила его вслух и рассказала маме об этом случае много лет спустя.

Как-то папа уехал в Москву, а мама сказала нам, что он привезет погостить свою крестницу. Папа действительно привез из Москвы маленькую девочку Ирину. Было ей года четыре. Она была беленькая, с голубыми глазами. Она была очень самостоятельная и любила говорить: «Я сама». Сама одевалась и раздевалась, и только пуговицы на лифчике мы ей застегивали. Когда она была нами недовольна, то поворачивалась к нам спиной, говоря: «Я на вас обидись», – и больше не хотела с нами играть и разговаривать. Нашего папу она называла папой, а маму – Лизаветой Осиповной. Жила Ирина у нас около месяца. Когда папа отвозил ее обратно в Москву и Ирина в шубке и капоре стояла готовая к отъезду, мама сказала: «Ты передай Ирениной матери, что Ирина стала называть меня мамой не по моему почину, а вслед за детьми». Мои уши уловили эти слова, и они навели меня на размышления. Мне показалось, что появление Ирины в нашем доме связано с какой-то тайной. Раскрыла я эту тайну уже в Угодке, года через два, когда однажды, убирая письменный стол в кабинете папы, нашла распечатанное письмо. Я скользнула глазами по незнакомому почерку, несколько слов письма заинтересовали меня, и, перепрыгивая от строчки к строчке, глотая слова, я прочитала письмо. И я поняла, что Ирина – наша сестренка, что наш папа – совсем не крестный, а ее родной отец, что ее мама – Мария Александровна – упрекает отца, почему он долго не был у них,

как он может забыть, что у него есть дочь, которая ждет его и скучает о нем. Хотя я нечто подобное предполагала и раньше, однако мое открытие я переварила не сразу. Никому ничего не сказав, я несколько дней бродила в смятении, по-новому приглядываясь к моим родителям. И не столько разумом, сколько сердцем поняла я, как умно, как достойно вела себя моя мама. Впоследствии я узнала, что Мария Александровна тяжело болела сыпным тифом, почему и оказалась у нас Ирина.

19-й год был последним годом нашей жизни в Крюкове.

Заболел сыпным тифом дядя Коля. Папа уехал в Угодку. Дядю Колю не отстояли. Он умер, умер еще в полном расцвете сил, было ему немногим больше сорока лет. На меня смерть дяди Коли, видимо, не произвела потрясающего впечатления. Дети, как верно сказал Короленко, могут понять трагедию случившегося, только увидев умершего.

После смерти дяди Коли папе предложили переехать на работу в Угодку, принять больницу, построенную, созданную его старшим братом, и продолжить дело горячо любимого в семье дяди Коли. Папа согласился, и мы покинули Крюково. Видно, предстоящие перемены в жизни захватили нас и не сознавали мы, что прощаемся с Крюковым навсегда. Для меня, пожалуй, это было также прощание с детством. Трудно установить, где оно, детство, кончается, чаще всего поворотом в жизни служат рубежи. Этот поворот я пережила двенадцатилетней девочкой.

Начинались отрочество и юность, которые накрепко связались с Угодским Заводом, с нашей милой Угодкой, которую все мы долго и преданно любили и вспоминали всюду, куда ни заносили нас наши судьбы.

Но с Крюковым я простилась, вдруг остро пережив разлуку с нашей страной детства.

Это было в первый день приезда в Угодку.

Приехали мы вечером. В нашем доме при больнице еще не закончился ремонт. И мы, порядком усталые, пошли на другой конец села, в дом нашей бабушки, папиной мамы.

Наверно, я как-то совсем иначе представляла наш приезд на новое место, на родину отца. Мне вдруг стало нестерпимо грустно, жаль до слез нашего милого крюковского домика, такого обжитого и уютного, все здесь, на новом месте, казалось неприятным, враждебным. И, глотая слезы, я шла по большому селу, и огоньки в чужих домах не радовали, не грели меня.

Милое Крюково, вот когда я по-настоящему простилась с тобой, горевала о тебе.

УГОДСКИЙ ЗАВОД

— Угóдский Завод, Угóдский, Угóдский! С вами говорит Малоярославец, Угодский! – кричала телефонистка.

Я сидела в ожидании, когда меня соединят с Москвой. Неприятно произнесенное слово резало слух, хотелось поправить.

– Не Угóдский, а Угодский, Угодка, Угодский Завод!

Так мы называли наше село двадцать лет назад. С точки зрения происхождения я не уверена, что правильной. Может, Угодский, если от слова угодыя. Но тогда мы ставили ударение в начале слова, и мне кажется, не было слова звучнее и певучее.

Однако, когда мне пришлось побывать на старых местах снова, я поняла, что нашей Угодки больше нет. Это уже новое село, новой истории, это уже Угодский Завод, и исправлять телефонистку не следует.

Старая Угодка ушла невосвратно в прошлое вместе с нашим детством и юностью, вместе с дорогими людьми, которых уже нет, вместе с домами, в которых мы жили и которых тоже больше нет.

Я приехала в Угодку двенадцатилетней, а когда в 31-м году вернулась из своего первого далекого путешествия, мама и папа переселились в Наро-Фоминск, брат работал в Узбекистане, сестра – в Истре. Мне шел двадцать пятый год.

С Угодкой связаны отрочество и юность. Наиболее яркий период жизни наших родителей. Именно в эти годы вся наша семья была вместе, это были годы привольного, живого общения с природой.

Вот почему этот уголок земли мы долго и бережно хранили в памяти, все виденное и познанное позже воспринимали в сравнении с ним. И хоть родились мы в разных местах, на какое-то время стала Угодка нашей родиной, вроде бы обрели и мы липы, «под которыми родились».

А липы там росли в изобилии. От нашего дома к воротам шла молоденькая липовая аллея. Старые липы заслоняли от дороги дом душишки. Почти возле каждого дома в селе росли молодые или старые липы. Возле имения тети был огромный и прекрасный липовый парк.

Вот почему, когда ветер доносит пряный, нежный, незабываемый, всегда легко улавливаемый аромат цветущих лип, где бы ты ни был, вспоминаешь Угодку, а с ней и юность, и всех утраченных, и все ушедшее.

Когда мы переехали в 19-м году в Угодку, это было большое село, вытянувшееся по большаку, разбросавшее в стороны несколько улиц. Две из них шли вдоль речки Угодки, пересекавшей главную улицу села. Речка неглубокая, богатая холодными ключами, образующими довольно глубокие омуты. Украшала село высокая и легкая церковь,

белая, обрамленная зеленью мощных лип. Она была видна издали. Бродишь по роскошным и разнообразным лесам, выйдешь на опушку, оглянешься – и где-нибудь, часто в иной стороне, нежели ожидаешь, заблестит на светло-голубом или пасмурном небе церковь.

Во время войны фашисты разрушили церковь*. И село как-то осело, стало плоским, приземистым. Как будто церковь поднимала его вверх, к облакам, делала его легким, устремленным от земли.

Приехав из Крюкова, мы некоторое время жили в старом доме. Так называли в семье дом деда, в отличие от нового дома, построенного дядей Колей для семьи своей при больнице в те же годы, когда она строилась. Так и говорилось: пойдём в старый дом, сходили бы в старый дом. Старый дом был вторым от церкви. Первым был дом священника Ремизова. Оба дома стояли несколько отдельно, просторно.



И вся улица в этом месте была широкая и просторная. Дальше за домом деда были домики дьякона, псаломщика. Противоположная сторона улицы заканчивалась деревянным зданием приходской школы.

Парадное крыльцо старого дома выходило в палисадник, тенистый, разросшийся под ветвями старых лип. Ходили чаще через черный ход. Войдешь – и пахнет на тебя памятный запах, свойственный только этому дому: запах печеного хлеба, сухих яблок, укропа. Кухня с большой русской печкой, небольшой коридорчик, соединяющий черный ход с парадным и разделяющий дом на две половины – одна, направо, парадная: там стояли фисгармония, мягко вздыхающая своими мехами и издающая приятные гармоничные звуки, диван, кресла. Другая половина – жилая – состояла из двух комнат. В большой стоял массивный стол, за которым в те годы чаще всего и собира-



*Никольская
угодскозаводская
церковь*

*Дом священника
Василия Павловича
Всесвятского.
Угодский Завод,
1908 год*

* Мемуарист ошибается. Церковь вместе с прилегающим кладбищем была уничтожена в 1930-е годы.

лись, видимо, сохраняя тепло в этой части дома. Висели на стене часы с кукушкой, доставлявшие нам много удовольствия. В маленькой комнатке была лежанка из изразцовых кирпичей, такая теплая, приятная, уютная. Деревянные полы были чисто выдрасны. И весь старый дом помнится как уютный, теплый, гостеприимный, где в то скудное время делились с нами последним, подкармливали нас, всегда голодноватых.

Дед умер еще до войны. Помню его только по фотографиям. Видимо, пришлось мне быть на поминках, так как в памяти смутно осталось какое-то собрание многих людей, столы, уставленные яствами, запах ладана, одежды священников. К моему стыду, осталась еще в памяти черная икра, которую впервые довелось испробовать.

В 19-м году в старом доме жили три сестры Любимовых. Старшая, незамужняя, звалась родителями и дядьями тетушкой Анной Николаевной. Сильно сутулая, она казалась горбатой. Вижу ее в темноватой кухне возле печки с ухватом или с кринками молока. На ней, видно, лежали главные хозяйственные заботы. Средняя – Александра Николаевна – была нашей бабушкой. Невысокого роста, плотная, с округлым и добрым лицом, она резко отличалась от нашей романовской бабушки. Все ее дети – три сына и дочь – были к ней нежно привязаны. Старшего сына Николая она недолго пережила, умерла она через два-три года после нашего переселения в Угодку.

Младшая сестра – Прасковья Николаевна – звалась просто Парашей, она работала учительницей в приходской школе. Замуж она не вышла и была связана нежной и тесной дружбой со своей племянницей Анной Васильевной, сыну которой была крестной, и души не чаяла в своем крестнике. Прожили мы в старом доме недолго и вскоре переехали в отремонтированный после смерти дяди дом, отошедший к нам со всей мебелью, со всей своей оснасткой.

Дом! Какой это был дом! Только в таком просторном доме, где вещи не тяготеют над людьми, где уют – в удобствах без принуждения, только в таком доме могла протекать с таким привольем наша детская жизнь.

Дом был деревянный, стены не оштукатурены, не клеены обоями. Широкие гладкие доски желтоватого цвета, с кружочками, паучками срезанных сучков, с трещинками кое-где, разъединились, соединяясь крепкими жгутами серой пакли. Некрашенный пол, некрашенный потолок. Два раза в год – к Рождеству и Пасхе – дом мылся сверху донизу. И тогда он отдавал особым запахом чисто вымытого просыхающего дерева. Комнат было много, мыть такой домике нелегко. Подрастая, мы начинали мыть сами. Тереть приходилось крепко, шик был в том, чтобы пол не был синеватого цвета, а отливал желтизной.

Я обижалась, когда меня называли барышней, еще в Крюкове, то ли под влиянием демократической литературы, то ли времени.

В Угодке все наши друзья работали по дому, в огороде, в поле. Быть барышнями, белоручками стало совсем невозможно. Да и жизнь заставляла: нашей домработнице не под силу бы справиться со всем хозяйством, тем более что зарплаты родительской, довольно скудной и нередко задерживаемой, по тем временам явно не хватало. Огород, корова, куры, кролики, свинья были необходимостью: без них не прожить.

Снаружи дом был выкрашен в темно-синюю краску с зеленой железной крышей. Парадное крыльцо выводило в просторную переднюю, где висела верхняя одежда. Слева дверь вела в папин кабинет, занятый большим письменным столом, широким кожаным диваном, прямо дверь выводила в столовую. В середине стол, над которым подвесная сначала керосиновая, потом электрическая лампа, желтый солидный буфет.

Бывало, присядешь на корточках, услышав мамино распоряжение накрывать на стол, и быстро-быстро считаешь: мама-папа, я, Лева, Талья – затем следовало перечисление или гостей, или столоующихся сослуживцев, или жильцов, которые тоже не были редкостью у нас, особенно после смерти бабушки (маминой мамы). Стол накрывался по всем правилам: ставились мелкие и глубокие тарелки, клались салфетки в «браслетах», ложки, вилки, ножи. Правда, впоследствии стол демократизировался: исчезли салфетки, не всегда нужны были мелкие тарелки.

Из столовой через застекленную дверь попадаешь на террасу. Зимой эта дверь наглухо запиралась, а летом на террасе в хорошую погоду обедали, пили вечерний чай, даже мы, дети, спали, постелив себе на полу. Терраса не была застеклена, выходила в сосновый «парк», вернее, остаток того леса, где строилась больница.

Летом, бывало, около трех часов мама пошлет кого-нибудь посмотреть, скоро ли папа прием кончит. Летишь, сверкая босыми пятками, к амбулатории и, возвращаясь назад, кричишь: «Одна лошадь осталась!» Это значило, что на привязи стоит единственная лошадка, привезшая последнего пациента, остальные, которых было к 11–12 часам густо, поразъехались, стало быть, прием больных идет к концу.

«Где накрывать, на террасе или в столовой?» – и, получив указание, расставляешь посуду. Обедать, пить чай на террасе – одно удовольствие. Пахнет сосной, вечером – цветами из палисадника перед парадным крыльцом (цветы даже в голодное время не были изгнаны «хлебом насущным» – овощами и картофелем), перекликаются пичуги...

К обеду, к чаю собиралась вся семья. Несмотря на демократические тенденции в нашей семье, наши домработницы обычно ели отдельно, и только позже или время, или иная обстановка отвели им место за столом.

В столовой стоял рояль, который почему-то величали фортепяно. Мне долго казалось, что рояль, пианино, фортепяно – все это разные инструменты. Фортепяно было совсем расстроенное, поставлено кем-то за неимением места в собственном доме. Было оно громоздкое и обладало удивительной способностью собирать на свою крышку разные разности: книги, газеты, журналы, тетради, игрушки. Только приберешь, растолкаешь – глядишь, опять полно. Когда у наших угодских знакомых пропадала книга, говорили: «Надо у Всесвятских на фортепяно посмотреть, не завалилась ли там...»

Из передней дверь направо вела в длинный коридор. Комнаты располагались справа и слева. С правой стороны были очень большая детская и поменьше спальня родителей. Широкие окна этих комнат, летом всегда распахнутые настежь, выходили в палисадник, к липовой аллейке, к дороге с оставшимися на противоположной ее стороне березами большака.

Детская не была обременена мебелью: три наши кровати, большой стол, немного стульев, бегать, прыгать, возиться можно было без опасений что-либо разбить, оцарапать, испортить.

В спальне родителей тоже ничего украшающего не было. У папиной кровати стоял стул, на спинку которого вешал он свой пиджак, рубашку, на сиденье обычно лежали газеты, книги с разрезным белым ножом.

Попробуй прибери – папа будет недоволен. Тут все под рукой, на своих, им установленных местах. Вещи для человека, а не человек для вещей!

Слева двери коридора вели в небольшую комнату, именуемую «зеленой». Когда-то, говорят, там была зеленая мебель и была эта комната как бы гостиной. К нашему приезду оставалось только прилипшее название «зеленая» комната. Сначала была она отдана нашей романовской бабушке и быстро превратилась в своеобразную мастерскую: стояла швейная машинка, ящик с колодками, дратвой, мелкими гвоздями. Прекрасная рукодельница, бабушка в то суровое время не только обшивала нас, но и обувала, научилась делать «модную» тогда обувь на веревочной подошве. Некоторые изделия выменивались на «натуру». После смерти бабушки «зеленая» комната отдавалась жильцам: обычно или кому-либо из больничного персонала, или учителям.

Несколько лет жил в ней учитель физики Александр Федорович, к нему переселился потом подросток брат. И комната стала «физи-

ческим» кабинетом, где учитель и ученик делали опыты, что-то мастерили для школы.

Слева от коридора была большая кухня с плитой и русской печкой, с узкой горенкой для домашней работницы, с черным ходом, выходящим в сосновый парк.

Отапливался огромный дом наш изразцовыми печками, дверцы которых выходили в коридор. Зимой с вечера складывались у печек большие вязанки дров, утром по всему дому шел «веселый треск», а когда дрова сгорали, дверцы печек раскрывались и по золотому углу бегали синеватые огоньки, и в доме попахивало дымком после вынесенных головешек и собранного для самовара угля.

В те годы снабжение дровами больницы шло, как я понимаю, по традициям земства, дрова заготавливали в очередь деревни в радиусе десяти-пятнадцати километров. Вместе с больницей снабжали и наш дом. В топливе, как помнится, недостатка не испытывали. Таким же образом заготавливалось сено для больничных лошадей и коров. Косилось сено и для нашей коровы, а сушили мы его сами.

Хуже было с освещением до постройки электростанции. Керосину часто не было. И хорошо помню мигающий, подслеповатый светильник, состоящий из бутылки с малой долей керосина или масла, вокруг которого за большим столом в столовой собиралась семья.

Готовили в русской печке, и мы вскоре научились орудовать ухватками и кочергой.

Нравы оставались патриархальными в то жестокое время войны и революции. Дом наш далеко не всегда основательно запирался. В селе говорили, что к Всесвятским можно с одного крыльца зайти, в другое выйти, тащи, что хочешь, никого не встретишь, никого не увидишь. Летом окна на ночь раскрывались, влезть извне не представляло особых трудностей. Впрочем, позже, видимо, окна стали на ночь запирают, так как, помню, когда пришло для меня и сестры время первых любовей и ночных прогулок, мы по договору одно из задних окон оставляли незапертым и благополучно проникали через окно в дом, когда уже светало и пастух начинал выгонять коров.

Когда мне было лет четырнадцать, я, склонная к философическому осмыслению жизни, лежала в кровати, у открытого окна в нашей детской комнате, смотрела на загорающиеся в небе звезды, прислушивалась к тишине засыпающего дома, к перестуку колес запоздавшей телеги на большаке и думала: буду ли я когда еще так счастлива, как сейчас, буду ли еще так любима, будет ли мне еще так хорошо?

Была я еще много и по-разному счастлива, было мне по-новому хорошо, но уже по-новому, а не так, как в четырнадцать лет, в нашем прекрасном доме, в нашей семье.



*Угодскозаводская
больница,
построенная
в 1907 году
по проекту врачей
Н. В. Всевятского,
И. Н. Любимова
и проектировщика
В. А. Гашинского*

Угодскозаводская больница была выстроена на славу: с любовью, со знанием дела. На основание ее были истрочены капиталы, доставшиеся в приданое тете, купеческой дочери.

Расположена она была рядом с селом, но в те времена не сливалась с ним, а стояла несколько обособленно. Основные корпуса – госпиталь, родильня, амбулатория – вытянулись вдоль большака и ограждались изгородью. Несколько отступал в глубь больничной территории заразный барак, находившийся за амбулаторией. Подсобные помещения – кухня, прачечная, баня – прятались в глубине. Наш дом тоже входил в больничный «ансамбль», замыкал его с правого угла, если стоять лицом к больнице со стороны большака. Самый большой косяк повыврубленных сосен образовал наш парк, когда-то имевший аллеи, заросшие к нашему приезду, площадку для игр, была деревянная беседка. Невыврубленные сосны и липы остались между больничными зданиями, что придавало больнице уютный вид. Помню веселые летние тропинки, бегущие от здания к зданию среди трав и деревьев.

При нашем доме кроме палисадника перед окнами был большой огород – наше серьезное подспорье в те годы.

Молодая липовая аллея вела от первых ворот больницы, первых от села, к нашему дому, справа от нее и был наш огород, а слева тенистый садик госпиталя.

При больнице было свое хозяйство: лошадь, коровы, огород на так называемых полях орошения. Больница имела водопровод, канализацию.

И все это сложное хозяйство вел сначала дядя Коля, а после его смерти – папа. Он был один-единственный врач на всю больницу, он принимал больных, лечил их в отделениях, делал операции, руководил персоналом и всем натуральным хозяйством больницы. Только

уже перед отъездом в Наро-Фоминск появился второй врач. И средний персонал был невелик: мне запомнились только Варвара Дмитриевна и Мария Николаевна. Первая была старшей сестрой и, как я думаю, серьезной опорой папы: способная фельдшерица, требовательная и строгая, она хорошо дополняла папино более либеральное и демократическое руководство. Мария Николаевна была акушерка. Их небольшие квартирки находились при больничных зданиях.

И вот, несмотря на такую, как мы бы сейчас сказали, «нагрузку», несмотря на то, что, помимо работы в больнице, отец часто выезжал по вызовам и не только днем, но и ночью, несмотря на это, в жизни его была какая-то плавность, размеренность, без той постоянной спешки, суеты, напряженности, какая была в нашей жизни, в жизни наших детей.

Почему так? Мне это кажется или действительно так было? Может, в этом просто характер отца? Может, наш большой и удобный дом, отсутствие постоянных домашних забот, переложенных на плечи нашей домработницы, так как наша мама тоже работала?

А папа был еще большой любитель цветов, да и в огороде охотно занимался. Когда он слег с диагнозом грудной жабы, он так беспокоился, можно ли ему будет возиться с землей, копать, поливать.

Он был очень музыкален, причем творчески музыкален, играл на скрипке, пел, руководил большим хором в Народном доме, сам пытался композировать. Он любил драматическое искусство, им был создан отличный драматический кружок, он был и режиссером, и актером, причем и то и другое выполнял талантливо. Не знаю, много ли он читал. Вероятно, на чтение оставалось не так много времени. Читал, как я помню, медленно, вдумчиво и не понимал маму, которая, по его выражению, «глотала» книги.

Спорт не занимал тогда большого места в жизни интеллигенции. Пожалуй, мы, наше поколение, пристрастились к лыжам, конькам. И когда я с упоением рассказывала папе, будучи уже московской студенткой, о своих лыжных поездках, он задумчиво сказал, что в их жизни этих увлечений не было. Но представить себе папу на лыжах, на коньках очень легко.

Среднего роста, хорошо сложенный, ритмичный в движениях, ежедневно занимавшийся гимнастикой, он, наверно, был бы хорошим лыжником.

Но на это уж действительно времени не было.

Я бы не сказала, что он был педантично организованным человеком, и вообще никакой педантичности ни в чем в нашем доме не бы-

ло. Однако день его имел определенный строй, порядок. Утром после чая у самовара, который иногда он успевал закончить без нас, папа шел, как мы говорили, на утренний обход. Своей неторопливой походкой шел из отделения в отделение, в белом халате, в белой докторской шапочке. Обход длился часа полтора. До начала приема оставался час с небольшим. Этот час папа отдыхал дома, иногда в кабинете за письменным столом, летом чаще в саду или в огороде, склоняясь над клумбами и грядками. А иногда ходил взад-вперед по нашему длинному коридору и... пел. Пел громко, ходил и пел своим мягким, приятным, звучным баритоном... Сейчас поют редко и мало, чаще за столом и за бутылками. А папа пел вот так, отдыхая, для себя, иногда готовясь к выступлению в Народном доме, к спектаклю.

Когда я была в Хабаровске, впервые так далеко оказавшись от родного дома, я часто жадно прислушивалась к пению моего соседа по дому, бухгалтера, у которого был тоже баритон, напоминающий голос папы, который тоже, видимо, любил петь и пел многое из того, что было в папином репертуаре, даже сравнительно редко исполняющаяся баллада А. Рубинштейна на слова Тургенева – «Перед воеводой молча он стоит...».

Иногда в этот короткий час отдыха папа ложился. Это бывало в дни нездоровья (у него был большой кишечник, часто мучивший его). Уже по походке, по сумрачному лицу мы знали, что папа, как у нас говорили, «раскис», «киснет», что он в плохом настроении.

Мой муж, оказавшись в нашем доме (тогда уже в Наро-Фоминске), как-то сказал мне, что нигде он не слышала так часто слово «настроение», как у нас. «Я в плохом настроении», «что-то настроение испортилось», «зачем же другим настроение портить...» А я не замечала, может, и действительно было так...

Прием был длительный, приезжали больные из разных деревень, а докторский кабинет был один. Только часам к трем папа освобождался, и мы, завидев его, мчались домой сообщить, что папа идет, что пора обедать.

За столом собирались всей семьей, даже тогда, когда обеды были скудные. Частенько кто-нибудь из персонала или жильцов столовался (как тогда говорили) у нас. Или заезжие – гости ли, или приехавшие по своим делам учителя, врачи. Бывало, не особенно обрадуешься лишнему человеку за столом, когда и самим не хватает, когда вопрос по скольку был основным еще.

Папа сидел за столом в большом уютном кожаном кресле. В ожидании обеда просматривал газету. Как-то, помню, мы, ребята, устроили демонстрацию: сидим уже все за столом, миска с супом дымится, а родители наши уткнулись в газеты. Мы мигнули друг другу, взя-

ли каждый кто книгу, кто журнал и сделали вид, что углублены в чтение. Тишина наступила до того абсолютная, что даже маме, умевшей до полного отсутствия погружаться в книгу, она показалась подозрительной. Взглянув поверх газеты, она увидела обложки книг вместо наших лукавых физиономий, поняла и рассмеялась, ну и мы во весь голос, довольные своей выдумкой.

Вероятно, было это уже тогда, когда наши бедные желудки не были столь голодны и могли подождать.

Конец 1960-х годов

На этом воспоминания Нины Всесвятской, к сожалению, заканчиваются. Для рассказа об Угодском Заводе мы помещаем записки ее дяди Павла Васильевича Всесвятского и сестры Натальи Всесвятской.

П. В. Всесвятский (1877–1959) по образованию был экономистом. В начале 1930-х его дважды арестовывали как сына священника, но каждый раз вскоре освобождали благодаря хлопотам его жены – Натальи Константиновны Беляевой (1887–1970), очень известного фтизиатра, одним из пациентов которой был председатель ОГПУ В. Менжинский.

Дядя Паша и тетя Наташа (так мы их называли) были людьми высокой культуры и бесконечной доброты. И очень красивые – и в молодости, и в преклонном возрасте. Две их комнаты в коммунальной квартире на Сретенке мы с любовью называли «штабом Всесвятских». К ним приходили и за советом, и за помощью, а когда у кого-то возникала острая необходимость – и временно поселиться. У них находили приют даже пациенты тети Наташи, приезжавшие издалека к ней на консультацию.

Писатель и журналист Анна Давыдовна Миркина, главная помощница в подготовке «Воспоминаний и размышлений» Г. К. Жукова, в детстве жила на одной площадке с дядей Пашей и тетей Наташей. На страницах своей книги «Вторая победа маршала Жукова»* она вспоминает «замечательных людей, истинно русских интеллигентов, добрых и бесконечно отзывчивых Павла Васильевича и его жену, врача-фтизиатра, милую, скромную Наталью Константиновну». При встрече с нами Анна Давыдовна назвала себя духовной дочерью Павла Васильевича. Так еще раз пересеклись – на книжных страницах – имена Всесвятских и Г. К. Жукова.

Очерк Павла Васильевича написан для краеведов Угодского Завода, поэтому стиль его несколько суховат, но мы считаем его рассказ о старшем брате, об истории строительства до сих пор работающей больницы,



Наш «семейный штаб»: Павел Васильевич Всесвятский и Наталья Константиновна Беляева. 1956 год

* Миркина А. Вторая победа маршала Жукова. Москва; Воробьево, 2000–2001.

о смерти Николая Васильевича, выполнявшего свой профессиональный долг во время эпидемии тифа, очень ценным и достоверным свидетельством.

Младшая сестра мамы Наталья Всесвятская (1911–1993) написала свои воспоминания по нашей просьбе, они хорошо дополняют мамины. Тетя Таля всю жизнь работала в системе Госбанка СССР, последние восемнадцать лет до выхода на пенсию – в Правлении Госбанка, что на Неглинной.

Человек невероятной жертвенности, наша тетушка жила для других – родных, друзей, воспитывала племянников, в том числе детей ее репрессированной сестры, вплоть до возвращения ее из мест заключения.

Павел Всесвятский

К 50-летию со дня открытия угодскозаводской больницы

8 февраля 1957 года исполнилось 50 лет со дня открытия угодскозаводской больницы Калужской области.

На Всероссийской гигиенической выставке в 1913 году, проходившей в Петербурге, эта больница по своей планировке, устройству и оборудованию была признана образцовой участковой земской больницей. На странице 206 отчета по устройству выставки мы читаем, что строитель угодскозаводской больницы Н. В. Всесвятский, доктор, награждается почетным дипломом «За содействие изображению на выставке в наглядной модели образцовой Земской участковой лечебницы и за труды по созданию выдающейся по своему благоустройству участковой лечебницы в с. Угодском».

Спроектирована была больница врачом Николаем Васильевичем Всесвятским при помощи его дяди – врача Московского губ. земства Ивана Николаевича Любимова (работавшего в крюковской больнице. – *Сост.*) и приглашенного на стройку «вечного студента» Высшего технического училища, который потом был известен как проектировщик и строитель московских школ.

Угодскозаводская больница была построена и полностью оборудована на средства жены Н. В. Всесвятского – Ольги Петровны.

Ольга Петровна была дочерью купца П. И. Санина (родом из Боровска). Имени его находилось около Угодского Завода. Большая семья Саниных летом встречалась с семьей священника В. П. Всесвятского. Его старший сын Николай, тогда студент Медицинского факультета Киевского университета, и Ольга полюбили друг друга. Надо сказать, что оба они обладали очень хорошими голосами (баритон и сопрано) и, конечно, много пели. После окончания универ-

ситета Николай сделал официальное предложение Ольге. Предложение Н. В. как человека без средств было отвергнуто отцом Ольги. И раньше ей было запрещено встречаться с Н. В., а теперь она, что называется, была заперта на замок. И все-таки О. П. сумела воспользоваться суматохой в доме в связи со свадьбой брата и бежала без всяких вещей, в чем была, к Николаю.

Но в 1903 году заболевает отец Ольги Петровны и умирает. Вскоре умирает и мать. О. П. стала нежданно-негаданно богатой наследницей.

Больницу строили сами – без сдачи подрядчикам – Н. В. Всесвятский и В. А. Гашинский приблизительно 10 месяцев.

Весь день с раннего утра и до вечера оба проводили на стройке – потому-то она и получилась такой качественной. Н. В. только отлучался несколько раз в неделю на фельдшерский пункт на прием больных, который он вел бесплатно.

Перед открытием больницы председатель Уездной земской управы А. Н. Писарев с членами Управы, членами Санитарного совета, представителями сел и деревень и медперсоналом обошли все корпуса и помещения больницы, тщательно осмотрели оборудование, ознакомились с системой водоснабжения, канализации, полями орошения и составили акт о бесплатной передаче больницы в ведение Малоярославецкого уездного земства.

После открытия больницы для всех приглашенных был дан обед в помещении просторной амбулатории. На следующий день начался прием больных. Началась и большая работа Николая Васильевича как врача и общественного деятеля. Он читал лекции по медицине и санитарии, активно участвовал в устройстве общедоступных концертов, спектаклей и т.д.

В 1914 году Н. В. отдает свою квартиру под госпиталь для раненых в Первой мировой войне, а сам переезжает жить в комнату фельдшерской квартиры.

В 1918–1919 годах, как известно, в нашей стране распространилась эпидемия сыпного тифа. Николай Васильевич в свою квартиру переселяет часть медперсонала, а в их помещении развертывает дополнительные койки для тифозных. Когда в больнице прошло уже более 200 тифозных больных и эпидемия тифа стала стихать, Н. В. сам заразился тифом. Выяснилось, что нервная система у него очень расшатана, проболел он около двух недель и 5 июля 1919 года под утро умер на 46-м году жизни. Когда пишущий эти воспоминания подходил к больнице, на лужайке во дворе больницы сидели жители деревни Стрелковка В. И. Жигачев и И. Г. Меньшов. Они грустно-грустно, со слезами на глазах говорили мне: «Как же это так, нас с плохими, больными сердцами вылечил, а сам умер?»

Один
из сохранившихся
корпусов больницы,
литовая аллея.
2005 год



В 1941 году отступающие немецкие фашистские войска взорвали больницу. В настоящее время из всех ее бывших корпусов два каменных здания – амбулатория и госпиталь – восстановлены, госпиталь расширен.

Январь–февраль 1957 года

Наталья Всесвятская Мои родители



Наталья
Всесвятская.
1970-е годы

Мой отец Валентин Васильевич Всесвятский в 1905 году познакомился с Елизаветой Осиповной Успенской, слушательницей Петроградской высшей женской медицинской школы, и вскоре женился на ней. Он учился в Юрьеве и только на последнем курсе смог объединиться с женой. 11 сентября 1907 года у них родилась старшая дочь Нина. После окончания учебы семья переехала в одну из деревень Черниговской губернии – первое место работы молодых специалистов. 3 марта 1910 года родился сын Лева (в Угодском Заводе). В 1910–1912 годах семья жила в городе Тарутине, где родители работали в земской больнице. Главным врачом ее был отец будущего артиста Театра Вахтангова Михаила Сидоркина. 15 сентября 1911 года родилась я. В 1913 году по приглашению своего дяди Ивана Николаевича Любимова отец с семьей переехал в подмосковный город Крюково, где дядя был главным врачом больницы. Отсюда отца забрали на фронт. В 1915 году он попал в плен.

Очень хорошо помню возвращение папы из плена. Кто-то постучал в парадную дверь. Мне тогда было семь лет. Отца я не помнила, но сразу поняла, что это он, и закричала: «Папа приехал!» А сама спряталась под кровать.

В 1919 году пришло известие о трагической смерти брата папы, Николая Васильевича Всесвятского. Вскоре отец поехал принимать Угодскозаводскую больницу. Так судьба привела нас в Угодский Завод – на родину отца, где долгие годы служил священником его отец Василий Павлович Всесвятский и еще жила его жена и наша бабушка Александра Николаевна.

Отец очень долго работал в больнице один, мама была санитарным врачом района. Он был универсальным специалистом, обладал даже даром гипноза. Этим методом он лечил алкоголиков, добываясь ремиссии на несколько месяцев. Но затем они вновь появлялись и просили доктора: «Левантин Васильич, клади опять на лечение». К работе отец относился очень ответственно, всегда переживал за тяжелобольных, часто ночью их проводывал. Однажды я с подругой 1 апреля решила его обмануть и сказала, что его вызывали к тяжелому больному. Он отругал нас, что не сказали вовремя, и побежал в больницу. Ну и досталось же нам за такую «первоапрельскую шутку»! Больница пользовалась у населения большим авторитетом, больных приходило и приезжало много, приемы длились до пяти-шести часов. Выезжал отец и в соседние деревни, для чего в больнице держали лошадь по кличке Шепот.

При больнице было большое хозяйство – огород, кормивший больных свежими овощами, баня, прачечная. Отцу как администратору приходилось заниматься и этими вопросами.

В нашей семье также было хозяйство – корова, поросята, куры, кролики, конечно, огород и очень хороший цветник. Отец очень любил цветы и растил их с большим умением и любовью.

Больница и в уезде, и в области была на хорошем счету. Может быть, поэтому в 1924 или 1925 году в Угодку заехал американец. Он очень тщательно знакомился с работой больницы. Был и у нас дома. Разговорчивый (хорошо говорил по-русски), приветливый, он очень всем понравился, и все с нетерпением ждали его отклика о работе больницы. Он очень хорошо отзывался о лечении, обслуживании больных, о самой больнице. Но при этом с удивлением отметил, что дети главного врача ходят босиком, по-видимому, увязывая это с материальным обеспечением семьи. И родители, и мы, дети, очень смеялись по этому поводу. Мы, действительно, с ранней весны и до самой осени ходили босиком, как все деревенские дети. Частично это объяснялось и недостатком обуви, которую носили только по вечерам и на праздники. В тяжелые годы ходили и в лаптях, которые искусно плел кто-то из папиных пациентов. О неважной материальной стороне можно было судить и по тому, что продукты нам выдавали по порциям и когда мы садились за стол, то всегда спрашивали – «что и по сколько».

Кроме врачебной работы родители занимались и большой просветительской деятельностью и долгие вечера (иногда за полночь) проводили в Народном доме. Там читались лекции, учили грамоте (в этом принимали участие и мы, дети), но на главном месте были хоровая и драматический кружки. Валентин Васильевич был и режиссером, и дирижером. Хор был большой – человек пятьдесят – многоголосый. Были и солисты, среди них и сам Валентин Васильевич. Исполняли и народные песни, и хоры из опер. Часто давали концерты и в Угодке, и в соседних деревнях, выезжали в Малоярославец, Калугу и даже Москву, в Дом крестьянина на Трубной площади, где собиралось наше землячество.

На концерты часто приезжал Теодор Станиславович Шацкий, основатель и директор детской колонии в Обнинске. Он и его жена Валентина Николаевна окончили консерваторию. Валентина Николаевна была хорошей пианисткой, а Теодор Станиславович стал впоследствии директором консерватории.

С этой семьей отец очень дружил, Шацкие часто приезжали к нам, они были веселые, добрые, мы тоже их очень любили. Валентина Николаевна, кроме того, два-три раза в месяц давала в нашей школе уроки ритмической гимнастики, для нас это было большим удовольствием. У Шацкого был необыкновенно красивый голос, он пел и народные песни, и арии из опер.

Драмкружок состоял из любителей самого разного возраста, в основном из жителей Угодки, большая часть их пела в хоре. Это дало возможность ставить музыкальные спектакли – с песнями, плясками. Неудивительно, что в такой самодеятельности активно участвовали и ученики нашей девятилетней школы.

Вещи ставились очень серьезные – «Майская ночь», «Боярин Орша», «На дне», «Мещане», «Бедность не порок», «Лес» и другие. К некоторым спектаклям отец сам сочинял музыку. Так, для хора русалок в «Майской ночи» моя старшая сестра Нина сочинила слова, а отец положил их на музыку. К «Боярину Орше» он написал арию монашки, которую исполнял Миша Сидоркин, певший тогда дискантом.

Со спектаклями выезжали в Белоусово, Малоярославец, Калугу. Интересно, что летом спектакли ставились не в Народном доме, а в сарае, который был специально для этого построен Николаем Васильевичем, с прекрасной сценой, большим залом на двести с лишним мест, то есть более вместительным, чем в Народном доме. Потолок был высоким (точнее – крыша сарая), поэтому акустика была прекрасной – слышно с последних рядов было так же, как с первых. Я не помню случая, чтобы зал во время представлений не был заполнен. К сожалению, после войны этот замечательный «театр-сарай» не сохранился.

В Угодском Заводе в ту пору жил и работал еще один удивительный человек – Иван Алексеевич Молоканов, инженер. Вместе с Валентином Васильевичем, с которым они были большими друзьями, он активно участвовал в культурно-просветительской работе в Народном доме. Но главной его заслугой было строительство электростанции и завода по переработке картофеля.

Появление в селе электричества (примерно в 1923–1924 гг.) позволило проводить мероприятия в вечернее время. Даже мы, школьники, смогли вечерами заниматься с неграмотными жителями Угодки и близлежащих деревень. А самое главное – в село пришло кино. Часто приезжала передвижка, и зал каждый раз был переполнен так, что нам, ребятам, приходилось пристраиваться на полу и на окнах. Благодаря электричеству в селе появились молотилки, но еще большая часть населения молотила рожь цепями.

В ту пору в Угодке гостиницы или дома для приезжих не было, и наши гостеприимные родители давали возможность жить в нашем доме всем, кто в этом нуждался. У нас постоянно жили школьники из отдаленных деревень примерно нашего возраста, с которыми мы дружили и проводили интересно время. У нас часто останавливались командированные в волость из уезда и губернии. Насколько мне известно, за проживание никто никакой платы не брал. Народ к нам приезжал разный – и интересный, и малокультурный, но нам это пошло на пользу. Мы к этому привыкли и ко всем были одинаковы. Был такой случай – недалеко от больницы по дороге в деревню Ступино в лесу обнаружили труп застреленного вора-профессионала. Это была его последняя попытка ограбить проезжего. Следователь по этому делу остановился у нас и показал нам куртку убитого. Что это была за куртка! Сплошные потайные карманы для ключей, ножей, отверток и других воровских инструментов. Мы, конечно, рассматривали все это с большим интересом, а отец над нами подшучивал. Ни отец, ни мать никогда нас не ругали за общение с взрослыми «дядями».

Вот эта черта характера родителей – «помоги чем можешь людям» – выработалась и в наших характерах. Мы никогда не боялись приезда друзей и их друзей, для всех находилось место и приветливость. Надо сказать, что эта черта передалась и внукам отца.

Но... пришел 1928-й, за ним 1929 год, и все изменилось. Что явилось причиной резкого изменения отношения к отцу со стороны волостной власти, которой он так во всем помогал, сказать трудно. Может быть, общее обострение в стране, коллективизация, репрессии и другие антисоциалистические проявления власти Сталина. Но, возможно, авторитет Валентина Васильевича в волости мешал спокойно спать власть имущим. В те годы в Угодке уже проходило массовое



*Священнослужители
угодскозаводской
церкви.
Второй справа –
Никифор Николаевич
Ремизов*

раскулачивание, остались пострадавшие семьи, был репрессирован секретарь РК комсомола Петр Кокорин, высланы в Сибирь вместе с женой и маленьким сыном всеми уважаемый священник Никифор Николаевич Ремизов и многие другие. Никифор Николаевич умер в ссылке, его жена с сыном вернулись к одной из дочерей – Елене – в Боровск. Жена кончила жизнь самоубийством, сын Николай умер в психиатрической больнице (насколько мне известно, в городе Егорьевске Московской области), пробыв там более двадцати лет.

В больницу стали присылать комиссию за комиссией разного ранга, придирались ко всему, только бы найти, в чем обвинить главного врача. Отец в эти годы стал неузнаваем, хотя в работе – и в общественной, и профессиональной – ничего не изменилось. Папины глаза, всегда веселые и добрые, потускнели, под глазами появились темные круги, отец заметно похудел. Мы тогда уже были взрослые, все понимали.

Такую жизнь продолжать больше было нельзя, и в 1931 году отец уехал работать в больницу в Наро-Фоминск. Маму тут же выселили из дома, и она с детьми и домработницей тетей Ганей до устройства отца жила на квартире у знакомых. Так прожили они целый год, пока отец проходил специализацию по педиатрии.

Прежде чем начать описывать жизнь родителей в Наро-Фоминске, хочу более подробно рассказать, какие они были в жизни.

И Валентин Васильевич, и Елизавета Осиповна были общительными, любили веселье, танцы, музыку (отец неплохо играл на скрипке), оба отличались хорошим чувством юмора и в то же время очень ответственно и с любовью относились к своей работе.

Отец никогда не использовал хорошее отношение к нему пациентов в личных целях, не брал никаких подношений, хотя в трудные годы нужда была, но все добывалось своим трудом, покупалось за деньги.

Думаю, что этим объяснялось исключительно хорошее отношение к нему жителей всей округи, не говоря уже о пациентах.

Нас, детей, родители воспитывали своеобразно. Постоянно занятые работой в больнице и Народном доме, они мало уделяли нам внимания, но приучали к труду на огороде, в небольшом хозяйстве (корова, куры, поросенок) и в доме. Дом был большой, деревянный, из пяти комнат, без всяких обоев, и два раза в год мы мыли все стены, а полы, конечно, чаще. Так мы привыкали к самостоятельности и ответственности за все, что делали. Хотя родители были врачами, они не приучали нас чересчур прислушиваться к своему здоровью. На наши жалобы отец чаще всего отвечал: «Не обращай внимания, пройдет, если будешь правильно себя вести». Он и со своими больными, если не находил ничего серьезного, часто пользовался внушением, и все симптомы проходили без особого лечения. Возможно, отец обладал даром гипноза, но сказывалась, конечно, и большая вера в доктора.

Полученное нами почти спартанское воспитание помогло нам в нашей нелегкой жизни в дальнейшем. Все мы стойко переносили трудности, а к болезням относились без паники, старались всячески помочь лечащим врачам.

Время показало, что память о наших родителях в народе хранится до сих пор. Помню, во время войны я была командирована с моей сослуживицей и подругой Еленой Куприной в Угодский Завод, чтобы помочь восстановить работу местного отделения Госбанка. В Москве жили голодно, у нас были дети, и мы захватили кое-какие вещи в надежде обменять их на картошку или рожь. В свободный от работы день пошли мы с Еленой по деревням. Начали со Ступинки, и каково же было мое удивление, когда хозяйка первого же дома, в который мы вошли, воскликнула: «Никак Валентина Васильевича дочка пришла!» Пришли и другие женщины, и начались воспоминания и расспросы. Папы тогда уже не было в живых. То же случилось и в Стрелковке. В доме, почти в землянке, встретились мы с одной из страданий Г. К. Жукова. Она тоже узнала меня, рассказала о своих страданиях во время войны, вместе с ней мы вспомнили и отца, и Николая Васильевича, его семью. С помощью этих женщин нам удалось кое-что обменять – дали нам картошку, свеклу, даже рожь. Возвратившись в Угодку к моей школьной подруге, у которой мы остановились, мы все грустно посмеялись над тем, что получили милостью имени врача Всесвятского. Большое им спасибо.



В этом здании в 1940 годах работал врач-педиатр В. В. Всесвятский. Наро-Фоминск, 2004 год

В 1931 году мы окончательно переехали в Наро-Фоминск, где отцу предоставили в доме врачей по улице Коминтерна две комнаты в коммунальной квартире. Отец работал заведующим педиатрическим отделением и одновременно инфекционистом. Мама некоторое время работала врачом здравпункта текстильной фабрики, а затем – в райздравотделе.

Валентин Васильевич быстро завоевал авторитет у населения города, особенно у родителей тех детей, которых лечил. Он очень любил детей, был добр к ним, и все детишки звали его дедушкой. Однажды в эту больницу положили его внучку Инну, заболевшую скарлатиной. Вместе с другими ребятами она весело встречала доктора криком: «Деда пришел, дедя!»

Жизнь в Наро-Фоминске первые годы проходила спокойно. Родители ожили, отец пел в больничном хоре, читал лекции в фабричном клубе, мама вела санпросветработу. Коллектив больницы был очень дружный. Первый год родители жили без нас, детей, так как мы разбежались по разным городам. Первой вернулась я, когда меня перевели в Наро-Фоминское отделение Госбанка, где я работала до 1935 года.

В 1933 году некоторое время с нами жила старшая сестра Нина, вернувшаяся из Хабаровска и родившая в Наро-Фоминске дочь Алину.

В эти годы в доме было очень хорошо и дружно. Отец часто играл на скрипке, мы пели вместе с ним, мама читала стихи, особенно хорошо получались у нее юмористические и сатирические стихи и рассказы. Отец развел небольшой цветник.

Вскоре Нина уехала в Москву к мужу, я в 1935 году – в город Люберцы. В 1936 году вернулся из Узбекистана брат Лев, где он проводил землеустроительные работы и заболел малярией. По выздоровлении работал в райземотделе. Брат быстро освоился в городе и, имея склонность к актерству, принимал активное участие в драмкружке клуба.



Лев Всесвятский с женой Лизой Максимовой, близкой подругой его сестры Наташи

Мы часто собирались в наро-фоминском доме, привозя с собой друзей, потом и детей, по выходным дням, в отпуске. Во время этих сборов пели, танцевали, отец, большой любитель танцев, старательно учился модным в те годы танцам – танго, чарльстону.

Родители также навещали нас, так что связь была постоянной. Нужно сказать, что отец был очень влюбчив и каждый раз считал, что это серьезно. Один роман действительно был серьезным. Еще в Крюково отец влюбился в фельдшерницу Марию Александровну Зарину, 18 октября 1914 года у них родилась дочь Ира. Мария Александровна была очень мягким симпатичным человеком, всю жизнь она любила отца и с большим уважением и тактом относилась к Елизавете Осиповне. Та, в свою очередь, сумела сохранить высоту отношений с мужем и даже принять в свою семью и Марию Александровну, и Иру. Обе часто бывали и жили у нас, мы, дети, воспринимали Марию Александровну как близкую родственницу, а Иру – как родную сестру. Эти родственные отношения продолжились и в следующих поколениях – между внуками и правнуками Валентина Васильевича. И к последующим романам отца мама относилась философски, спасали и врожденный юмор, и, главное, большая дружба между всеми нами. Когда отец влюблялся, мы были к маме особенно внимательны, но почему-то наше отношение к отцу не менялось, не смотря ни на что.

Но наступил 1937 год. Вначале был арестован муж Нины Ким Чер Сан. Мы жили в страшном напряжении, знали, что наша беда не кончилась арестом Черсана (так мы его звали на русский лад).

У сестры было двое маленьких детей – Аля четырех лет и годовалый Юлик. И вот в марте 1938 года Нину арестовали как члена семьи врага народа. Впоследствии, в 1953 году, когда началась массовая реабилитация, следователь МГБ сказал мне (я была вызвана вместо Нины, жившей в Туркмении), что в деле Кима Чер Сана были его имя, национальность и решение об аресте как врага народа. И все.

После ареста Нины дети сразу же были развезены в детские дома. На наше счастье, работник НКВД, приехавший за детьми, предложил девушке, работавшей у сестры, ехать с ними, чтобы запомнить адре-



Лева в роли Митрофанушки на сцене наро-фоминского клуба



Сводные сестры Наталья и Ирина Всесвятские. 1931 год

са детприемников. Мама, узнав об аресте дочери, заболела, отец поехал в Москву один и вернулся мрачнее тучи, постаревший. На другой день мы с ним поехали искать детей. Юлика нам показали в окно роддома, он громко плакал. Алю в детдоме нашли не сразу, так как среди тысячи фотографий помещенных туда детей ее не оказалось. Только при повторном посещении детдома отцу разрешили пройти по его коридорам, и Аля его узнала и окликнула.

Чтобы взять детей домой в Наро-Фоминск, нужно было оформить опекуны, которое, поманежив, разрешили наконец районные власти. Так внуки оказались у дедушки и бабушки. Но с этого момента здоровье родителей резко ухудшилось, у отца началась стенокардия. Однажды он ехал к нам в Люберцы, и из-за тяжелого приступа стенокардии его сняли с поезда и поместили в больницу.

От Нины долго не было вестей. Отец писал письма в НКВД, Сталину, нанимал адвокатов, но все было напрасно. Родители продолжали работать, все им сочувствовали, во всем шли навстречу.

Первое письмо от Нины пришло в конце 1938 года. В 1939 году отцу разрешили ее навестить в лагере под Сегежей. Эта поездка окончательно сразила отца. Он увидел бараки, выход на работу и приход с работы под конвоем женщин, преимущественно интеллигентных, оторванных от детей и дома ни за что ни про что – все это потрясло отца. В июне 1940 года на шестьдесят первом году жизни он умер от инсульта.

Хоронили отца не только родственники и сослуживцы, но, можно сказать, весь город. Пока он лежал дома, дверь не закрывалась, люди шли и шли проститься с ним. Через весь город его пронесли на руках.

Отца не стало, и мама осталась одна с домработницей тетей Ганей, которая ухаживала за детьми. Мама не переставала работать, хотя ей было почти семьдесят лет. Я к ним ездила почти каждое воскресенье, старалась в какой-то степени заменить детям родителей. Началась война. Буквально накануне прихода немцев в Наро мне удалось вывезти в Люберцы маму с детьми и тетей Ганей с последним эшелонном для раненых.

Жили мы в Люберцах (точнее, в Ухтомском поселке) в одной комнате в девятьером, позже дали вторую. Мама жила только одной надеждой дожидаться возвращения дочери и сохранить детей. Нина вернулась летом 1945 года и вместе с мамой и детьми поселилась за 101-м километром от Москвы в Малоярославце при школе, где ее приняли на работу учителем. Через два года мама скончалась от инсульта на семьдесят четвертом году жизни.

Октябрь 1992 года

Алина Ким Мой дед

В Наро-Фоминске я жила с 1938 года (после ареста родителей) до первых бомбардировок города летом 1941 года.

Своего деда Валу я помню довольно хорошо, особенно его игру на скрипке и пение арий и романсов (у него был приятный баритон) дома или в наро-фоминском клубе. Помню свое детское сопереживание деду, когда певица, которой он аккомпанировал, обращаясь к нему, пела: «Нет, не люблю я вас да и любить не стану!» Я тогда еще не подозревала об «обманах коварных его глаз». Дед и в пожилом возрасте был красив и обаятелен, и наша няня Гаяя позже рассказала нам, что водила Юлика в тот же детский сад, куда приводили и внебрачного сына деда Вали – дядю его внука!

Бабушка, конечно, страдала от этого, в сохранившемся у нас ее дневнике есть такая запись: «Сегодня я опять подхвачена волной, угнетающей мою душу... мой муж уехал к любимой им женщине...» На нескольких страницах – описание боли и муки, причиняемых изменой любимого мужа, рассуждения о духовном и физическом в любви между мужчиной и женщиной.

И, наверное, во время похорон Валентина Васильевича не только наша бабушка и признанная ею практически второй его женой Мария Александровна Зарина оплакивали умершего как близкого человека...

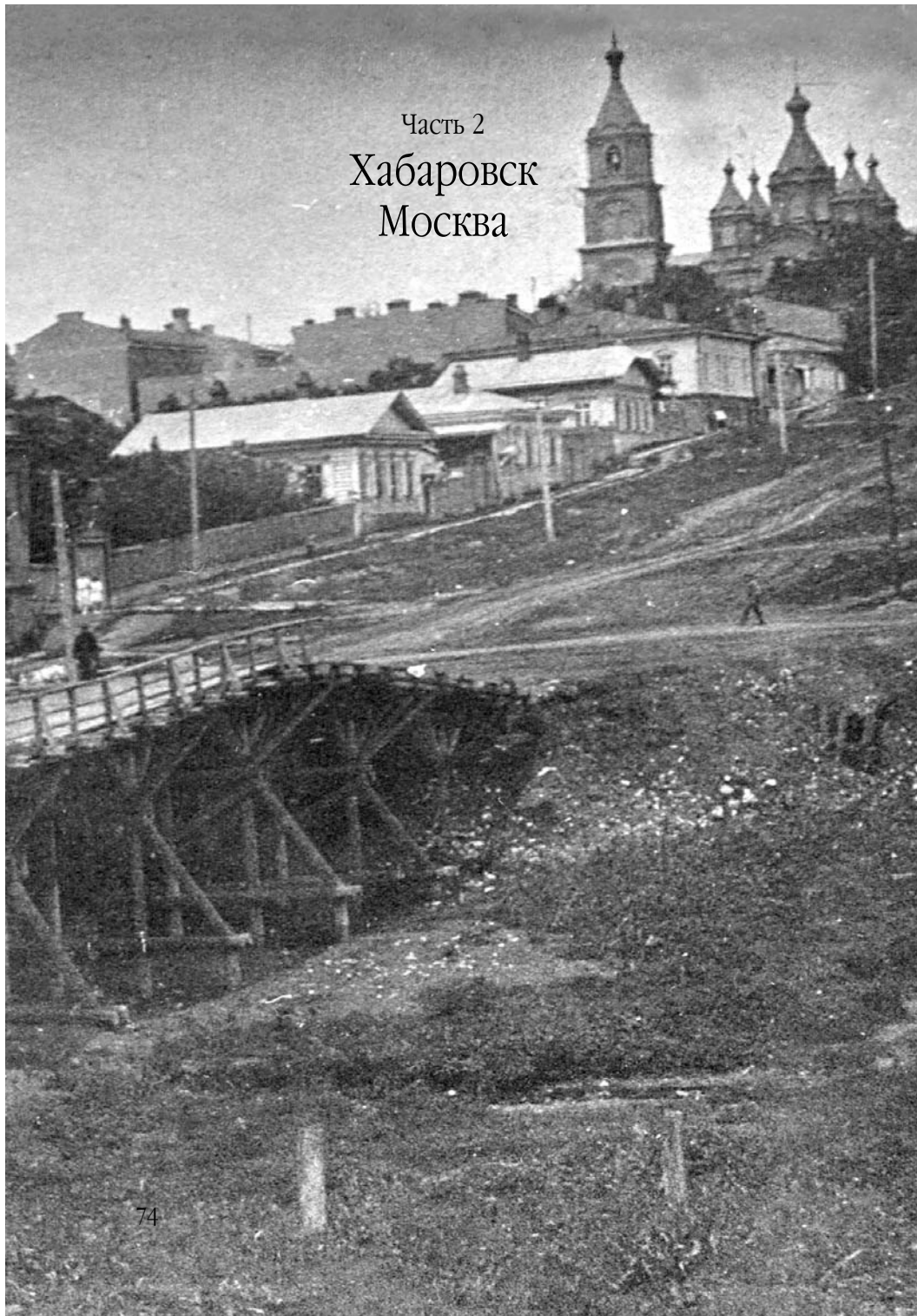
Прощаться с Валентином Васильевичем пришел весь город. Помню, кто-то, с трудом протискиваясь сквозь толпящихся в коридоре, внес меня на руках в комнату, где стоял гроб. Возле него сидели плачущая бабушка и много родственников. Как мне позже объяснили, они пели песню, сочиненную дедом на слова мамы, на смерть угодскозаводского учителя.

Похоронная процессия, растянувшаяся по улицам города, мне, ребенку, напомнила майскую демонстрацию. Так Наро-Фоминск провожал замечательного врача и яркого человека.



Некрологи от разных организаций Наро-Фоминска

Часть 2
Хабаровск
Москва



Нина Всевятская продолжила педагогическую линию своих родственников – деда Василия Павловича, бабушки по материнской линии Александры Михайловны Успенской, двоюродной бабушки Прасковьи Николаевны Любимовой. В 1930 году мама закончила Московский педагогический институт им. А. С. Бубнова (с 1941 года – им. В. И. Ленина, с 1990 года – МПГУ).

По рассказам мамы, кроме занятий науками, большое место в жизни студентов занимало участие в театральных представлениях типа модной тогда «Синей блузы». Конечно, Нина была одной из звезд студенческого театра. В институте все – от гардеробщиц до преподавателей – так и называли ее «артисткой». В конце 1960-х в институте состоялась встреча выпускников маминго поколения. Немного собралось их «под сводами лестниц». Один из пришедших взволнованным голосом спросил у мамы: «Я слышал, должна прийти Нинка Всевятская, это правда?» Бывшая этуаль печально призналась, что это она и есть.*

После окончания вуза Нина, как большой романтик дальних странствий, распределилась в Хабаровск. На это смелое решение в немалой степени повлияла и ее неудавшаяся любовь к студенту Косте Старковскому, скрывшему от нее, что он женат.

В 1974 году одна из близких маминых подруг, Аня Освенская, приехав проводить маму в последний путь, передала нам пачку маминых писем к ней – шесть из Хабаровска, одно из Наро-Фоминска.

Приводим эти письма с небольшими кутюрами.



Студенты 2-го курса педфака 2-го МГУ, 1927 год. В центре – Нина Всевятская, за ее спиной Костя Старковский

Нина Всевятская
Письма подруге

Хабаровск, 19/X-30 г.
Анчутка! Анча! Педагогиче мой дорогой! Улыбнись прежде всего. Улыбнись по поводу того, что ты, наконец, попала в сферу письменной досягаемости. Разве важно, что нас разделяют сотни верст? Разве важно, что ты в Ульяновске, я в Хабаровске, Зин-Зин на Амурской флотилии, Розка под Новосибирском? Жду очень, очень подробной повести твоей жизни, настроений, деяний и окружения, словом, всего, всего...

Ты, вероятно, чуть тоже в курсе наших дел. Да, друже! «Все в жизни перемененно» и т. д., и моя методическая литература упокоилась под столом. Я изменила своей профессии. Из педагога-литератора – в издателя, журналиста, методиста 1-й ступени, словом, в секретари

* «Синяя блуза» – популярный в 1923 – начале 1930-х годов агитационный эстрадный театр, основанный Б. С. Южаниным. Артисты были одеты в рабочую синюю блузу. Исполнялись частушки, песни на злободневные темы. Театр выступал в городских и сельских клубах.



редакции журнала-учебника «Красный маяк». Всяко бывает! Заседаю ежедневно с 9 до 4 в издательской части «Книжного дела», имею стол, чернильницу, ручку и интеллигентную физиономию старого опытного издателя книг. Сижу и издаю, сижу и издаю. Впрочем, не только сижу, но и бегаю. Бегаю за авторами, ловлю их в столовках, на улицах, в магазинах. Ловлю и требую, прошу, умоляю о статьях в журнал «Красный маяк». Ловлю членов редколлегии и тащу их на собрание. Ловлю художников и сдираю с них иллюстрацию. Бегаю в типографию и нажимаю на кнопки ускорения выпуска журнала...

Обязанности мои многосторонни и разнообразны. Цель ясна и проста – один раз в два месяца выпустить журнал – учебник для 3-й и 4-й групп ступени.

Попала я на сей «Красный маяк», и закружилась у меня голова, но не от успехов, а наоборот. Ничего не понимаю и не знаю, за что и как браться. Потом освоилась и теперь с небольшими «но» чувствую себя дома.

Началась работа с того, что надо было ознакомиться с программами 1-й ступени, потом составить план журнала, потом бегать по Хабаровску и искать авторов. Сразу попала в самые разные места, начиная от краевого музея и кончая Дальлесом. Потом начали поступать материалы. И материалы все непригодные. И вот я и мой хабаровский шеф Соня Хейфиц садимся и творим. О Сахалине, и о китайских генералах, и об изобретателях телефона, и об обороне страны, и о коммунах, колхозах и т.д., и т.д. Теперь материал в типографии. Веду подготовительную работу к 3-му номеру.

Вот, Анча, чем я занимаюсь. Прощай, Пушкины, Гоголи, Ваньки Чехова, тетради и ошибки! Я издатель, и никаких гвоздей!

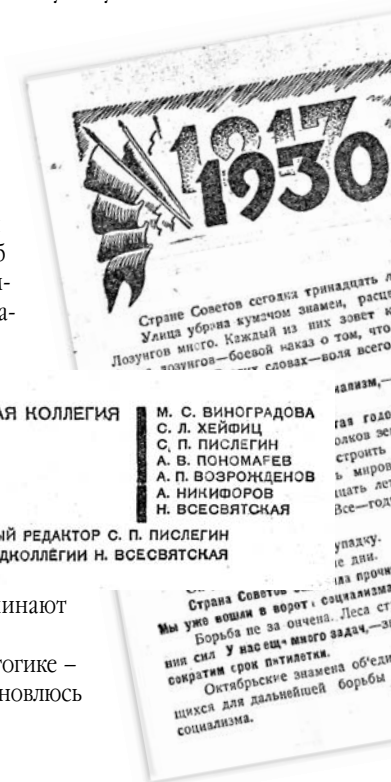
Живу теперь в собственной комнате. Имею чудесную постель без матраца, стол без стульев, дымную атмосферу и жидкое лепестричество.

На столе улыбаются ваши физиономии и напоминают о далекой Москве и о недалеком прошлом...

Да, кроме журнала, у меня еще есть малая дань педагогике – курсы по подготовке в техникум. Раз в пятидневку я становлюсь педагогом и вспоминаю свое истинное «я».

Целую мою сестренку в обе щеки.
Нинка.

Журнал
«Красный маяк».
1930 год



РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

- М. С. ВИНОГРАДОВА
- С. Л. ХЕЙФИЦ
- С. П. ПИСЛЕГИН
- А. В. ПОНОМАГЕВ
- А. П. ВОЗРОЖДЕНОВ
- А. НИКИФОРОВ
- Н. ВСЕСВЯТСКАЯ

ОТВЕТСТВЕННЫЙ РЕДАКТОР С. П. ПИСЛЕГИН
СЕКРЕТАРЬ РЕДКОЛЛЕГИИ Н. ВСЕСВЯТСКАЯ

Страна Советов
Мы уже вошли в ворота социализма
Борьба не за очена. Леса стг
ниа сил У нас ещ много задач,—за
сократим срок пятилетки.
Октябрьские знамена объедини
щилиа для дальнейшей борьбы
социализма.



*Нина Всесвятская
в Хабаровске –
секретарь редакции
журнала-учебника
«Красный маяк».
1930 год*

24/XI-30 г. Хабаровск.

Анька! Что это значит? Отправила тебе послание очень длинное и вот уже больше месяца жду ответа, а его все нет... А здорово хочется получить именно от тебя весточку. Хочется увидеть славное личико моей Аньки, ее замечательную улыбку, послушать ее ворчание...

Сегодня я выходная. Но по привычке приперлась в свою издательскую часть. Надо писать о встречном Промфинплане на Дальзаводе, а на меня сегодня напал червячок воспоминаний, и встречный Промфинплан не идет навстречу.

Сажу за своим бюрократическим столом. Я уже к нему привыкла, и он не производит на меня такого грустного впечатления, как в начале работы. Мое окружение – чисто нацменовское. Рядом работают мои ученики-корейцы. Занимаюсь с ними по русскому языку. Чудно преподавать родной язык как иностранный! Обучаю их правильному произношению и вспоминаю курсы немецкого языка. Никак не дается звук Ш и Ж, заставляю их шипеть до боли в глотке.

Трещат машинки в соседней комнате. На моем столе разложены газеты и журналы и красуется мой новорожденный «Красный маячок» № 2.

Я привыкла к своей неожиданной должности, но еще не совсем свободно в ней плаваю.

*Хабаровск,
1920-е годы*



Работать, Анька, оказывается, не умею как следует. Сказывается во всем неумение создавать систему и додумывать до конца.

Сейчас в муках творчества рождается третий номер. Опять нет авторов и приходится выжимать из себя. Добиваюсь четкости и свежести языка хотя бы на 25%. А это очень нелегкая штука! Заезженные образы, заезженные слова и шаблоны засорили мозги и язык.

Бывают моменты, когда руки опускаются и кажется, что напрасно тратишь время. Но зато каждое маленькое достижение очень радует. Хочу, чтобы в № 3 был язык возможно более безукоризненный. Часто возьмешь переделывать чужую статью, а вместо этого напишешь заново. А ведь это тоже не дело!

Недавно ездила на 11 дней в командировку. Шагала по сопкам ДВК, была в коммунах, три дня жила во Владивостоке... Интересный город! Очень живописно расположен около бухты «Золотой Рог». Была на Дальзаводе, самом большом заводе в нашем крае. Сейчас выкладываю свои впечатления на бумаге.

Дни бегут быстро. Незаметно и в то же время так заметно укатились три месяца с момента отъезда из Москвы. Москва кажется такой бесконечно далекой...

Завела себе приятеля – корейца Кима Черсана. Будьте знакомы. Дядя отменный. Да, кажется, я тебе о нем писала. С ним хожу в Хабаровский театр. Смотрели недавно «Чудака», устраивали субботники по утеплению моей фатеры. Водрузила печку-железку, купила дров. Теперь тепло и приятно. Нина – хозяйка! Комедия в одном действии. Собираюсь кататься на коньках и на лыжах. Снег выпал. Зима вовсю!

Крепко целую сестренку и жду письма.

Нинка.

9/I-31 г. Хабаровск.

У, Анча, как мне хочется тебя видеть, черт возьми!

Дорогой мой педагогиче!

Если бы ты видела, как расплылась физиономия серьезнейшего секретаря редакции, как высоко он подпрыгнул на стуле, как подпрыгнули вместе с ним все его ручки, карандаши, чернильницы, папки, газеты, журналы, как яростно завизжал он, заглушая стук машинок, как вытянулись от удивления физиономии всех окружающих, как всполошились они и повисовывались из всех дверей, стремясь прибегать к экстренным мерам воздействия на внезапно помешавшуюся! Если бы ты все это видела и знала, что причина – две физиономии, выглянувшие так внезапно из конверта, то ты, вероятно, преодолела свою лень, глубоко раскаялась и немедленно написала бы длиннейшее письмо...



*Ким Чер Сан –
перводчик
в крайоно, ОГИЗе,
Далькоммузе.
Хабаровск, 1930 год*

Вот уже и 31-й год, Анька! Кончился знаменитый 30-й год. Кажется, для всех нас он будет хорошей школой.

Время летит быстро, быстро. Морозы стоят лютые. Я уже поплатилась щекой и ухом. Небо ясное. Солнце дует во все лопатки, люди бегают рысачками, закрывая нос и щеки. В углу моей каморы стоят лыжи, но ехать в такой мороз я не рискую. Сейчас надо заняться Некрасовым. Подготовиться к курсам. Подкручу этот хвост и вздохну облегченно.

В работу свою вошла довольно крепко. Мой второй сын, Маяк № 3, родился в серьезных и ударных муках... Чудно, Анька! Так неожиданно я попала в делатели книги! Теперь хорошо знаю весь процесс работы над книгой. Процесс очень занимательный. На днях выйдет мой запоздавший «Маяк». Начала работать над следующим номером. Уже чувствуется некоторый навык, но все же здорово спотыкаюсь. Больше всего не хватает знания школы и, главное, его первой ступени.

Вероятно, вскоре сделаю вылазку в район. Намечаю пока корейский район, ибо мне необходимо собрать интернациональный материал. Наступит весна – тогда постранствую по ДВК. Это тоже большой плюс моей работы.

Порою, Анька, бывает здорово тоскливо. Круг знакомств очень ограниченный. Близко сдружилась только с Кимом Черсаном, о кот, кажется, тебе писала, больше и все.

Знаешь, Анька, я прямо с вуза да на чистку попала. Наше «Книжное дело» достукалось до досрочной чистки. Занятная это штука. Прошел перед глазами весь аппарат и людшки со всеми их жизненными хвостами. Пощупали и меня, но никто не выругал, никто и не похвалил. Чистой я начала 31-й год.

Теперь чистка наконец кончилась. Уже есть следствия. Перебрасывают одного работника. Сейчас, очевидно, идет обсуждение в партийных кругах.

Анька! А знаешь, я иногда здорово теперь чувствую беспартийную оторванность. А ты? Помнишь, мы говорили о работе, о недоверии и прочем. Это – буза. Особенно здесь, где так нужны люди, нет остроты в отношении к беспартийным. Но чувствуешь сама, что ты не в центре жизни. Вот! Ну, пока, дорогая сестренка! Пиши же, друже, не ленись. Спасибо за фото!

Нинка.

19/1-31 г.

Привет тебе, моя дорогая сестреночка!

Наконец-то дождалась от ленивой Аньки письма. Правда, письмо грустное. Анча моя развинтилась. Неврастения в 22 года – это ни к черту!

Анька! Лечись немедленно. Отдыхай не раздумывая. Без рефлексов и оглядываний.

Получила письмо от Розки. Она себе неизменна. Такое бодрое, такое энергичное и взбудораженное письмо! Розка – активист. Увлекается строительством социализма. (Написала, и пришло в голову, что Анька улыбается и постукивает пальцами по столу – помнишь жест моего скепсиса? Но, Анька, написала от души и без всякой задней мысли.)

Розка в дохе путешествует в буран по селам. Чувство ответственности в душе, романтика в глазах, Короленко в воспоминаниях.

Как хорошо я ее представляю, Розочку!.. Розкино письмо я прочитала с некоторой завистью. У меня нет такого ощущения полной полноты жизни. Закрутки, понимаешь, закрутки на высший градус не чувствую.



Студентки педагогического факультета 2-го Московского университета (слева направо): Ира Житкова, Зина Юдушкина, Роза Гельфанд, Аня Освенская, Нина Всесвятская

Но сумею наладиться, обязательно. Самоанализ и самокопание еще живы.

Мои соскучились. Чувствую, что им тяжело, хочется видеть свое чадо, но быть только год на ДВК и не видеть ничего дальше Хабаровска – тоже не хочется. Тянет на Камчатку, на Сахалин, к черту на кулички...

Поднялось вокруг «Маяка» общественное мнение. Получаю анкеты по изучению «Маяка» педагогами. Пользуются им прилично по ДВК, но и кроют еще здорово. Завязала переписку с авторами из педагогических недр. Летят первые ласточки от деткоров. Интересного много в этой работе, но беда в том, что руководства никакого, а ответственность громадная. Подумаешь, что ведаешь делом, на которое

тратятся громадные средства, работает столько людей, тратится дорогая бумага, а, главное, его читают, по нему учатся столько ребятишек, и страшно становится, очень страшно.

Отпущусь, вероятно, в июле. А далеко еще!

Целую Аньку. И жму лапки.

Нинча.

9/III-31 г.

Дорогая моя, славная девочка!

Если бы ты знала, как хочется с тобой поболтать...

Сегодня я выходная. Целый день пробегала, подкручивая всевозможные хвосты. Я ведь «культурорганизатор» по нашему коллективу, но надо отдать справедливость, что делаю очень мало. Вот сегодня и подчищала хвостики. Проверяла, как готовится наш ОГИЗ к весеннему севу, бегала по типографиям и потом пришла домой в шесть часов и легла с намерением чуть вздремнуть. Просыпаюсь, а уже совсем темно. За стеной вечерний шум и разговоры. Зашел Черсан, и отправились слушать экзотическую певицу – негритянку Арле-Тиц. Приятно было слушать музыку. Давно уже не слыхала. Вообще же театр посещаю исправно.

Последнее время чего-то закисла. То ли действует наступающая весна, то ли еще что, только вдруг таким ситчиком в полоску, полинялым и бесцветным, потянулись дни. Стала анализировать и копаться и решила, что заболела нехорошей болезнью усега и лени.

«Маяк» больше не захватывает полностью, и работаю над ним сейчас лениво. О «Маяке» получила приличный отзыв из центра, немного воодушевил, и все же, Анча, чего-то не хватает в работе... На-

Хабаровск,
кинотеатр
«Гигант».
1932 год



ступил, очевидно, период, когда работа стала привычным, шаблонным делом. Я знаю, это период, после которого наступит опять волна подъема, когда Нина скажет:

Человек сам себе награда,

Если только умеет жить...

Знаешь, Анча, я сейчас часто вспоминаю свои впечатления от первого года университета. Есть что-то общее. Общее в неуверенности, в ощущении себя еще перваком в жизненной учебе. Правда, этот «первак» уже попрос за эти годы, но все же еще и на людей часто смотрю снизу вверх.

Будущее пока туманно. Назревает намерение с «Маяком», т.е. с журнальной работой, временно распрощаться...

10/III-31 г.

Доброе утро, Анька! И такое чудесное весеннее утро! Солнышко потеплело, тает. В моей шубе и ушанке уже жарко. Захотелось еще поболтать с Анькой. Правда, она еще валяется в постели. Ведь нас солнце приветствует и поднимает раньше, чем вас. Пишу контрабандой, урывая рабочие часы. Сейчас начну бегать по городу, Крайпланы, Дальлесы, Дальрыбы и прочие «Дали». Ищу авторов на следующий номер. В каких только учреждениях не приходилось бывать, с какими только людьми не сталкивалась. Делаю умильные глаза, верчу хвостом и вербу authors. Как-никак, а сорок человек писали в мой журнал.

В редакции тихо... Солнце бросает лучи через окно прямо на мой стол. И у меня опять начинают внутри петь веселые струнки.

Чего унывать, Анча? Правда?

Ведь жизнь еще так велика, широка, интересна и разнообразна. Надо только внутри себя найти большое содержание – это главное...

Всего, моя дорогая сестренка.

Нинка.

24/VI-1934 г. Наро-Фоминск.

Дорогая сестреночка Анча!

Бежишь этак рысцой по Москве, взглянешь на Гоголевский бульвар, вздохнешь печально и побежишь дальше. Нет больше Гоголевского, 17. Нельзя мимосоком заглянуть туда, посмотреть в лирические очи Анчи, потрепать пухлую Алешку, излиться, влиться и катить назад.

Как качаешься, Анча, «по морям-волнам» житейским?...

Ты мне напишешь, Анча, обязательно, хотя бы пару очень коротеньких строчек, чтобы я знала, что Анька не сердится на меня и за то, что не смогла выпроводить тебя из Москвы, и за то, что только теперь собралась написать. Буду ждать.

У меня все тихо, мирно, «дочка, дачка, вода и гладь». Живу в Наре у своих. С утра до вечера делаю «неприделанное дело», т.е. одеваю, переодеваю, варю. Кормлю, замываю, стираю, гуляю, играю, укладываю спать, а там «на колу висит мочало, начинаю опять сначала».

Мозги плесневеют и разлениваются, стала дикой, разучилась разговаривать с людьми. Единственное утешение – дочь растет хорошо. Она здесь всем нравится. «Удивительно» загорела, глаза чернущие, сверкает двумя зубами (все еще только два!), но ходить еще не умеет, ковыляет, держась за руки, и то плохо. Говорит ма-мма, па-па, ба-ба и еще что-то, но слова к людям не прикрепляет. Характер спокойный, созерцательный. Я ее зову: Флегма восточная. Каждый вопрос (шашки ли это, бабкины карты, трава, цветы, куры) прорабатывает глубоко и сосредоточенно.

Жизнь разнообразится путешествиями в Москву за продуктами и к Черсану. Черсан в санатории, в Сокольниках. Дела его идут хорошо. Борьба с Кохом протекает успешно.

Осенью – в Москву. Начинаю поиски работы. Скверное дело, когда надо искать работу. Лучше бы, если бы работа меня искала. Что год грядущий мне готовит? Черт его ведает! Вероятно, опять школу, неграмотные тетрадки и все прелести и скверности школьной жизни. Одно ясно – довольно метаться, надо чего-нибудь из себя делать...

Привет горячий всем славным Освенским, если они меня еще не забыли.

Нинка.

Таковы письма молодого специалиста и молодой матери. Из них следует, что Нина Всесвятская ни на Сахалин, ни на Камчатку не поехала, а вышла замуж за Кима Черсана, с которым и вернулась в Москву. Надо сказать, что и в «центр жизни» путем вступления в партию тоже так и не попала.

Черсан поступил в ГИГИС на режиссерский факультет, мама – учителем в Троице-Лыковскую школу Куницевского района. Об этом периоде в памяти сохранился единственный рассказанный мамой эпизод

о том, как в эту школу приезжала сестра В. И. Ленина Мария Ильинична, чтобы заступиться за бывшую учительницу детей Ульяновых, которую в чем-то ущемляли. Ей очень понравилась полукорейская девочка, она называла ее Черсаночкой и любила держать на руках. Считается, что все на земле через пятое лицо знакомы друг с другом. Наша семья через одного человека

«познакомилась» тогда со всей сохранившейся, но уже обреченной на гибель «ленинской гвардией».

Еще от того периода сохранилась краткая, но содержательная характеристика молодой учительницы.

«Дана преподавателю русского языка и литературы Всесвятской Нине Валентиновне в том, что она проработала в Троице-Лыковской н/с школе три года (1932–33 1934–35 г. включит.). Относилась к делу серьезно, методически хорошо подготовлена. Руководила драмкружком. Постановки и живая газета пользовались большим вниманием местного населения. Истекший учебный год заведовала шк. библиотекой (как обществ. нагрузка).

2/VII-35 г. Директор И. Богданов».

Видимо, в связи с получением квартиры в доме 13 по Капельскому переулку семья переехала в Москву, а мама поступила на работу в 172-ю школу.

У отца обнаружился туберкулез легких, время от времени он лечился без участия Натальи Константиновны Беляевой, жены Павла Васильевича Всесвятского.

23/XII-36 г. родился сын Юлик, его назвали именем без буквы «р», так как мама грассировала.

В семейном архиве обнаружилось два листочка маминых воспоминаний без начала и конца. Судя по содержанию, они были написаны о предарестном периоде жизни семьи.

Светло-сиреневое платье из модного крепдешина. Не хватало к нему туфель.

У Черсана – новый черный костюм.

И дети наши одеты нарядно. Не роскошно, нет, но вполне прилично.

У Аленки бежевое платье, шерстяное, с кокеткой. Так идет к ее смуглому румянцу, черной челочке и глазкам-смородинкам.

Купили Юлику его первую шубку, в которой он еще тонет.

Аленька, просыпаясь по утрам, раскрывает свои звездочки, обнимает нас за шею и говорит: «Я вас люблю».

Первое слово Юлика - дай. Нет чтобы НА, а именно ДАЙ!

А вид такой кроткий, большоголовый, родничок еще не зарос,



Москва.
Капельский переулок,
дом 13

Черсан и Нина
в Москве. 1932 год





Нина с дочерью Алей.
Москва, 1936 год

глаза широко расставлены, носик пуговицей и очень изящный ротик. «Какой наш Юлик молодой», – говорит Аля, глядя на вымытого братика в рубашке-распашонке, стоящего в кровати.

Да. «Жить стало лучше и веселей!» Разве нет? У нас свои проблемы. И такие хорошие, такие благородные проблемы!

У меня – как совместить школу и дом?

Пожалуй, одна из жгучих проблем тех лет. Наших проблем, женских проблем. Я преподаю русский язык и литературу в школе № 172 Свердловского района. Школа-новостройка. После

сельской школы (хотя ей тоже отдано немало вдохновенного труда!) это школа-дворец. После переезда в Москву я попала туда, когда была беременной Юликом.

И сразу увлеклась своими классами: пятым и седьмым.

И беременность не мешала.

В школе шутили – родите вы у нас под партой. Водила ребят по музеям, ставила пьесы, Юлик терпел, мать – учительница. Дите родилось, декретный кончился, вернулась в школу тонкой, стройной.

Еще радостней отдалась работе. Решилась взять старший – восьмой – класс. История литературы хоть школьная, но история. Знаниями не блистала, готовилась к урокам много и с большим увлечением. К своим «открытиям» приобщала учащихся в полной уверенности, что и для них они столь же ценны.

С методом «комплексов» и «бригад» расстались. Увлекались уроками-лекциями. Занимательными рассказами о литературе.

В школе вместе со мной работает моя закадычная подруга институтских лет – Зина Юдушкина. Умница, талантливый учитель. Можем провожать друг друга, возвращаясь из школы, долго-долго. А дома двое маленьких детей. Я еще кормящая мать.

Бедный Юлик! Он страдал больше всех. Пора кормиться, ребенок кричит и требует еды, а мать задержалась, опять задержалась и летит бегом домой, смущенная, полная угрызениями совести. Черсан смотрит беспощадно: сердито и укоризненно...

Черсан тоже бедный. Он последние два года работал дома. Переводил с русского на корейский, редактировал работы товарищей. Все домашние беспорядки сваливались на его голову.

А жена – вот – опаздывает, она учительница, никак не может решить проблему – как совместить дом со школой, которая требует тебя всерьез!

У Черсана тоже проблема. Он приехал из Хабаровска учиться в театральном институте. Он с юности увлекался драматическими кружками. Сам пробовал писать пьесы. Переводил стихи и пьесы с русского. Его командировали, как тогда было принято, учиться театральному делу. Он мечтал создавать на Дальнем Востоке новый корейский театр. Ему хотелось поехать в Германию учиться у Брехта. Но все сложилось иначе. В Москве ему надо было подрабатывать. Он стал брать переводы в корейской секции Издательства иностранных рабочих. В секции не хватало квалифицированных переводчиков. Черсан, собственно, был самоучкой. Он не кончал специальных учебных заведений, но владел хорошо русским и корейским языками. Его стали уговаривать перейти в издательство, временно оставить Театральный институт. А тут несчастье – он заболел туберкулезом. И в этот же год родилась Аля. Надо было прилично питаться, лечиться. И он перешел. Была даже договоренность с Фурмановой, которая была тогда директором института, о том, что он сможет снова вернуться в институт через год. Но прошло уже три года, родился сын. Мечта о возвращении в институт откладывалась.

Работа переводчика его тяготила. Ему казалось, что вечно переводить на другой язык чужие мысли – это смерть для творчества самостоятельного, это убийство своих мыслей, своих способностей творить.

Черсан тосковал...»

26 ноября 1937 года отец был арестован. В марте 1938-го пришли за мамой. После недолгого пребывания в детприемнике дети воспитывались у бабушки Вали, бабушки Лизы и няни Гани в Наро-Фоминске.



Наро-Фоминск,
1939 год

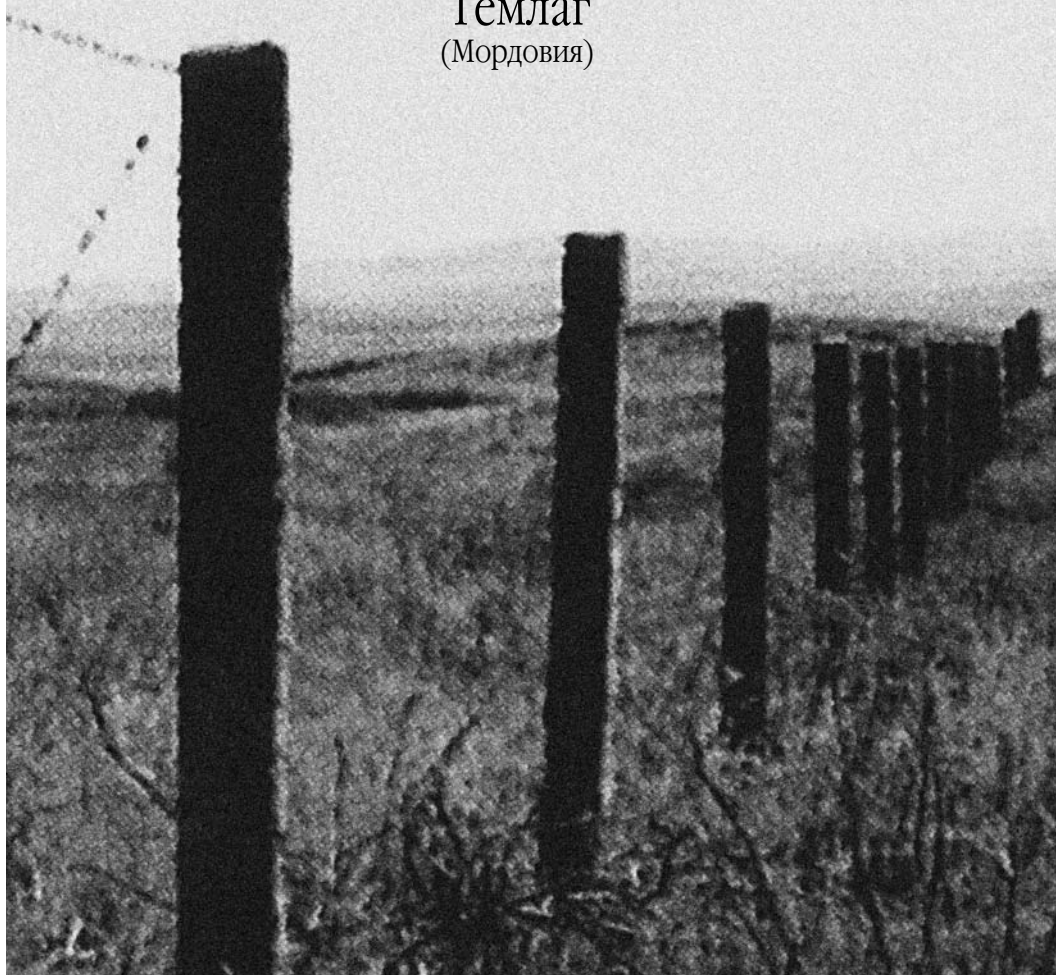
Часть 3
Гулаговские маршруты

Темлаг
(Мордовия)

Сегежлаг
(Карелия)

Карлаг
(Северный Казахстан)

Темлаг
(Мордовия)



Фанни Григорьевна Кривицкая прошла гулаговские маршруты вместе с Ниной Всесвятской почти от начала до конца. При аресте ей было 26 лет. В лагере подруг называли «сестрами-близнецами» – так много было у них общего. Мы познакомились и подружились с этим обаятельным талантливым человеком в конце 60-х, когда она стала появляться в Москве у друзей, а позже окончательно переселилась к дочери Елене, врачу-педиатру. В конце 1970-х в Казахстане, уже после смерти нашей мамы, составлялся сборник воспоминаний узников Карлага. Мы попросили Фанни Григорьевну написать о лагерях. Сборник не состоялся, а воспоминания, названные автором «Пути-дороги», хранились в нашем архиве. Они восполняют то, о чем мама не успела ни рассказать толком, ни тем более написать.

Фанни Григорьевна была поэтом и музыкантом, что пригодилось ей после освобождения, когда она успешно работала преподавателем в музыкальных школах Акмолинска и Караганды.

Скончалась Фанни Григорьевна в 1989 году от тяжелой болезни.

Фанни Кривицкая
Пути-дороги

Мне уже много лет, и временами я кажусь себе старым засыхающим деревом, у которого давно облетели листья и веточки. И это вся улетевшая крона – мои близкие и любимые друзья, с которыми сроднила вся наша нелегкая жизнь. Корни мои еще крепко держатся в земле, и, пока я могу, мне хочется рассказать о пережитом, ибо мало уже на земле тех, кто вместе со мной прошел весь наш крестный путь.

За пятьдесят лет многое стерлось в памяти, вероятно, не все правильно запомнилось хронологически, но основное, что пройдено, – оно навсегда со мной.

Много написано о тех страшных годах, о тюрьмах и лагерях сталинских времен.

Но каждая жизнь – это своя особая история страданий и надежд. И пусть хоть частица нашей судьбы останется в памяти младшего поколения.

Пятьдесят лет назад, в конце февраля 1938 года арестовали моего мужа Абрама Давидовича Браиловского.



Фанни Кривицкая с мужем Абрамом Давидовичем Браиловским. 1935 год. Через 3 года Абрам Давыдович будет расстрелян, а Фанни отправят в лагерь

Браиловский был уроженец Кременчуга и жил там. Но постоянные набеги атаманских банд – то зеленых, то синих, то еще каких-то (и все они одинаково провозглашали «бей жидов и комиссаров») – заставили в 1924 году группу молодежи уехать из тех мест.

Браиловский, двадцатилетний парень, уехал тоже. Он выбрал Ближний Восток, то есть города Хайфу, Яффу, Иерусалим. Там он вступил в коммунистическую партию и задался целью помирить между собой арабов и воинствующих иудеев. Работал в подполье. А затем попал в английскую тюрьму. Как он рассказывал мне тогда, это была ужасная тюрьма, с пытками, с голодом и голодовками. Думаю, что если в 1938 году в своей «родной» советской тюрьме он успел до казни вспомнить условия «английской отсидки», то оценки его, вероятно, резко изменились...

В Советский Союз Браиловский попал в 1930 году при обмене политических заключенных. Он стал работать на заводе АМО (теперь имени Лихачева). Там же работала и я. Мы познакомились и вскоре поженились.

В 1932 году ЦК Союза автотракторной промышленности командировал нас на пуск Челябинского тракторного завода. Меня направили в культсектор завкома завода, а муж пошел работать в цех завода шлифовщиком.

Но вскоре начались крупные неприятности.

Зав. культсектором Дмитрий Бакулин, с которым мы очень дружили, был объявлен сыном кулака, исключен из партии и снят с работы.

От Браиловского потребовали, чтобы он заклеил Бакулина. Но Браиловский заявил на партийном собрании, что Бакулин «сжег мосты», за отца не отвечает и заслуживает доверия как большевик.

В результате Браиловского тут же исключили из партии, а меня вслед за ним – из комсомола, и мы вернулись в Москву искать справедливости. Надо сказать, что большую помощь и защиту нам всегда оказывал мой дядя, брат отца, старый большевик-каторжанин профессор-экономист Матвей Миронович Кривицкий. Он работал в «Известиях» одним из редакторов, одно время вместе с Бухариным и Радеком. С ним, видимо, в то время еще считались в тех партийных кругах, которые могли воздействовать на нашу судьбу. В результате вмешательства Матвея Мироновича в партии восстановили мужа, и он снова пошел работать на завод. А со мной Матвей Миронович отправился к Сольцу.* Сольц производил суровое впечатление и, когда я рассказала обо всем происшедшем, стал ругать тех «десятелей», которые исключили меня из комсомола. Все это произвело странное и немного смешное впечатление – ведь перед ним стояла я, а не мои

комсомольские «вожди». Но восстановили в комсомоле и меня, и я стала работать на Авиамоторном заводе в редакции многотиражки «Авиамотор».

В 1934 году я поступила в Литературный институт им. Горького (тогда ВРЛУ), и от института мне даже удалось быть на одном из заседаний I съезда писателей.

А в 1937 году на Браиловского вновь посыпались неприятности по разным поводам. В результате в 1938 году его исключили из партии и в феврале арестовали. Реабилитировали посмертно в 1957 году.

Моя мама и я ходили по всем тюремным очередям, чтобы хоть что-то узнать о нем. Но никаких сведений получить мы не могли нигде. Родные и знакомые сторонились нас. В институте я ничего не сказала, но еще с начала года взяла академический отпуск, так как понимала, что меня оттуда все равно выгонят.

А через месяц пришли за мной. Весь этот месяц я была как в бреду. Я не звонила даже Матвею Кривицкому, боялась его подвести. А как оказалось потом, он был арестован за день до моего ареста. Позже он был уничтожен, а реабилитирован в 1956 году.

Мама говорила мне: «Уезжай из Москвы! Берут жен арестованных». Я устраивала ей истерики и кричала, что у нас в Советском Союзе такого быть не может! Он ведь не виноват, он скоро придет!

За мной пришли 31 марта. Сначала они не поверили, что это я – жена, которую нужно арестовать, такой девчонкой я выглядела. Но все выяснили, сделали обыск, как и при аресте мужа, все перевернули в доме, приказали одеваться. Я мужественно простилась с родными, с плачущей мамой, сестрой, отцом, уверяя, что скоро приду домой. Но мрачная фантастика прочно смешалась с действительностью и перевернула всю жизнь, все представления о добре и зле.

Традиционный по тем временам «воронок» доставил меня в Бутырки. После унижительных досмотров, после споротых застежек и булавок я была сопровождена в камеру.

Это была большая комната с нарами. Тускло светила запыленная лампочка. Плотнo друг к другу лежали на нарах женщины. Лица их мне показались добрыми и скорбными. Когда я вошла, все поднялись, и многие стали плакать, старались обнять меня и спрашивали: «Что, теперь уже и детей берут?» Я с глупой гордостью отвечала: «Я жена», – не зная еще страшной формулировки, что жена – это ЧСИР – член семьи изменника Родине. Да, это относилось ко мне: отныне я была ЧСИР.

Меня поместили на нарах рядом с молодой женщиной. Звали ее Надежда Григорьевна Каминская. Она была в безутешной горе. Муж ее, нарком здравоохранения РСФСР Г. Н. Каминский, как недавно она

* Арон Александрович Сольц (1872–1945) – известный партийный функционер.

узнала, имел другую семью, а она, Надежда Каминская (кстати, однофамилица своего мужа), им обманутая, отвечала за него как жена. Дома она оставила маленьких детей. И все это терзало ее непрестанно.

В Бутырках я пробыла месяц. В этой камере были только жены. Лишь один раз вызвал меня к себе следователь (как позже я узнала, мой однофамилец Кривицкий). Я спросила, за что арестован мой муж. Он сказал, что Браиловский был английский шпион. Я возмутилась и сказала, что как-то давно в нашей газете (возможно, в «Известиях») я прочитала заметку об аресте (не помню – в Хайфе или Яффе) «известного коммуниста Браиловского». Следователь ответил, что это была провокация. Мне он обещал, что вскоре я уйду домой и смогу сдавать экзамены в институте. Он врал как мог. Меня увели в камеру подавленную – ничего доброго я не ждала. А в конце апреля многих из нас вызвали, мне дали прочитать постановление, что как ЧСИР я приговорена к пяти годам исправительно-трудовых лагерей.

Все это я помню как в тумане, все было похоже на бред. За что? Почему пять лет, а не пятьдесят пять? Все казалось дико, как в страшном сне.

ПОТЬМА: «Я-ВАС!»

Но, увы! – это был совсем не сон. Наша лагерная эпопея началась. В пульмановских эжовских вагонах с зарешеченными окнами нас повезли. Куда – мы не знали. Все же в этих закрытых движущихся клетках женщины находили какие-то дырочки, куда бросали записочки в надежде, что добрые люди подберут и доставят по адресу. Не обошлось и без казусов: на остановках, которых было бесчисленное множество, женщин под конвоем выводили за кипятком. И случилось, что потерялись две женщины. Они заблудились, а конвой как-то и не заметил. И вот со слезами пришли две эти «беглянки» в дорожный отдел милиции с просьбой, чтобы их скорее арестовали и отправили в нужный им «родной» вагон, что и было немедленно сделано и послужило поводом для шуток над ними и над нашими бедными напуганными головами. Ведь не случайно, открывая дверь тюремной камеры, многие женщины вздыхали с облегчением: «Наконец-то!»

И нам легко это было понять. Чувство изолированности на воле, неопределенность в дальнейшем и безмерное горе по арестованным мужьям – мы-то знали, что они ни в чем не виноваты, – и нам хотелось разделить с ними их участь: казалось, что, может быть, им будет легче оттого, что и мы арестованы. Но легче никому не было, а мно-

гих мужей наших за это время уже успели казнить. Мы об этом и не подозревали.

И вот наши вагоны доставлены куда-то и поставлены в тупик. Нас выгружают. Станция с угрожающим названием «Явас». Это Мордовия, потьминские лагеря.

Если бы Бог придумал создать благодатный уголок для отдыха и счастья человека, ничего лучше потьминских лесов он не придумал бы. Первобытная лесная чаща, упоительный чистый воздух, а на поляне за этой благодатью – высокие столбы со смотровыми вышками для охраны и колочая проволока, окружившая несколько барачков, где нам предстояла жизнь в заточении, в неведении, в постоянной тоске и тревоге за своих оставшихся на воле близких. Да и на воле ли они?

Нас расформировали в бригады, мы обслуживали свой же лагпункт. Женщины разных специальностей – литераторы, музыканты, педагоги – организовывались в бригады вышивальщиц и швей.

Работали добросовестно, как привыкли всю жизнь на воле. Многие из нас раньше не умели и иголку в руках держать, а теперь выпускали чудесные изделия – вышитые платья и мужские рубашки, которые отправлялись в лучшие магазины столицы. На этом пункте мы прожили около года. Летом там было терпимо. И голод не так чувствовался. А осенью и зимой пришлось очень туго: одежда наша изнашивалась, разваливалась наша еще домашняя обувь.

Зимой вышивальный и швейный цеха закрыли. У нас организовалась бригада по подноске воды. В нашу бригаду подобрались удивительные люди. Бригадиром нашим была московская учительница литературы Всесвятская Нина Валентиновна, или, как мы ее называли, просто Нина. Худенькая, коротко подстриженная, она казалась несколько аскетической и суровой. Но светлые глаза ее излучали такую ясность ума и, я бы сказала, озорство, что все мы невольно потянулись к ней. Она оставила дома двух маленьких детей и постоянно тосковала о них, но она никогда не ныла, время от времени сочиняла озорные стихи и как-то подбадривала всех нас. Так, например, очень точно она придумала стишки о нашем лагере:

Знаю я одно прелестное местечко –
Три барака, два сортира, одна речка –

далее не запомнилось.

Мы с удовольствием напевали этот опереточный мотив.

Нина сидела за мужа – корейца Черсана Кима. Он был переводчиком с русского языка на корейский в издательстве «Иностранский рабочий». Как и большинство корейцев, проживающих в СССР, в 1937 го-

ду был репрессирован по обвинению в шпионаже для Японии. В 1956 году реабилитирован посмертно.

Нина рассказывала комические эпизоды о его затруднениях в русском языке. Как-то несколько дней он ходил озабоченный, рылся в словарях и вздыхал. Нина спросила его: «Что у тебя не получается, Черсан?»

– Да вот, никак не могу найти перевод слова «бознать».

С помощью Нины затруднение было исчерпано. Это оказалось заурядным выражением «бог знает».

Наши взгляды и характеры с Ниной так совпали, что мы стали называться «близнецами» и прошли вместе трудный путь всех лагерей.

Наша Нина была нелегким бригадиром. Она посылала свою бригаду работать в самые трудные условия, первая возглавляя бригаду в работе, как бы испытывая и себя, и всех нас.

Большим другом Нины была и член нашей «водоносной» бригады Клара Борисовна Корецкая, родственница Михаила Кольцова. Совершенно седая женщина с живыми умными глазами, крупный специалист в педагогике, она просто презирала трудности лагерной жизни. Лицо и руки ее огрубели от холода и тяжелой работы, ходила она в каких-то немислимых опорках (как и все мы), но делала это с таким достоинством, что мы звали ее Маркиза или Клэр (светлая). С нами же была и Надежда Михайловна Павлова, очень красивая, умная женщина, профессор литературы. По ее учебнику мы занимались в институте. Но тут был свой «институт». Муж Надежды Михайловны был главным инженером Балхашского медеплавильного завода и, конечно, попал во вредители и шпионы, а она поделила с нами участь всех жен ЧСИР.

Были еще милые сердцу друзья, и потому, когда мы вспоминаем лагерную жизнь, голод и лишения не идут на ум, а вспоминается наша дружба, которая зародилась в тех темных бараках, дружба бескорыстная и глубокая, выросшая на нашем общем несчастье...

Особым пристальным вниманием в потьминском лагере пользовался у нас уголовник-возчик, который ежедневно на заморенной кобыле привозил нам продукты. Каждый день по лагерю ходили какие-нибудь новые «параши» – новости: возчик сказал, что нас всех через неделю выпустят на волю; возчик сказал, что он видел мешок с письмами, которые везли к нам (переписки мы не имели). Особенно усердствовала в распространении всяких слухов одна из наших ЧСИР – Дуся Пахомова. В отличие от всех остальных она очень гордилась тем обстоятельством, что попала в лагерь в качестве жены.

Дуся была москвичкой. Немолодая уже женщина, как-то она в очередной раз пришла переспать к знакомому студенту. В ту ночь «воронок»

увез студента в неизвестном направлении и, видимо, навсегда. А Дуся попала в число жен. И, думается, в какой-то степени ей это льстило.

«Новости» передавались от одного к другому, будоражили нас, но ничего не случалось. А мы все ждали и ждали. Но вот настала пора собираться в новый этап: нас отправляли куда-то, а здесь, видимо, нужно было освободить место для нового «набора».

В КАРЕЛИЮ

В Карелию, куда нас везли, мы ехали очень долго и попали не сразу. Где-то нас пересаживали, и был перевалочный пункт. Не помню, где это было, но там мы познакомились с чудесными женщинами-грузинками – Кетусей Орахелашвили и Лолотой Вирсаладзе. С ними была еще молодая женщина Идуся. С Кетусей мне было суждено до конца заключения быть все время вместе в одних лагерях. Даже в особых условиях отчаяния и ожидания, в местах для нас незнакомых и диких, удивительная выдержка и покой исходили от Кетуси и Лолоты. Они так уверенно хозяйничали на перевалочном пункте, оделяли нас едой, а Кетуся особенно следила за чистотой. На пункте было мало воды, и Кетуся распределила так, что теплой водой мыли посуду, а холодная понемногу доставалась каждой. Сдержанность и какое-то природное благородство пробуждали к ним чувство большого уважения. Они не говорили о своих личных переживаниях, всегда были приветливы. С достоинством они носили лагерные телогрейки и грубые ботсы. И это не портило их женственности и очарования.

Уже позже, после своего освобождения, в одном из литературных академических изданий я увидела имя Лолоты Багратионовны Вирсаладзе и порадовалась от души, что она теперь в своем любимом Тбилиси занята любимым делом. А очаровательная Кетуся Орахелашвили, оказалось, стала прообразом стоической героини в фильме Абуладзе «Покаяние».

С большой скорбью я недавно узнала от дочери Кетуси – Тины, что ее мать умерла несколько лет назад, так же как и Лолота Багратионовна Вирсаладзе. Не знаю, успела ли Кетуся увидеть себя в образе героини фильма «Покаяние»...

А пока жизнь на перевалочном пункте была довольно спокойная и однообразная. Нам с Ниной там «повезло»: было очень плохо с водой, мыться приходилось редко, но одна добрая женщина разрешила нам пользоваться тазиком, который каким-то образом оказался у нее. В течение дня мы набирали в него воду, могли помыться. Вечером тазик мы отдавали хозяйке и обнаружили, что она использует

его как ночную посуду. Но выхода у нас не было. Мы снова брали ее тазик-горшок, только Нина стала называть его «обратный тазик».

Начальником участка был у нас некто Воечин. Он охотно и доброжелательно беседовал с нашими женщинами. Называл нас «наш золотой фонд» и, как бы обращаясь к себе, говорил: «И что с вами делать?!» Он был уже немолод и что стало потом с этим человеком, неизвестно.

Наконец-то мы добрались до Карелии, и всех нас, жен этого этапа, направили в лагерь в Сегежу, недалеко от бумажного Сегежского комбината, где мы стали работать в основном швеями бумажных мешков для цемента. Некоторые из нас работали контролерами, а меня вскоре взяли в электрики в цех.

В Сегеже я сразу запросила Москву о судьбе моего мужа – шел уже 1939 год. Мне как-то очень быстро сообщили, что Браиловский А. Д. умер в лагерях Воркуты от воспаления легких. Для меня это был удар больший, чем даже арест. До сих пор была какая-то надежда. Теперь надежды не осталось. Одолевала страшная тоска. Вспоминалась наша недолгая и нелегкая совместная жизнь. Мы были молоды и любили друг друга. И помнилось больше светлых и хороших дней, чем унижение и страх тех лет. Трудно было пережить это время, и только лагерная дружба и общность наших судеб заставляли держаться твердо. Было легче оттого, что можно было опереться о сочувствие и любовь своих подруг.

В Сегеже нам разрешили переписку с родными, книги и посылки.

Очень тронули меня неожиданно полученные письма от друзей еще со школьных лет – брата и сестры Яши и Ани Лубман. Они были единственные, которые не побоялись общения с заключенной, со мной. Они посылали мне письма и книги. Все мои друзья в лагере тоже с волнением ждали этой почты. Это касалось всех, ибо было как бы сигналом надежды, что есть еще на свете мужество и верность, что нас не отторгли и ждут.

Милый друг мой Яша погиб в боях Отечественной войны...

В Сегеже начальство нас не притесняло. Мы пользовались этим и старались обогатиться духовно.

Нельзя не вспомнить очень колоритную фигуру венгерской коммунистки Иоланты Келлен-Фрид. Муж ее во время Венгерской революции 1919 года был соратником Бела Куна. Потом Иоланта с мужем приехали в Союз, и их постигла участь всех нас. Иоланте так же присвоили ранг ЧСИР. Она была образованна и учила нас с Ниной немецкому языку. Но интереснее всего она разговаривала на русском, который мы с Ниной называли «иолантским» языком.

Она, конечно, не трусиха
И в «Deutsche Sprache» как в реке.
И разговаривает лихо
На иолантском языке.

Все любили ее за живой, незлобивый характер и понимали своеобразную смесь венгерского, немецкого и русского языков.

Несколько лет назад моя подруга побывала в туристической поездке в Венгрии, навестила Иоланту, которая наконец попала к себе на Родину. Муж ее, конечно, как и все наши мужья, был казнен где-то в Союзе; Иоланта была приветлива и разговорчива, как и раньше.

На участке с нами была старая неграмотная женщина. Мы звали ее тетя Поля. Муж ее работал раньше стрелочником на какой-то железной дороге, а потом его постигла такая же участь, что и наших мужей.

Однажды Полю вызвал следователь. Это было событием, нас вызывали редко. Через некоторое время Поля пришла просветленная со своими новостями. Рассказывает: «Следователь спрашивает: „Твой муж левый серый?“ Я и отвечаю: „Да, милый, левый-серый, как же, как же!“ Поля говорит обнадеженно:

– Значит, его скоро выпустят?!

Мы поняли: следователь допытывался – был ли муж левый эсер. Она и обрадовалась: левый-серый это ведь не какая-нибудь контра! Значит, скоро выпустят. Вспоминается это как смех сквозь слезы.

Финская война началась для нас неожиданно. Несмотря на то, что Финляндия была почти рядом с нами, казалось, что финские бомбы – это случайность, это прекратится. Но – нет.

Перекрещенные бумажными полосами окна наших бараков и маскировка бумажного комбината – это было тоже страшной реальностью. На моих глазах от бомб обрушился угол здания комбината. К счастью, все были в укрытии и никто не пострадал. А вот когда бомбы падали на крышу госпиталя, помеченного большим красным крестом, это было ужасно. Там погибло немало людей.

Но лагерю нашему везло – бомбы его миновали. Видимо, несколько бараков в лесу не возбуждали подозрения у финских летчиков.

Во время войны усилился досмотр ВОХРа, участились проверки эзков в бараках и при выходе их на работу. Письма и посылки прекратились.

И опять наша лагерная дружба помогала переносить всю тяжесть военного времени. У нас возникла большая, почти творческая группа, во главе которой были все та же Нина Всесвятская-Ким, Нелли Борисовна Гальперштейн и я. Нелли была старше нас по возрасту. Очень милая, образованная женщина нежно опекала нас и особенно

меня, возможно, потому, что я была моложе моих друзей и напоминала Нелли ее детей, тоже оставленных ею на авось.

В лагерь Нелли Борисовна попала, как и мы все, за мужа. Муж ее, Яков Маркович Гальперштейн, по приказу Ленина был первым организатором ГУМа. Этот приказ сохранился в семье Гальперштейн, впоследствии я его читала. А дружба с детьми Нелли связывала нас всю жизнь и после ее смерти в 1986 году. Ее светлый образ навсегда остался в моей душе.

Мы использовали все возможное, чтобы обогатить наш ум и сердце. И нам легче было жить. Мы старались, чтобы лагерь стал нашим «университетом». Мы устраивали чтения и концерты. Эстрадой были нары. На стреме стоял кто-нибудь из наших женщин, чтобы нас не застукали вохровцы, а на нарах наш музыкант и певец Верочка Камюнская пела песни Бетховена, рассказывала о музыке. Надежда Михайловна Павлова читала нам что-нибудь из классики. Читала и я свои романтические стихи и поэмы. Очень охотно слушали мои стихи, «Поэму о четырех». Помню из нее отрывок:

Скорее, друзья, собирайтесь.
Отныне
Вперед поплывем на дрейфующей льдине.
Уж Времени речка уносит, не ждет
Дыханием ветра колеблемый лед.

Друзья, отойдите!
Ступить дайте прежде
На льдину неверную дерзкой Надежде.
За ней, рассекая туманности флер,
С светильником шествует ясная Клэр.

Смутился Поэт:
Я имею немного,
Лишь томик стихов прихватил я в дорогу;
В пути, разгоняя усталость и сон,
Пусть всех веселит озорная Нинон.

...Итак, они плыли.
Ничто не ласкало
Их взора, лишь небо, да темные скалы.
Направо вода, и налево беда...
А льдина плыла и плыла
в НИКУДА.

И наконец:

...А берег виднее, а берег все ближе,
Любимые лица, улыбки знакомы.
И вот они вместе, и вот – они дома.

Меня слушали, затаив дыхание. Ведь все это было про нас. Это мы все плыли в НИКУДА. И думали, будет ли когда-нибудь такое счастье, что увидим любимые лица, окажемся дома, у себя.

Я читала эти стихи сотни раз, и женщины слушали всегда вдумчиво и грустно.

Были выступления и в другом роде. С Ниной – близнецом моим – мы сделали нечто вроде «Синей блузы» – выступали вместе на близкие всем темы.

Юмор у Нины был блестящий, сочиняла она очень талантливо и озорно, и все женщины очень любили эти выступления, собиралось много народа. (Видимо, гены литературы были очень сильны в семье Нины, ибо ее сын стал впоследствии Юлием Кимом.)

Например, из Нининого репертуара о бесполезной санобработке барачников, где нас донимали клопы:

Поползли клопы по нарам,
Побежали по стене.
Все мои ушли к соседям,
Все соседские – ко мне!

или в конце нашего выступления:

Объявление петитом:
«Продаются аппетиты».

Да, есть хотелось всегда. Но кончилась финская война. Стали приходить письма и, конечно, посылки. Мы дружно их съедали, и это несколько облегчало жизнь, и все же каждый из нас оставался со своей трагедией, со своими проблемами. И почти все мы верили, что произошло огромное, необъяснимое недоразумение: Иосиф Виссарионович не знает, что сделали с нами, ему надо писать, объяснять, просить. Думаю, что некоторые из нас писали. Но все как было, так и осталось. Ответа на вопросы не было. А некоторые из нас, не такие ортодоксальные, только посмеивались, ни во что не веря.

История каждой жизни моих подружек по неволе была трагична. Так, я дружила с польками Элей Вайссанд и Полиной Новицкой. Обе

они с мужьями приехали в те годы в Союз на работу. И обе оказались в лагере как ЧСИР. Мужья их были уничтожены. Полина, замкнутая, молчаливая женщина, была полна своим горем: ее маленькую дочку, двухлетнюю Кларочку, при аресте матери оставили у чужих людей – где было ее искать, неизвестно. И жива ли она? Моя мама, узнав из моих писем трагедию Полины, начала розыски ее дочки и нашла Кларочку в детском доме, где находились дети репрессированных родителей. Мама регулярно посещала девочку, привозила ей игрушки и сладости и сообщала о ней Полине; Кларочка мою маму начала называть мамой. Вообще, я свято берегу память о моих родителях – в годы жестокого сталинизма они не боялись оказывать помощь пострадавшим от сталинского произвола, находили и других детей, потерявших родителей. А мужа моего, а потом и меня, моя мама бесстрашно искала по всем тюрьмам.

Вторую мою подругу – польку Элю Вайссанд – неожиданно освободили из лагеря и послали из Карелии в Кулундинскую степь. Что она там делала, я не знаю, но жила голодно, и мои родители тоже приняли в ней живое участие. Посылали ей регулярно посылки из своих небогатых средств. Потом оказалось, что писательница Ванда Василевская собирала поляков в Советском Союзе, попавших в беду, и таким образом мои друзья Эля, Полина и еще другие польки вскоре оказались на Родине.

За месяц до начала Великой Отечественной войны мне было решено свидание с родными. Это осталось большой радостью в моей жизни. Я не знала, что отца я вижу в последний раз – он умер в 1943 году от голода в эвакуации.

КАРАГАНДА

Начало Отечественной войны мы встретили в Сегеже. Был воскресный день, мы работали и решили сделать себе праздник – сварить уху на берегу Сегежского озера, часть которого попала в нашу зону. Раздобыли рыбу. Пришли мы втроем – Нина Всесвятская, наша большая приятельница Лидия Владимировна Домбровская и я. Все уже было готово, костер вот-вот вспыхнет, и вдруг все увидели – кто-то бежит к нам и кричит: «Война! Девочки, война началась!»

Все. Начались дальше наши этапные пути. Каким-то образом узнали, что отправляют нас в Казахстан. В первый состав мы не попали, поместили нас во второй. А потом стало известно, что первый состав был разбомблен и все погибли.

Ехали долго. Страшным грузом давила на всех мысль о судьбе страны, о близких наших, стариках и детях. Где-то они сейчас?

Живы ли?! Не было ни радио, ни газет.

Наконец нас стали выгружать на станции Карабас. Это был как бы распределитель заключенных по участкам карагандинских ИТЛ.

Кончалась наша совместная жизнь с друзьями, начиналось нечто новое. Из всех друзей только нам с Ниной довелось вместе еще недолго делить нашу лагерную судьбу.

Мы попали на отделение УИС – участок ирригационного строительства. Это был тяжелый участок. Там силами зэков строили водохранилище. Работали мы трудно и непосильно. Копали землю, носили с Ниной на пару тяжело груженные носилки, кормили, правда, неплохо, то есть мы были почти сыты. Большая часть заключенных – уголовники. Как только мы появились на этом участке, кто-то стащил у меня обувь, присланную из дома. И это была большая потеря. Начальник участка Филиппенко был человек очень грубый, нещадно расправлялся с заключенными, отправлял в подконвойку в зоне, где условия были очень тяжелые.

Правда, нас он ни разу не тронул, но мы его очень боялись и старались на глаза не попадаться.

Кроме того, нас мучили обыски, которые часто устраивали в этом лагункте. Особенно вохровцев раздражал имеющийся у меня томик Гейне на немецком языке. Каждый раз, когда я не успевала его спрятать, его старались отнять у меня. И приходилось с трудом доказывать, что это книга советского издания (там было предисловие на русском языке), а не гитлеровская. В конце концов все же эту книгу у меня забрали.

На работу мы ходили строем под конвоем. Однажды мне удалось с ближнего полевого участка сорвать несколько помидоров. Конвоир это увидел и пригрозил: «Буду стрелять!» Тотчас же рядом со мной оказался мой «близнец» – Нина. Она как бы заслонила меня. Конвоир посмотрел на нас, плюнул и отошел. А мы с аппетитом потом съели украденные помидоры.

На выкопке свеклы работать стало лучше. Эту свеклу мы по возможности обтирали руками, грязными, как сама земля, и с удоволь-



Эти столбы с остатками колючей проволоки обнаружил фотохудожник Николай Серeda вблизи станции Карабас – «ворот Карлага» – в 2004 году

ствием ели. И говорили, что нам теперь совершенно ясно: медики сами придумывают болезни, так как из-за грязи заболеть нельзя. А зимой Нина раздобыла замороженные кочаны капусты, оставленные на полях, запихивала их под телогрейку (это тоже каралось очень сурово), и мы устраивали чудесные пирушки – оттаивали капусту и варили вкуснейшие щи.

Но вскоре Нину увезли в поселок за наш ИТЛовский центр, за Долинку – кажется, в Батык. А у меня было такое безнадежное и тяжелое время – я шагала в строю под конвоем (зимой мы занимались снегозадержанием, то есть копали снег и строили снежные валы), и казалось, нет конца этой бескрайней снежной степи, и ветру, и морозу, и нет уже сил идти дальше, а надо идти и работать, работать... Иногда какая-нибудь женщина от бессилия, от мороза, от отчаяния падала на землю, и думалось, что уже не сможет встать. А я завидовала ей, и мне тоже хотелось вот так упасть, чтобы больше ничего не чувствовать, ни о чем не думать. Но конвой поднимал упавшую, и мы опять шли и работали.

У многих заключенных от непосильного труда иссякали силы. Особенно часто это случалось с политическими заключенными, которые сидели по своим статьям (статья 58 с разными добавлениями). У них были сроки – 10 и 15 лет. И им добавляли еще без всяких видимых причин. Я тоже сильно заболела, и меня отправили на более легкую работу – на участок ЦПО, то есть центральные промышленные огороды, недалеко от Долинки. Этот участок был очень ухожен; на нем работали в основном политические заключенные. Там я встретила много интересных людей.

Один из них – Иосиф Израилевич Гинзбург, муж известной писательницы Тамары Григорьевны Габбе. Он был архитектор, арестован в Ленинграде, конечно, по 58-й статье; конец его срока был не виден – тем более что шла война и вроде бы о многих политзаключенных забыли. Я очень подружилась с Иосифом. Он был интереснейшим собеседником, но никак не мог вписаться в лагерную обстановку, и мы охотно подшучивали над ним.

Например, садясь за тарелку лагерной баланды, он обязательно под ворот подкладывал носовой платок, вместо салфетки. Это было смешно, как и многое другое в его поведении. Он целовал нам, женщинам, наши огрубевшие рабочие руки, чем ужасно смущал нас. Он очень тосковал по своей жене, часто говорил о ней, но его веселый и добрый характер не менялся.

Погиб он трагически. Весной в 1943 году на участке плотины (там работал тогда Иосиф) случилось страшное наводнение. Плотина закрывала собою водохранилище с большим объемом воды.

И весной при таянии снега где-то в плотине образовалась брешь. Вода стала размывать насыпь и очень скоро большим валом грянула на поселок.

Иосиф вместе с другими своими товарищами взобрался на крышу одного из барачков. Кругом рушились деревянные и саманные домики один за другим. Мимо крыши, где спасались люди, неслись доски, бревна разрушенных строений. И, видимо, нервы у Иосифа не выдержали: он на глазах у всех бросился на проплывавшее мимо бревно, ухватился за него, вероятно, надеясь, что оно вынесет его куда-то на сушу, но бревно закрутилось, завертелось в бешеном потоке, и нашего милого друга никто больше не увидел в этой ревущей водяной стихии. Но это случилось потом.

А пока, в 1942 году, я осталась в ЦПО, меня назначили на необычную для меня работу – бригадиром по выращиванию лука. И вот я, ничего раньше не зная о сельском хозяйстве, стала разбираться, как надо сеять лук, как ухаживать за ним, и попала даже в ранг хороших бригадиров. Мои новые друзья в шутку называли меня «луковая королева».

Но надо сказать, что успехи моего лукового хозяйства во многом зависели от нашего лагерного агронома – политзаключенной Ольги Дорошук. Очень независимая, ироничная и несколько мужеподобная, Ольга с большой симпатией отнеслась ко мне, и я тоже весьма симпатизировала ей. Там, в поле, огороженном от поселка целой стеной тополей, мы беседовали обо всем, и Ольга не сдерживала свой сарказм по поводу всего, что делалось на белом свете.

Забегая вперед, хочу рассказать, как через много лет, когда я уже освободилась и жила в Караганде, Оля нашла меня и написала очень теплое письмо, вспомнила, как я выхаживала ее от малярии (которой тогда мы болели все), и просила приехать к ней в гости.

От Караганды она жила не близко, но я поехала. Трудно рассказать, какая это была нежная и горькая встреча. Оля вроде бы и не так уж изменилась, она тоже была на свободе. Но ведь права выезда из Казахстана никто из нас не имел. Она была совсем худа, непрестанно курила, как и раньше.

Совсем уже не молодая, она вышла замуж за человека, тоже прошедшего весь лагерный путь. Звали его Михаил. Брат его, известный писатель, как бы отрекся от него и за все годы ничем не помог.

Михаил был в очень тяжелом состоянии. Но это не мешало ему шутить, живо участвовать в нашей беседе. Жили они с Ольгой в такой землянке, которая скорее напоминала окоп, там кроме двух топчанов и крохотного столика ничего не было. Михаил был недвижим, он умирал. А у них не было денег, не было настоящей еды, и помочь

было нечем и некому. По секрету Оля мне рассказала, что когда рабочие помогали ей оборудовать эту землянку, то тихонько спрашивали, как им поставить топчан для Михаила, если его придется потом выносить – ногами или головой, ведь развернуться там было негде...

С тяжелым сердцем я уехала от них. А через некоторое время Оля написала о смерти мужа. Она осталась совсем одна. А я так и не вывралась к ней... Эта вина и по сей день лежит на моей совести.

А жизнь в лагере шла все так же. В 1943 году я получила из Ферганы, куда эвакуировались мои родные, письмо, что мой отец умер фактически от голода. Перед смертью он так просил рисовой каши, и ему не смогли достать горстку риса. Бедный мой, добрый папа. Так все было трагично. Опухшая от голода мама и моя младшая сестра стояли у меня перед глазами. И я стыдилась своего лагерного пайка – хлеба, который я получала ежедневно и была жива и здорова. Впрочем, малярия меня мучила очень сильно. А потом прихватил меня и брюшной тиф.

И в эти тяжелые времена мне очень помог заключенный Владимир Александрович Васильев. Он отдавал мне часть своего хлеба (аппетит после тифа был огромный), он постоянно заботился обо мне, достал где-то теплые варежки, сапоги, делал все, что мог. И мы решили, что после освобождения поженимся.

Владимир отбывал свой срок по 58-й статье. В отличие от нас, ЧСИР, его очень мучили на следствии. Раньше он работал в Киргизии, в ЦК партии, и сначала ему приписывали связь с врагами народа, а потом добавилось еще что-то. О пытках в московской тюрьме он не рассказывал, но как-то обронил фразу, что пытка постоянным сидением на стуле по несколько суток еще хуже пытки, когда сутками стоишь на ногах.

Видимо, ему пришлось испытать все, что приходило в голову следователям или полагалось по ассортименту НКВД. Реабилитирован он был в 1959 году.

Хочется сказать о наших общих друзьях из лагеря.

Вспоминается прораб Климов, бывший военный, который тоже отбывал немалый срок вместе с Владимиром Александровичем. В 1942 году он подал заявление начальству лагеря, чтобы его отправили на фронт. И просьбу его удовлетворили. На фронт его отправили, а в конце войны его подруга Настенька Незнаева получила сообщение о гибели Климова. А она так его ждала и надеялась!

Я освободилась весной 1943 года и ждала Владимира еще пять лет, а потом я приехала к нему в Акмолинск. Но это случилось в 1948 году. А весной 1943-го после отбытия срока передо мною встал вопрос – где же мне работать и жить. Из Казахстана ехать некуда, и меня

пригласили на работу в Управление Карлага в Долинку, где начальство решило организовать настоящую печатную газету для заключенных.

Для чего были эти хлопоты начальству, я так и не поняла. Это была «хитрая» газета, называлась она «Технический бюллетень», и писали в ней заключенные. Она ничего не меняла в жизни заключенных, даже если писали в ней о недостатках на каком-нибудь лагпункте, – все оставалось по-прежнему. Я была единственным сотрудником редакции – и корреспондентом, и корректором, и выпускающим. Издавалась газета, кажется, тиражом сотни две-три. Подписывал эту газету начальник культурно-воспитательной части Карлага капитан Ханжин.

Был ли Ханжин грамотен вполне, я этого так и не узнала, так как никогда ни единой строки он не изменил в тексте и не добавил.

Меня устраивала полная моя самостоятельность. Я ездила в командировки по всем карлаговским участкам – ездила и на телеге, и на арбе с верблюдом, и на местном поезде.

Из всех пунктов я привозила материал для газеты. И несмотря на то, что существенной пользы от публикации этого материала не было, люди всегда радовались, когда видели свои заметки в «Техническом бюллетене», радовались, что их подписи стоят в настоящей газете, и встречали меня очень приветливо и радушно. А кроме того, в этих командировках я могла повидать своих милых старых друзей, с которыми нас разлучило лагерное начальство. Почти все они уже закончили свои сроки, но остались работать на лагпункте – кто в конторе, кто еще где-нибудь, ведь уехать нам было нельзя. Фактически заключение продолжалось.

Газету нашу печатали в маленькой типографии Долинского отделения. Наборщиком там работал заключенный, молодой чеченец Абилов. Он с таким рвением набирал этот «Бюллетень», что мне казалось – эта работа для него праздник.

Видимо, так и было. Я допоздна в дни выпуска газеты сидела в типографии, он угощал меня чаем, я там читала и правила оттиски, и мы тихо беседовали о всех наших общих делах. А глаза его были очень грустные, и мне было очень жаль этого человека, так далеко увезенного из родных мест. И я даже написала в нашей газете очерк, который назвала «Наборщик Абилов».

Жилье мое было очень удобное и приятное: это был маленький домик, где пару комнат снимала бывшая заключенная, художница Алла Федоровна Васильева. По рекомендации моей приятельницы Верочки Камионской, которая тоже после заключения жила и работала в Долинке, Алла Федоровна охотно предоставляла мне угол в ее

немудреном жилище. Она что-то где-то оформляла, получала гроши и жила весьма скромно, если не сказать бедно, со своим сыном Гаем, мальчиком лет двенадцати, которого привезли к ней после ее освобождения. Алла всегда была весела, ни на что не жаловалась и все время рисовала.

Говорили, что она очень талантливый художник, но арест мужа и ее собственная судьба ЧСИР отрезали ей все дороги к истинному творчеству. Она еле-еле перебивалась с сыном, но с ними всегда было радостно и приятно.

Иногда приходила Верочка Камионская и пела нам, я читала стихи, и у всех было приподнятое настроение.

Домик, где мы жили, весь утопал в зелени – Долинка вся, стараниями заключенных, была как оазис. Много зелени, ухоженные улицы в этом маленьком городе-поселке производили приятное впечатление. Но у многих из нас возникали горькие мысли – сколько искорверканных жизней, сколько страданий, лжи, доносов хранили архивы массивного красивого здания в Долинке – Главного управления Карагандинских лагерей.

Типография, где печаталась газета, находилась от моего жилья недалеко (в маленькой Долинке все было близко), но самой близкой к нашему домику была зона Учебного комбината, куда вскоре и пригласили меня в качестве корреспондента местной газеты. Начальником учебной части комбината работала Вера Натановна Лядова, тоже из бывших ЧСИР, журналистка по профессии. Очень властный, умный человек. Она навела порядок на комбинате, туда приезжали бригады эзков, их обучали хорошо, ведь на них держались экономика и порядок в стране ГУЛАГ...

Там, в Учебном комбинате, я познакомилась с помощницей Лядовой – Евгенией Абрамовной Трифоновой-Лурье. Я стала запросто называть ее Женей. О ее биографии можно бы и не говорить – это была мать будущего известного писателя Юрия Трифонова. Но хочется сказать о ее характере – очень скромная, сдержанная, даже тихая, она обладала большим чувством юмора. Очень начитанный человек, много знала, и ее небольшие литературные опыты были напечатаны. Она подписывалась псевдонимом: «Е. Таюрина». То есть имена ее детей – дочки Тани и сына Юры – были всегда с ней.

До конца ее дней, уже на воле, в Москве, дружба связала нас.

Порядочно времени мне пришлось жить в Москве у Жени, когда они наконец получили квартиру, то есть получил Юрий Трифонов, став лауреатом за свою повесть «Студенты». А у меня были особые, очень трудные обстоятельства, и я жила у них. Я тогда особенно могла оценить доброту и заботу Жени – как в условиях полужизни

существования в Долинке, так и в нормальных условиях Москвы...

Но время текло. Война подходила к концу. Мои родные вернулись из эвакуации, но приехали не в Москву, а в Куйбышев на крекинг-завод, куда Министерство нефтяной промышленности направило мою сестру как опытного нефтяника. В Москве наш дом был разрушен. И моя сестра стала хлопотать, чтобы мне разрешили уехать к ним, в Куйбышев.

Но как только я узнала, что, может быть, мне разрешат уехать из Казахстана, я почувствовала, как изменился мой характер: я стала очень внимательна к своему здоровью, а попросту – очень мнительна. Я, которая не боялась ни болезней, ни грязных овощей, ни пули конвоира, стала теперь переживать от любого пореза на пальце, от любой простуды: а вдруг я умру здесь, не вернусь домой к своим? И наконец, вскоре после Дня Победы я получила извещение, что по распоряжению начальника ГУЛАГА НКВД СССР мне разрешается выехать в Управление Особстроя НКВД для работы на строящемся объекте. Это под Куйбышевом строили площадку для ГЭС. Сестра использовала все возможности, чтобы я смогла соединиться с ними.

И наступили дни расставания. Я оставляла друзей, я расставалась с другом Владимиром Александровичем Васильевым. Денег на дорогу у меня не было. Когда я приехала последний раз попрощаться, Владимир Александрович дал мне меховую шапку и медный солдатский котелок, чтобы я продала их на рынке в Караганде и собрала бы сколько-нибудь денег на дорогу, на билет.

На участке я увидела Кетусю, она тоже освободилась и жила там. И она тоже дала мне немного денег. Действительно, на рынке я за гроши продала вещи Владимира. Но вместе с Кетусиными на билет мне хватило. Двое суток протолкавшись, а ночами провалявшись в маленьком грязном дощатом вокзале Караганды, я наконец получила билет и в отличном настроении в июне 1945 года в товарном сто-веселом поезде, полном клопов и тараканов, возвращалась в свой новый дом, в желанный Куйбышев. Позади оставались лагерные дороги.

А дальше начиналась нелегкая, но другая жизнь.



*Фанни Григорьевна
Кривицкая
с мужем Владимиром
Александровичем
Васильевым
и дочерью Надеей
после выхода
из лагерей*

В очерке Ф. Г. Кривицкой «Пути-дороги» лишь один раз упоминается Лидия Владимировна Домбровская. «Наша (с Ниной) большая приятельница», – пишет о ней Фанни Григорьевна, вспоминая, при каких обстоятельствах они услышали в Сегежском лагере о начале войны. Между тем Лида, как называли ее все – родные, друзья и собственные сыновья, – была ярким, незаурядным человеком. Дочь батрака, она благодаря природным качествам – уму, таланту, вкусу, исключительно путем самообразования стала блестящим знатоком литературы, поэзии. И была, конечно, одним из главных просветителей «академий на нарах».

Она обладала особым даром дружбы. В отношении к людям была очень избирательна, но, полюбив человека, отдавала ему всю душу без остатка. Нина Всесвятская была ею оценена очень высоко. Их горячая дружба стала для обеих женщин опорой в лагере и продолжилась, что случилось нечасто, в «мирной» московской жизни (при этом они были на «вы»).

К сожалению, Лидия Владимировна не оставила воспоминаний. В письмах из лагеря она больше спрашивала, чем рассказывала, и темой писем были поэзия, живопись. Да и вернувшись на волю, «о нарах» она вспоминала неохотно.

Лида очень любила свою племянницу Галю Поневежскую. Еще школьницей, по какому-то наитию доброго детского сердечка, Галя написала тете письмо в лагерь в Казахстан. Надо ли объяснять, что значили для узниц письма, особенно от детей! Тем более что сыновья Юра и Саша нечасто этим баловали мать. Отклик на письмо девочки был восторженный. Заявившаяся переписка положила начало большой взаимной дружбе и любви двух людей, несмотря на разницу в возрасте, характере, пристрастиях.

Галя, филолог по профессии, составитель двух замечательных книг о своем учителе Иване Ивановиче Зеленцове, написала «в стол» очерк о Лиде. Мы включили его в книгу с некоторыми изменениями, согласованными с автором.

Галина Поневежская

Лида

Лида родилась в 1900 году подле Киева на Подоле – в районе для бедных. Отец батрачил. По рассказам дочери, он был очень умным от природы человеком. Она хорошо помнила, как часто он общался с одним из киевских адвокатов и был тому интересен.

Лида и ее младшая сестра Настя рано осиротели. Лиде было одиннадцать лет, девочки бедствовали, ночевали под открытым небом. Позже в письмах ко мне Лида вспоминала о жизни «в маленьком захолустном городишке Черниговщины Соснице. Я не нашла там себе подруги и подружилась с мальчиком-соседом тринадцати лет. Мне было шестнадцать. Это был неисправимый фантазер,

мечтатель и невероятно националистически настроенный украинец с буйным, но добрым нравом – Саша Ярошенко. Я работала «письмоводителем земства»... Я бывала в семье народного учителя-революционера, он оказал на меня большое влияние, и мы как-то с Сашей после почти что трех лет дружбы почувствовали себя чужими. Когда пришли петлюровцы, этот Саша ходил в синем жупуне. Однажды ночью в сильную бурю меня кто-то стуком в окно разбудил – он его разбил. Он сказал мне: «Лида, надо тикать». Он знал о нашем намеченном утром аресте». Лида с польской учительницей Дусей Тихеенко «тикали» в сопровождении Саши, который знал, как обойти немецкие посты. Так, рискуя своей жизнью, националист Саша спас подругу, увлекшуюся идеями революции и социализма. В другом письме Лида упоминала, что летом 1919 года она в качестве «политработника» и «учительницы 9-го батальона 2-го полка 46-й дивизии шла маршем по полям и весям, голодая и раскрывая тайны А и Б восхищенным бойцам», которых удивляло, что «из этой чепухи вылупливаются слова».

В блестящем очерке «Мои ночные беседы с Хлебниковым»* известный кинорежиссер и сценарист Александр Николаевич Андриевский, в 1919 году служивший инструктором политотдела и военным следователем реввоен трибунала 14-й армии, упоминает Лидию Владимировну Домбровскую тоже как инструктора политотдела той же армии. Видимо, тогда они и подружились, а в декабре того же года, когда Красная Армия вступила в Харьков, оба оказались в Харьковской коммуне художников. Александра Николаевича привел туда случайно встретившийся знакомый. Коммуну только что образовали два художника – Алексей Почтенный и Иосиф Владимиров. Им разрешили «занять огромную квартиру в роскошном барском особняке, брошенном его богатым владельцем при бегстве из Харькова вместе с деникинцами». В квартире 2 дома 16 по улице Чернышевского очень быстро собралось много бездомного и интересного народа. Это были в основном художники, «талантливые и левые». Они поровну делили продовольственные пайки, а вечерами собирались на кухне, беседовали, читали стихи. Андриевский знал «в десятки раз больше стихов, чем все они, вместе взятые». Для юной Лиды это была серьезная школа познания литературы, поэзии, живописи. Но вскоре коммуну потрясло сообщение Алексея Почтенного о том, что в местном доме для психически больных («Сабуровой даче») находится Велимир Хлебников, скрывшийся там от деникинской мобилизации. Члену реввоенсовета А. Н. Андриевскому ничего не стоило выволить поэта из больницы. Так в коммуне появился «первый председатель земного шара».

По рассказам Лиды, он был очень нездоров, истощен. По очереди с другими коммунарями Лида дежурила у его постели, кипятила ве-



Галина Поневежская, корреспондент газеты «Московские новости». 1960 год

* Дружба народов. 1985. № 12.



Лида Домбровская.
1920-е годы

дра воды для ухода за ним, отдавала поэту последние крохи своей еды и даже шила нарядные платья для его знаменитой любимой куклы, с которой он играл, как ребенок. Но в марте 14-я армия двинулась дальше, и Андриевский и Лида покинули коммуны. Знакомство с Хлебниковым оставило глубокий след в жизни Лиды, она знала наизусть множество его стихов.

В годы Гражданской войны пересеклись пути Лиды и Бориса Абрамовича Юдовича. Он был из благополучной до революции семьи, красив и обаятелен, и молодые люди полюбили друг друга, стали мужем и женой, хотя официально свои отношения так и не оформили.

Позже из лагеря Лида напишет сыну Саше о его отце: «Какое редчайшее сочетание: ум, воля, мужество, доброта, жизнерадостность и красота. Кроме Бориса, я не знаю такого комплексного гармоничного ансамбля».

Лида была сильной, крупной женщиной, высокой, с 41-м размером обуви. В начале 20-х годов она приехала в Москву в длинной до полу шинели и огромных сапогах знакомиться со свекровью, моей бабушкой. «Как хотите, Софья Моисеевна, – сказала Лида, – но я жена вашего Бориса». «Ну что же делать, деточка», – только и вымолвила бабушка, носившая и в непогоду модные белые туфельки, и упала в обморок.

Явление молодой жены Бориса Софьей Моисеевной было воспринято как одно из непредсказуемых «чудес» революции, достигших их семью, которая поселилась в Скатертном переулке в Москве, бежав от еврейских погромов на Украине. Бабушка не могла тогда предположить, что Лида окажется очень преданной и самоотверженной женой ее сыну.

Лида в то время была страстной поклонницей Маяковского. Захватив привезенный с Украины шмат сала – бесценный дар в ту пору, она явилась к поэту в его мастерскую «Окна РОСТА» и сразу окунулась в царившую там творческую атмосферу. Она начала помогать поэту, в частности переписала от руки несколько экземпляров поэмы «150 000 000». Маяковский знал об этом, благодарил и иногда провожал домой, неся подаренную ей стопку книг и не пропуская ни одной замерзшей лужи – у него сохранилась ребяческая привычка кататься в ботинках по льду.

Лида бывала и в доме Бриков на Гендриковом переулке.

Маяковский много и с интересом разговаривал с молодежью, особенно с теми, кто любил его стихи, и Лиду отличал среди других. Она вспоминала, как в мастерскую среди дня однажды пришла Лиля Юрьевна. В мастерской было холодно. Маяковский, сразу забыв обо всех, подошел к ней, взял ее руки в свои и стал греть дыханием и поцелуями.

Иногда, приходя в квартиру Бриков, Лида заставляла Маяковского лежачим на полу. Он играл со Щеником или кошкой, смешно переваливаясь с боку на бок, подставляя зверюшкам то спину, то грудь.

В 1927 году у Лиды и Бориса родился сын Юра – будущий ученый-ихтиолог, в 1930 году – сын Саша – будущий мореплаватель, капитан дальнего плавания, автор книги о совершенном им кругосветном путешествии «Под парусами в XX веке»*.

Борис занимал крупные партийные посты – сначала в Бердянске, затем после переезда семьи в Баку – в ЦК Компартии Азербайджана.

С 1933 года в республике воцарился М. Багиров, до того возглавлявший ЧК–ГПУ–МВД Азербайджана. Это был изощренный палач средневекового толка. В 1937 году пришел его звездный час. Появилась возможность расправиться с негодными. Среди них оказался и Борис Юдович. Его арестовали в августе 1937 года. После его ареста Лида стала получать из тюрьмы окровавленное белье мужа – для домашней стирки!!! На одной рубашке она прочла написанные кровью слова: «Прощайте, родные и любимые». Как выяснилось через много лет, тела казненных вывозили на баржах в море и топили.

В 1956 году Багиров разделил участь своего кумира Берии – был расстрелян. Лида на процессе Багирова смогла быть только один день. Она мне тогда написала: «Борис назван на процессе как вернейший сын партии и т.д. и т.д. Но поздно, все поздно, как поздно!»

А тогда, в 1937-м, Лиду уволили с журналистской работы, выгнали из квартиры, и семья поселилась в кладбищенской сторожке.

Лида понимала, что ее ждет, и отправила Юру в Москву к родным мужа, а Сашу – к сестре в Тбилиси.

В октябре 1937 года арестовали и ее. Одно из страшных впечатлений бакинской тюрьмы – поведение молодой женщины, которую оторвали от грудного ребенка. Она была художником и без конца рисовала женские груди, кормящих матерей.

Лиду отправили в Потьму, затем в Сегежу, в начале войны – в Казахстан.

На одном из этапов она обрела подруг по несчастью: Нину Всевятскую, Фанни Кривицкую, Нину Каминскую.

Через много лет Лида мне написала: «Я потеряла жизнь в 37 лет и навсегда. Через что я только не прошла, через какие страдания, какую неслыханную муку. И все же я вернулась – «но в страстной буре,



Лида с сыновьями Юрой и Сашей.
1933 год



Борис Абрамович Юдович,
директор треста «Азнефтемаш»,
член ЦК Компартии Азербайджана.
1936 год

* Юдович А.Б.
Под парусами
в XX веке: Плавание
ихуны «Заря».
М., 1960.

долгой муке я не утратил прежний свет», – перефразировала она строчки из стихотворения Блока «Благословляю все, что было...».

Выжить помогли друзья, письма, посылки от родных.

В 1947 году я провела вместе с Лидой дивное лето в виноградно-бахчевом краю под Шемахином за 101-м километром от Баку, куда она попала после лагеря, продолжая быть поднадзорной.

Время от времени она вспоминала лагерную жизнь: «Мы за день смертельно уставали от каторжной работы и все же рассказывали на



*Пересыльный лагерь
под Карагандой*

нарах друг другу о самом близком, о детях, о мужьях. И читали любимые строчки: кто помнил стихи – стихи, а кто – песни. Я – Маяковского, Нина Каминская – Мандельштама, Нина Все-вятская – свои стихи: озорные – посвященные детям, печальные – нам, подругам. Потом эти концерты на нарах стали постоянными, и мне пришлось читать лекции о Маяковском.

Художницы рассказывали об итальянском Возрождении, истории русской живописи, искусстве Востока, японской живописи и театре. Надо было жить и вернуться к детям. Эти лекции, Маяковский помогали нам выжить».

Все лагерницы самым сильным поэтом признавали Нину Каминскую. Она попала в лагерь совсем юной – восемнадцати лет – через несколько дней после замужества и ареста ее мужа-поляка. Нина писала стихи о потерянной любви и более открыто, чем другие, – о постигшей их трагедии:

Какой землей в злоеший час,
Кто и когда засыпал вас?

Мне снилось кладбище. Старинные могилы,
Кресты из мрамора, дерева и цветы.
Я шла к тебе и очень торопилась
Прийти до наступленья темноты.
Меня страшила необычность встречи,
Томило ожидание беды,
А быстро надвигающийся вечер
Грозил стереть дорожные следы.

Вдруг на меня густая тень упала,
Пронзив могильным хладом до костей.
Я подняла глаза и закричала:
Ты ждал меня – распятый на кресте.

Кроме рассказов о «гулаговском ренессансе», тетя во время работы на шемахинских полях (я ей помогала собирать огурцы, помидоры, грузить капусту) вспоминала казахстанские степи, поля алых маков, с юмором – о собственных попытках шить предметы женского туалета, которых у них не было. Она щадила мою юность и наивность, утаивая страшное.

Но однажды Лида рассказала мне, как в первый год войны забастовали уголовники и не хотели выходить на работу. Лида выстроила их в шеренгу и держала перед ними речь.

– Что же ты им говорила? – с ужасом спросила я.

– Мы не на фронте. А те, кто на свободе, – воюют с врагом. Им нужен хлеб, урожай. Мы работаем для своих близких. Мы работаем, чтобы победить вместе со всеми. Мы все обижены. Не от нас зависит наше освобождение. Но победа зависит от нашей работы. Не время помнить обиды, бастовать. Вы молодые и сильные. Идемте работать. И все пошли работать.

Как и все матери в лагерях, Лида очень тосковала по детям. В 1944 году она получила письмо от сына Сашки, в котором он писал, что забыл ее лицо. Ответ Лиды сохранился в семейном архиве. В нем и боль, и горечь, но в нем и утешение.

«Можно забыть человека, его голос, фигуру, его лицо, – писала сыну мать, – но внутренний образ человека, существо человека забыть нельзя. Разве я не была вашим товарищем, играя с вами, читая вам, рассказывая... Разве мы вместе не искали шкурку змеиных, не плавали в море, не лазали по шелковице на даче? Почему же эти милые воспоминания не защитили меня в твоей памяти, почему, дружок, лицо важнее всего остального? Я не могу примириться с этим, вы не должны и не можете меня забыть... Это неправильно, это несправедливо».

Лида считала, что ей помогла пережить свалившиеся на нее беды крестьянская закалка. Но я думаю, что и Лида, и все узницы ГУЛАГа достойно перенесли тяготы рабской неволи и бесправия прежде всего благодаря своей внутренней силе, высокой духовности.

Тетя оказала огромное влияние на мое становление, образование, отношение к людям.



*Лидия Владимировна
Дамбровская (стоит)
с подругой. 1954 год*

Лида скончалась в девяностолетнем возрасте после перелома шейки бедра. Последние годы она жила, по собственному настоянию, в интернате.

Незадолго до кончины, видимо, в силу Лидино бунтарского нрава, ее поведение сочли неадекватным и поместили в психиатрическую больницу. Когда к ней в палату пришла группа студентов-медиков с преподавателем для знакомства с ее историей болезни, Лида с обезоруживающей непосредственностью спросила их: «Вы, очевидно, хотите проверить мой интеллект? Пожалуйста, назовите любую строчку из любого стихотворения Пастернака – я ее продолжу». Вскоре Лиду вернули в интернат.

1999–2004 годы

В ноябре 2004 года Юлию после концерта в одном из городов США незнакомая пожилая дама вручила две странички из книги Целины Будзыньской «Обрывки семейной саги», изданной Еврейским институтом истории. К сожалению, в суматохе осмыслить полученное он не смог, просмотрел текст только в гостинице и пожалел, что не поговорил с автором.

Целина Будзыньска

Отрывок из книги воспоминаний



Целина Будзыньска

Можно рассказать тысячу историй о детях, которые нашлись, и о тех, которые безвозвратно потерялись, о детях, которые не хотели знать своих матерей – «врагов народа», о сыновьях, которые добровольно шли на войну с надеждой своим мужеством заслужить помилование для матерей. Каждая из этих историй – это история тоски, страдания и отчаяния матерей, история горького сиротского детства, прошедшего на островах архипелага, детства самых маленьких ЧСИР – членов семей изменников родине. Как и на большом архипелаге, острова здесь бывали получше, похуже, а были и очень плохие. Некоторым детям посчастливилось, и они воспитывались в семьях или у своих нянек, да и детские дома были разные. Самой тяжелой была судьба детей, которые вслед за родителями попали в лагеря. Но всем детям выпала одна доля – годы сиротства и клеймо сына или дочери изменников родине. Да, «спасибо товарищу Сталину за наше счастливое детство...» – были и такие плакаты.

Но вернемся на наш родной остров, на этот 23-й специальный пункт Темниковских лагерей. Время, которое раньше ползло как че-

репах, набрало разгон. Постоянно что-то случалось, стали приходить письма, фотографии. После долгого периода отрыва от мира эти первые контакты переживались особенно остро. Остались в памяти не только письма мамы и моих девочек, но и первые новости от семьи Ядзи и многих других. До сих пор я помню фотографию, которую получила Нина Всесвятская, подруга Эли Вайссанд. Нина – молодая учительница – была блондинкой с голубыми глазами, а с фотографии смотрели слегка раскосыми глазами двое очаровательных детей – смуглых, черноволосых. Муж Нины был корейцем. Спустя несколько лет я узнала, что дети попали к своим бабушке и дедушке – врачам в глубокой провинции.

Сейчас ее дочь – врач и научный сотрудник, а сын Юлий Ким – популярный среди советской молодежи поэт и бард.

Раньше всех начали приходить посылки из Грузии, так как там семейные связи особенно сильны. Дети наших грузинок обычно воспитывались у родственников.

Были и другие события. Одну из «жен» взяли из лагеря как будто в Москву на пересмотр «дела». Потом я узнала, что из каждого лагеря вывозили одного или двух эзков – как бы освобождать. Это должно было вселять надежду, что Берия исправляет ошибки своего предшественника, что наступает эра справедливости. Но однажды хороший дядя Берия подготовил нам другой сюрприз. Он, видно, решил, что держать десятки тысяч женщин в лагерных бараках расточительно и вместо вышивки и шитья штанов лучше пусть они вырубят лес в тайге или благоустривают казахстанские степи.

В начале сентября отправилась на этап первая группа «пятилеток» из 23-го пункта. Тогда мы расстались с Евой, Полей Новицкой, Ниной Всесвятской, Фаней Кривицкой, Лолотой Вирсаладзе, Кетусей Орахелашвили и еще со многими милыми женщинами. Их лагерный путь лежал сначала на север, в карельские лагеря, а потом уже, в начале войны, – в Караганду.

От этого времени в моей памяти остались достаточно необычные события. Однажды вместе с сокамерницами я оказалась в шеренге, сформированной у ворот. Впервые за два года нас вывели из концлагеря. Мы не знали, куда нас везли. Как оказалось, поблизости неистовствовал пожар – горел лес, и огонь перекидывался через поляны,



Наталья Всесвятская с племянниками Алей и Юликом. Только эту фотографию 1938 года могла видеть Целина Будзыньска у Нины Всесвятской. В 1939 году их лагерные пути разошлись

поросшие сухой травой и кустарником. Мы взялись лопатами рыть рвы. Неподалеку работали местные крестьяне, согнанные, видно, из близлежащих колхозов. Они были острижены под горшок, в длинных, почти до колен рубахах и штанах из тика, у них были раскосые глаза и выступающие скулы. Мордвины – коренные жители этой земли, на которой сейчас раскинулся огромный остров архипелага ГУЛАГ. В первый и последний раз я видела осевших здесь со времен великого переселения народов представителей этой народности. Их внешность и одежда не менялись, наверное, в течение столетий, и единственная новизна, которую принесла революция в их бедную страну, – это влачившие жалкое существование колхозы и лагеря, построенные на значительной части их земель...

Перевела с польского Моника Чецелкевич

Алина Ким Снова Мордовия

В марте 1943 года мамыны «пути-дороги», общие с Фанни Кривицкой, разошлись. Несмотря на окончание срока наказания, маму не освободили, а направили работать учителем начальной школы в казахский поселок Батык. Видно, совсем плохо было с кадрами, если «криминальный» элемент допустили воспитывать детей. Но для мамы и это было счастьем. Почти два года она преподавала казахатам разных возрастов в маленькой школе, состоящей из одной классной комнаты.

В декабре, как следует из справки отдела кадров Карлага НКВД, «Всежвятская Нина Валентиновна с работы уволена в связи с откомандированием в Темлаг НКВД». Снова Мордовия. Круг замкнулся.

В стершейся от времени еще одной карлаговской справке значится, что «Всежвятская Н. В. следует к избранному (!) месту жительства в г. Темлаг, ст. Потьма». В этом «избранном месте» мама работала инспектором культурно-воспитательной части (КВЧ).

О подробностях этого пе-

риода мама либо не рассказывала, либо они не запомнились. Но сохранилось письмо от 5 апреля 1945 года к подруге Зине Юдушкиной. Оно сложено треугольничком, на нем поставлен штамп «Проверено военной цензурой 10604», обратный адрес – Мордовская АССР, Zubовско-Полянский район, п/о Молочница, п/я 241/3 В/Н.

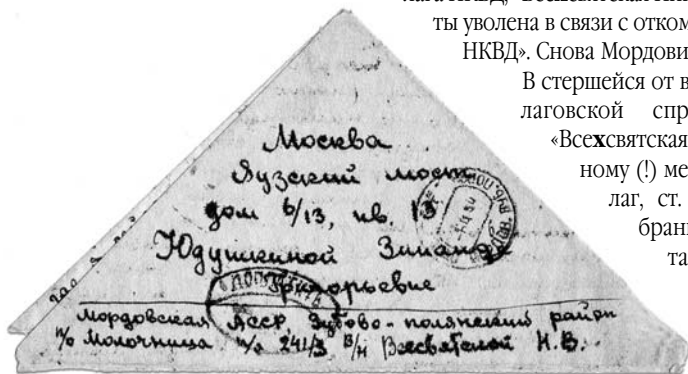
Письмо, очевидно, было передано нам родственниками Зины. Приводим его с купюрами:

«Ты еще существуешь на свете, моя Зиночка? Я стала ближе, но ты от этого ближе не стала и упорно молчишь. Я тебе написала письмо, не знаю, получила ли ты его. Я болела малярией и теперь сижу дома, пользуюсь случаем тебе написать. Есть самое страшное в жизни: терять веру в себя, в жизнь, в людей. Смотри, Зинок, я не хочу терять этой веры и очень хочу с тобой переписываться. Ведь нас с тобой роднит самое дорогое: наша юность, такая ясная, большеглазая, жадная до нового, с большими дорогами... Если ответишь – напишу длинное письмо, а в пространство – не пишется. Голова занята одним: как соединиться со своими? Они герои, но очень уставшие герои... Хочу немногого: маму, детей и школу. Мамы нет, детей нет, школы нет. Когда врываюсь в работу, жизнь делает попытки приобрести смысл. На той работе, где я сейчас, – надо очень любить людей. Вот где надо «светить всегда, светить везде» – это мне завещал Костя (мамин трагически погибший друг юности. – *Сост.*). Я берегу его завет. Так и осталось до сих пор терпким это юношеское вино. Странно, да? Помнишь Индонезию? Так и пройдет там жизнь без нас! Раньше мне казалось, я прожила несколько жизней и сменила несколько оболочек. Но это только внешне, а сущность у человека одна, и становление ее бывает очень рано.

Как сын? Когда-то я буду открывать моих детей, как открывал Колумб Америку? Целуй сына, Раю, привет папе. Целую тебя.

Неисправимый романтик Нин.»

Летом 1945 года маме наконец разрешили жить поближе к своим, но не в столице, а за 101-м километром от нее (в так называемом «минусе»). Из всех предложенных городов для проживания с семьей мама выбрала Малоярославец – конечно, не случайно, это была родная калужская земля.





Часть 4
ГУЛАГиздат
Тираж – 1 экземпляр

*Художник Ирина Александровна Борхман
Карлаг (Акмолинская обл., с. Елизаветинка)*

Для завершения «лагерной темы» мы помещаем мамины стихи для взрослых и детей, написанные в Сегежлаг в 1939–1940 годах. (Книжки для детей представлены на цветной вставке после очерка «Детство за 101-м километром».)

Нина Всесвятская писала стихи постоянно – в основном для школьной самодеятельности, стенгазет, на юбилеи и пр. Свою музу она оценивала довольно скромно. В стихотворении «Моей музе» она так и написала.

Нина Всесвятская

МОЕЙ МУЗЕ

Ты не блещешь опереньем,
Рифм глагольных не обходишь,
Но немного утешенья
Людам все-таки приносишь.

В жизни, радостями скудной,
Люди нас с тобой любили.
Где смеяться было трудно,
Мы смеялись и шутили.

Если мне порою больно,
Если я сама тоскую,
В рифмах, даже и глагольных,
Изведу свою тоску я.

Нам с тобою не расстаться,
Как нельзя расстаться с тенью,
Будут дальше рифмоваться
Жизни сложные сплетенья.

Сегежская тетрадь

*Моей дорогой маме, другу моему, помощнику
в минуты жизни трудные посылаю мою лирику.*

Годы невеселые,
Хмурые года!
То, что передумано,
Вылилось сюда.

За печаль невольную,
Милая, прости.
Над стихами дочери
Очень не грусти.
Юмором и лирикой
От тоски лечусь.
Стойкости и мужеству
У тебя учусь.
Подожди, любимая,
Надо подождать.
Встретимся – и солнышко
Выглянет опять!

Я в лес войду, как в храм, и встану на колени
В зеленый мох. И будет просто мне
Наивной верою ушедших поколений
Проникнуться на миг в вечерней тишине.

И будут бледными последними лучами
Вершины надо мной слегка озарены.
Повеет светлую торжественной печалью
От неба, от земли, от мудрой тишины.

Я принесу сюда усталость и тревогу,
И боль утрат, и молодость мою,
По-детски помолюсь неведомому Богу,
Судьбе и случаю о тех, кого люблю.

На пнях седых следы эпох увижу,
В побегах молодых – залог грядущих дней,
Здесь смерти таинство – понятнее и ближе,
Законы бытия – и проще и ясней.

ТАМБУРИН

Больно, очень больно
С мыслью примириться,
Без тебя, мой папа,
Жизнь идет вперед.

Изменило сердце,
Перестало биться,
Только образ милый
В памяти живет.
В сочетаньях звуков
Я ищу покоя,
Никогда обратно
Не течет река.
Грезится мне вечер,
Запахи левкоя,
Разговор несмелый
Скрипки и смычка.
Очень хочет скрипка
Рассказать о чем-то,
Детская серьезность
В музыке простой.
Вечер полон грусти,
Грусти безотчетной
О тебе, о прошлом,
О себе самой.
Это сын играет
«Тамбурин» знакомый,
Тени голубые
На цветы легли.
Вновь запела скрипка,
Снова возле дома
Белые левкои
Пышно расцвели.
Ощутимо близкий,
Ты живешь, ты с нами
В лирике созвучий
Музыки простой,
В этом смуглом внуке
С черными глазами,
В новых формах жизни
Вечно молодой.

Июль 1940 года

*Ночь идет на мягких лапах...
Вера Инбер*

Ночь идет. Тебе не спится.
Опусти скорей ресницы.
Мир тревожный, мир дневной
Темным пологом накрой.

Ночь, ночь... Тишина...
Только плещется волна,
Только звездочка одна
Между черных туч видна.

Вот из чащи чинно-чинно,
Поднимая хобот длинный,
Будто призрак, будто сон,
В ночь выходит темный слон.

Под ногой
Хрустнул сук,
Мох густой
Ловит звук.

Вновь стеной сомкнулся лес.
В темной ночи слон исчез.

Тише, тише... Время спит.
Ветерок в траве шуршит.
Лист осиновый дрожит.
Филин землю сторожит.

Вот из чащи плавно-плавно
Выплывает слон забавный,
И, качаясь, тает он –
В темной ночи темный слон.

Третий слон... Четвертый слон...
Дальней жизни перезвон...
Теней призрачных игра...
Сон глубокий до утра.

Сентябрь 1940 года

НА РЕЙДЕ

Слетер встал. Дрова не пилит.
Отдохнуть и нам пора.
Огонек мы разложили
И уселись у костра.
Рдеет уголь золотистый,
Трепыхается дымок,
Прилетел такой душистый
Теплый летний ветерок.
Вместе с ветром лес и поле
Шлют нам утренний привет.
Эх! Как хочется на волю
Улететь за ветром вслед!

МАКИ ЦВЕТУТ

Лизке

По песку шуршали шины,
Не спеша бежит машина.
Вдоль дороги там и тут
Маки алые цветут.
Символ веры – алый мак.
Расступись, зеленый мрак,
Золотистый мрак лесной!
Пахнет мохом и сосной.
Радостью звенит земля.
Мой любимый у руля.

Люди радость извели.
Рано маки отцвели!

Привязанностей, дружб – все уже, уже круг,
И выбор осторожнее и строже.
За неизбежность перепутий и разлук
Плачу я каждый раз дороже.

Я стала старше, и в толпе людей
Мне примелькались и характеры, и лица.
Иду одна сквозь мертвый холод дней,
Скользящих в прошлое бесцветной вереницей.

Мир призраков в душе моей живет.
Мир неразлучных милых теней.
Чем день бледней, тем ярче ночь встает
Потоком образов, игрою сновидений.

Любимые идут на мой тревожный зов.
Вы все такие же. Вас время не меняет,
И смерть не властна. Ночь узоры снов
Из нитей пережитого сплетает.

Я вашу хрупкость нежно берегу
От едкости всеильного забвенья.
Волшебный мир! Я ощутить могу
Горячих детских рук прикосновенье.

Я дома... дома. Только тот поймет
Глубокий смысл коротенького слова,
Кто брел один и знал: никто не ждет,
И нет нигде огней родного крова.

За грань реального ушли мои друзья.
Но для меня они реально ощутимы.
Мы вместе шли. С тех пор судьба моя
С другими судьбами слилась неразделимо.

Я нити прошлого по-новому пряду
То с грустью тихой, то с тоскою жгучей,
Тропой утеранных возможностей иду,
Ловлю в судьбу не превращенный случай.

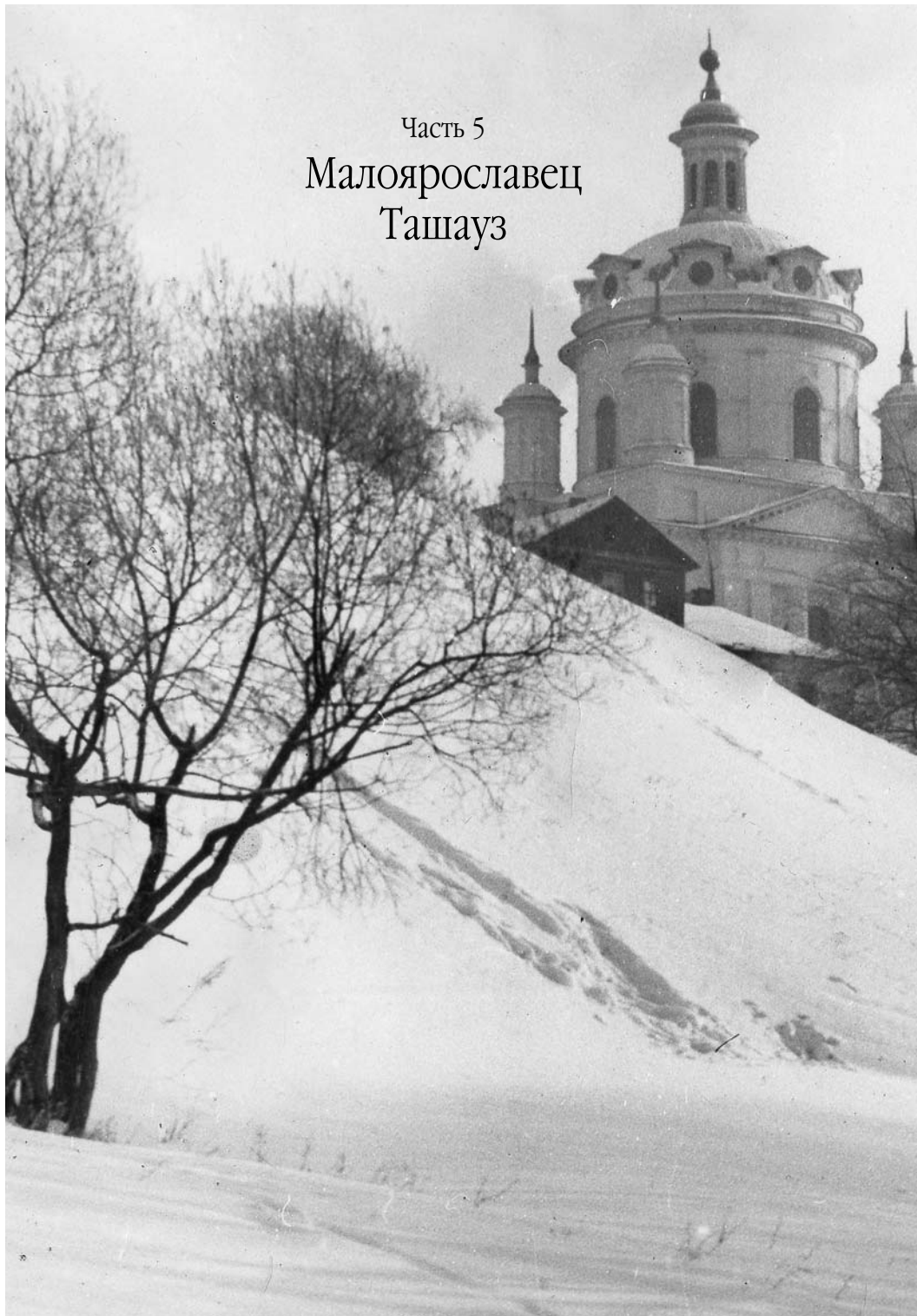
От глаз чужих мой мир надежно скрыт.
Он мне принадлежит. Его таю умело.
В суровый век кровавых грозных битв
До жизни маленькой кому какое дело?!

Карала. Январь 1942 года



*Одна из самодельных
лагерных книжек
в берестяной
обложке
из архива Галины
Поневежской*

Часть 5
Малоярославец
Ташауз



Алина КИМ
Детство за 101-м километром

Юлику – внуку

Малоярославец –
Город на горе.
Он в садах, красавец,
Манит всех к себе.

Из сочинения ученицы
семилетней школы Клавды Смирновой

Мы приехали в Малоярославец в конце лета 1945 года. Это был небольшой провинциальный город из одноэтажных деревянных домиков, утопающих в вишнево-яблоневых садах. Город пересекало Московско–Брестское шоссе (чаще называвшееся Варшавским или просто Варшавкой), которое делало крутой поворот к центру города и, обогнув затем городской сквер, снова выпрямлялось и убегало дальше – на юго-запад.

Между двумя изгибами дороги сосредоточивались все основные государственные учреждения – от керосиновой лавки и «чайной» до милиции и горисполкома – эти учреждения занимали двухэтажные деревянные или кирпичные здания. В центре этой части города возвышалась громадная посеревшая от времени Успенская церковь, против нее была небольшая площадь, где происходили праздничные митинги и демонстрации, за ней – скверик с неперменной статуей Ленина. Сквер упирался в белое прямоугольное здание – остатки Казанского собора, построенного дедом А. Н. Радищева, – это был кинотеатр. Недалеко от него вдоль спускающейся по склону белокаменной дороги стоял полуразрушенный, но сохранявший свое величие и красоту Черноостровский монастырь.

Церковь, монастырь, обелиски с чугунными пушками старинного образца были воздвигнуты в память о кровопролитных боях 1812 года, после которых началось окончательное отступление наполеоновской армии. Следов недавнего фашистского нашествия не ощущалось, за три года после освобождения город успел зализать свои раны.

Самое замечательное в Малоярославце начиналось там, где его окраинные улочки на склонах холмов превращались в почти «горные» тропинки, то круто, то полого сбегаящие в просторную долину реки Лужи.

С вершины самого высокого холма на старом кладбище панорама речной долины открывалась во всем своем великолепии. Она виделась огромной, созданной искусным мастером чашей, по дну которой среди картофельных полей, лугов и болот весело петляла речка

*Свято-Николаевский
Черноостровский
монастырь.
Фото
Олега Кориунова.
Малоярославец,
1970 год*



в молчаливом сопровождении старых раскидистых ветел, а края этой чаши образовывались полукольцом городских и Ивановских холмов и возвышавшейся за рекой Буниной горой, заросшей лесами, с желтой полоской Боровской дороги почти посередине.

Малоярославец имел одно, как теперь говорят, судьбоносное свойство: он находился в 120 километрах от Москвы. Поэтому после войны в нем стали селиться люди особой категории, которая определялась тремя словами: «сто первый километр» или просто – «сто первые».

Это были москвичи, в основном – москвички, которым запрещалось жить в родной столице, а черта оседлости начиналась для них за радиусом в 100 км от нее. Ни за что ни про что они отбыли 8-, 10-летние «срока» только потому, что были женами ни за что ни про что погубленных властью мужей. Государство милостиво разрешило их вдовам не только проживать в ссыльных местах, но и работать, и даже соединиться со своими детьми, с которыми когда-то в одночасье оно их разлучило. Для этих пострадавших женщин Малоярославец стал почти Обетованной землей, для их детей – страной детства. Уютный тихий провинциальный город будто самим Господом Богом был предназначен для этого – с добротой своих лесов, рек, лугов и бесконечным милосердием своих жителей. Но и заброшенные судьбой в этот город люди безусловно стали для него явлением.

Таким явлением была группа 40-, 50-летних женщин самых разных специальностей, которых собрала под крышей городской семилетней школы ее директор Мария Ивановна Жильцова. Среди новопришедших педагогов профессиональным учителем была только мама – Нина Валентиновна Всесвятская.



Учителя и ученики во дворе семилетней школы в 1945 году (слева направо): сидят на траве: 2-я Надя Качулина, 5-я Клава Смирнова, Лена Ленина, пионервожатая Валя Корнеева. Сидят на скамье: 2-я Евгения Алексеевна Добромыслова (учитель географии и младших классов), Ревекка Наумовна (учитель Конституции), Мария Ивановна Жильцова (директор школы и учитель истории), Елена Львовна Маржович (библиотекарь и руководитель кружка художественного чтения), Майя Козлова. Стоят: Валя Бочарова, 4-я Нюра Мартынова, 7-я Нина Валентиновна, ее дочь Аля, Ольга Александровна Беляева (учитель математики), Люся Смирнова (дочь директора), предпоследняя в ряду Елена Вацлавовна Воеводская (учитель широкого профиля, по профессии инженер), Гена Ништал

Как на плохой любительской киноленте, вижу движущихся по слабо освещенной комнате чужих людей. Помню свое детское ощущение странности того, что происходило. Не сомневаюсь, что так впечатался в памяти ночной арест мамы, поскольку на следующих «кинокадрах» – множество детей в каком-то доме, в каком-то дворе и среди них непривычно отсутствуют взрослые. Некоторые дети знакомы – они жили в нашем доме. Там же – темный зал, балкон, с которого я смотрю на огромный экран с летящими прямо на нас арбузами. Потом меня кто-то из родных за руку уводит из этого дома. Все это совпадает с рассказом маминной сестры тети Тали. 9 марта 1938 года она была на вечере служащих Госбанка в честь 8 Марта, вернулась поздно. А утром из Нары приехал потрясенный дедушка Валя и сказал: «Вчера Нину арестовали». С ним была наша няня Нюра, при которой все произошло. Ночью пришли чекисты, среди них нашелся приличный, шепотом он посоветовал няне ехать вместе с детьми (мне было пять, брату Юлику чуть больше года) и запомнить адреса

детприемников, где скапливались дети арестованных. Так она и сделала, а утром поехала к родителям мамы в Наро-Фоминск с ужасной вестью. Юлика нашли быстро, его имя было в списке детей приемника, и вскоре его, голенького и плачущего, показали для «опознания» в окне. Меня родные нашли не сразу. В моем детприемнике их привели в комнату, где стояли столы, заваленные папками с фотографиями детей, – может быть, найдете своего ребенка. Они перерыли сотни детских фотокарточек, но моей не было. «Значит, не успели снять, приходите еще раз», – сказали им, но и на следующий день карточки не было. Тогда дедушке посоветовали походить по детприемнику. К счастью, я его увидела и окликнула. А могла бы и затеряться, пополнить ряды приставкинских «кукушат»... Ареста папы я не помню, его увели несколькими месяцами раньше. Позже я узнала, что очень часто женщин арестовывали накануне или в день 8 Марта, прямо с банкетов, нарядных, не успевших проститься с детьми, – такое садистское удовольствие доставляли себе служители Лубянки.

С отцом Кимом Чер Саном мама встретилась в Хабаровске, куда она ринулась по окончании МППИ подальше от Москвы по причине личной драмы: любимый человек оказался женатым. «Отменный дядя», – писала она своей подруге в Ленинград о новом друге – корейце, который слыл там очень образованным человеком и по-корейски, и по-русски и работал переводчиком. «Дядя» тоже был женат, но не по любви, как он уверял, и в 1931 году Нина и Чер Сан уже супругами приезжают в Москву. Через некоторое время отцу как переводчику «Издательства товарищества иностранных рабочих в СССР» дали комнату в Капельском переулке, в доме № 13, где жили иностранцы, где появились мы с братом, откуда в 1937 году один за другим стали исчезать люди, откуда увели и больного туберкулезом, лихорадящего Кима Чер Сана. Домашний архив отца – две фотографии и две страницы его биографии, извлеченные в 1956 году на Лубянке из почти пустого «дела», справка о реабилитации и «Свидетельство о смерти» в феврале 1944 года, где в графах «место смерти» и «причина смерти» не было никаких сведений. Но в 1993 году в прокуратуре нам выдали новую справку, где черным по белому написано, что отец был расстрелян в феврале 1938 года. Значит, когда арестовали маму, его уже не было.

В памяти близких отец – веселый, умный, талантливый человек (он успел поучиться в ГИТИСе на режиссерском факультете). Моя память сохранила его только в двух эпизодах: новогодняя елка, я вместе с другими детьми сижу за столом, и папа наливает нам чай в кукольные чашечки, и еще – надев противогаз, отец носится за мной по квартире, а я визжу от страха и счастья...

Дети не выбирают время и место рождения и принимают явленный им мир как данность – будь то роскошная вилла или воюющие во круг снаряды. Большой части нашего поколения было дано детство без родителей (позже полетят и бомбы). В отличие от «кукушат» и многих знакомых мне ровесников, наши родные нас не бросили, любили и заботились о нас. До войны мы жили в Наре с бабушкой Елизаветой Осиповной Успенской и дедушкой Валентином Васильевичем Всесвятским, оба они были врачами. Была у нас и няня Ганя, которую Юлик скоро стал называть мамой. Во мне же, видимо, что-то затаилось, так как, увидев однажды похоронную процессию, я сказала идущей рядом тете Тале: «Вот так и мою маму унесли». Но потом от мамы стали приходиться письма и даже бандероли с блузками, вышитыми крестиком самой мамой, всю жизнь ненавидевшей рукоделие! Особенно мы радовались самодельным книжкам с маминими стихами, аккуратно написанными полупечатными буквами с наклоном влево, и яркими веселыми иллюстрациями Лизико Кицмарашвили (она отбывала срок как жена расстрелянного тбилисского партийного секретаря Гавриша; теперь ее работы есть в Музее народного творчества в Тбилиси). Этот самиздат тиражом «1 экземпляр» посвящался различным событиям в нашей жизни, о которых лагерницы узнавали из наших писем. Так, после небольшого промокания нашего дома из-за лопнувшего водонапорного бака мы получили книжку, где была развернута картина грандиозного наводнения в нашем доме с реками в коридорах, дождями с потолков... Однажды у Юлика курица вырвала из рук булку. Это породило замечательную «Юлину книжку» со стихами, ставшими для нашей семьи классическими: «Няня и Юлик купили бублик, бублик румяный просится в рот, Юлику няня бублик дает. Вкусно бублик кушать на улице, шла в это время по улице курица, курица очень была голодна, бублик румяный схватила она» и т.д. Булка была заменена бубликом, конечно, ради рифмы с именем героя. Я носила эти книжки в детский сад, читала вслух своей группе. Это была наша первая школа творчества, юмора. Позже мы узнали от мамы, что книжки-самоделки посылались и по другим адресам: сыну Лизико Юре Гавришу в Тбилиси по случаю первого в жизни первого сентября, мальчику Роллику в Баку, сыну венгерской коммунистки Отто Келлену в Будапешт. Вот отрывки из этих посланий (в виде книжек нам их не удалось увидеть, мы их прочли в маминих лагерных тетрадках):

ПЕРВОЕ СЕНТЯБРЯ

В это утро очень строго
Солнце глянуло в окно,



Лизико
Кицмарашвили.
1951 год

Но напрасная тревога –
Юра встал уже давно...

Книги Юрины в портфеле,
Завтрак с вечера готов.
Почему-то еле-еле
Ходит маятник часов...

Надоело Юрке ждать:
Этак можно опоздать!..

Пахнут краскою и клеєм
Стены, парты, потолок.
Все живее, веселее
Говор, смех и топот ног.

Луч упал на подоконник,
Озарил ребят и класс.
Юра Гавриш, новый школьник,
Сел за парту первый раз.

Август 1940 года

Тогда же были написаны стихи для Отто, увлекавшегося изготовлением моделей планеров:

...И будет сердце радостно биться,
И будет Келлен счастлив и горд,
Когда его легкокрылая птица
Возьмет шутя мировой рекорд...

Так мечтают оба упрямо
Отто и мама его. И сейчас
Стих этот будет приветом от мамы
Сыну, идущему в первый класс.

К своему одиннадцатилетию получил в апреле 1940 года «принесенные ветром» несколько маминих слов бакинец Роллик:

Крепким, здоровым и смелым,
Мой мальчуган, расти.
Хочу, чтобы солнце горело
Всегда на твоём пути...

Ветер прильнул на подушку
Тихо, как в поле трава,
Прошелестел на ушко
Мальчику эти слова.

И улетел, шаловливый,
Весна за окном цвела,
Роллик проснулся счастливый
Двадцать шестого числа.

Так далекие мамы приобщались к жизни своих детей, и Нина Все- святская, как могла, помогала им в этом.

В 1940 году бабушка послала детские стихи мамы в Детиздат и получила оттуда замечательный ответ: «...есть что-то в стихах ясное, простое, спокойное, согретое близостью (!) живого ребенка». Автор письма А. Чумаченко настойчиво приглашал автора стихов для «личного контакта».

Мы тоже начали посылать свои книжечки. Помню только три строчки из них: «...день стоял хороший, Ворошилов приказал всем надеть калоши».

7 июня 1940 года умер дедушка Валя от инфаркта. Это случилось после его поездки к маме в Сегежский лагерь.

22 июня 1941 года мы укладывали продуктовую посылку для мамы. Когда мне объяснили, что началась война, я заплакала: «Что же, теперь от мамы перестанут приходить письма?!»

Буквально за несколько часов до занятия Нары немецкими частями появилась тетя Таля – в тот самый момент, когда мы оделись, чтобы уходить в деревню. Сели в подводу, больничная лошадь привезла нас на битком набитый вокзал. Если бы не военный врач, который сжалился над нами и посадил нас в свой санитарный поезд, быть бы нам всем в оккупации...

Поселились мы в подмосковном поселке Ухтомское по Казанке, в доме для банковских служащих, в комнате, где жили тетя Таля, ее невестка тетя Лиза с дочерью Инной и племянником Витей, тоже бежавшим из Нары. Отец Инны, мамин брат Лев, был на фронте. В эту же комнату втиснулись и мы – двое детей, няня Ганя и бабушка. Потом вернулся раненый дядя Лева, нам присоединили соседнюю комнату. Несмотря на тесноту, в доме поддерживался культ чистоты: белые скатерти, занавески, чехлы, семь белых слоников сверкали на комод.

От мамы перестали приходить письма. И вдруг однажды к нам приехал незнакомый человек с письмом от мамы – он увидел, как



*Бабушка Лиза
с внуками Инной,
Алей, Юликом
и няней Ганей
в Ухтомской.
1943 год*

редачи их в систему Карлага – государство почему-то заботилось об эвакуации не только заводов и фабрик, но и лагерей с их населением.

Мне никто из взрослых не объяснял, куда исчезли мои родители, а я почему-то не спрашивала. И только однажды троюродный брат Витька взял лист бумаги, нарисовал дом с окнами в решетках, написал на нем «Тюрьма» и сказал: «Здесь сидит твоя мать». – «За что?» – спросила я. «За аборт». Мне было лет девять, какое-то представление об аборте я имела, ответом удовлетворилась и жила с этим знанием много лет. Об отце все молчали, но и ничего дурного не говорили никогда.

Когда Василий Аксенов впервые приехал в Москву из эмиграции, он произнес с телеэкрана страшные, но честные слова о своем детстве без родителей: «Я жил так, будто их не было, – из инстинкта самосохранения?» У нас с мамой, к счастью, этого не случилось, ее присутствие мы ощущали постоянно, но с отцом было точно так же – его как бы не было. Где, когда, в каких мирах можно найти аналогии такому – человек, может быть, есть, но его нет, и узнать о нем абсолютно негде...

И вот летом 1945 года мне сказали, что скоро вернется мама. Наступает этот день. Волнуясь, я выбегаю за калитку и вижу выходящую из пристанционного основного лесочка худенькую, коротко остриженную женщину с узелком в руках и понимаю, что это и есть моя мама. Бегу ей навстречу. Все остальные ждали дома, видимо, нелегко было смотреть на нас. Мама вошла в дом, я осталась во дворе с подругами и только слышала из окон нашей комнаты голоса тетюшек и то ли смех, то ли рыдания бабушки (эти звуки у нее были почему-то одинаковыми). К концу дня у меня постепенно сложилось радостное

письмо выбросили из проходящего мимо поезда, все понял, подобрал его, разыскал нас по адресу на конверте. Все так растерялись, что даже не узнали, как его зовут. Из письма следовало, что всех карельских узников везут в Казахстан для пе-

ощущение того, что для меня началась совершенно новая, удивительная жизнь. Мама ничего особенного не говорила и не делала в тот день, а только поглядывала своими большими голубыми глазами и очень легко все разрешала. Особенно поразило разрешение взять для прыгалок шикарную толстую веревку, которой были перевязаны ее вещи, на прыгалках мы тогда просто помешались и скакали с подругами с утра до вечера. И нельзя сказать, что наша свобода прежде ущемлялась взрослыми, им едва хватало сил нас накормить и одеть, и мы носились по всему поселку, играя в казаков-разбойников, прячась в бомбоубежищах... Нет, просто у меня в тот день появилось особое ощущение собственного значения в этой жизни.

Вскоре мама занялась поисками работы и жилья за пределами 100-километрового радиуса, которые и привели нас в Малоярославец.

В Малоярославце было множество школ – средняя, семилетняя, монастырская (на территории монастыря), железнодорожная, радищевская (в село Немцово, слившееся теперь с городом, было разрешено вернуться из сибирской ссылки А. Н. Радищеву, так что этот город можно считать традиционным местом проживания ссыльных; правда, в 1970-х диссидентов вселить туда не удалось – город стал закрытым).

Маму приняли словесником в семилетнюю школу, там же мы и жили. Это было длинное кирпичное одноэтажное здание, расположенное несколько в стороне от первого поворота шоссе. От него к школе вела дорожка, обсаженная липовыми прутиками-саженцами. В левом конце здания было крылечко, за ним – тесный коридорчик с тремя дверями: правая открывалась в школьный коридор, левая – в кладовку, средняя – в нашу комнату. В ней уже жила школьный завхоз тетя Настя. К нашему приезду в комнате вдоль стен поставили четыре железные койки с досками вместо сетки, посередине стоял стол с табуретками, у окна – кадка с солеными огурцами, слева при входе – печка с плитой, за ней – скамья с ведрами. Маму после лагерей было трудно удивить, а уж как наша семидесятилетняя бабушка восприняла новое жилье, можно только гадать. Мы же с братом с абсолютной легкостью приняли эту полную бытовую неуютность. Тетушкин накрахмаленный уют остался где-то в другой жизни – вообще, появление мамы стало для нас точкой отсчета нового жизненного этапа. И начался он в семилетней школе. Именно в пришкольном аскетическом жилище прошла лучшая, самая интересная и безмятежная половина из шести лет жизни в Малоярославце. Я поступила в 5-й «б» этой школы, Юлик – во второй класс.

ТЕТЯ НАСТЯ

Нашим первым ангелом-хранителем на новом месте, делившим с нами и стол, и дом, стала завхоз тетя Настя. Она была хозяйкой дома – по праву первого жильца, по занимаемой должности, а главное – по способности что-то достать, придумать, чтобы всем нам не пропасть от голода и холода.

Тетя Настя выглядела очень колоритно. Из треугольных, прикрытых нависающими складками глазных щелочек лукаво поглядывали буравчики умных глаз, одухотворявших ее простое худощавое с выступающими скулами крестьянское лицо. Ее немислимый жаргон был очень заразителен, и вслед за ней мы стали с удовольствием коверкать слова: завхоз – «захвост», метр – «метра». Откуда-то в нашем жилище появилась тощая серая кошка. Однажды она растянулась на печке, вытянув в обе стороны лапы. Тетя Настя посмотрела на нее и ахнула: «Глянь, какая длинная, – метра!» Кошку так и стали называть – Метра. Она оказа-



*Завхоз тетя Настя
с Алей и Валей
Черновой*

лась очень плодovitой, часто выдавала нам кучки сереньких котят, но тут же набрасывалась на них, и мы еле успевали спастись их от материнских зубов.

По выходным дням к нам частенько приезжали тетя Таля или дядя Лева и, конечно, всегда привозили чего-нибудь поесть.

Вечно голодные, мы с нетерпением их ждали и с утра начинали жадно глядеть на дорогу. А тетя Настя буравила нас своими треугольничками и посмеивалась: «Не приехали они, и не приедут они!» И если действительно никто не приезжал, тетя Настя, глядя на наши кислые физиономии, продолжала нас подначивать: «Не приехали они, и не приедут они!» – и так до тех пор, пока мы не начинали смеяться вместе с ней.

В первую, самую голодную весну тетя Настя спасла нас от полного истощения тем, что научила делать лепешки из перезимовавшей картошки. Она брала нас с собой на близлежащие колхозные поля, где мы выбирали из мокрой весенней земли черно-серо-бурые глыб-

ки, бывшие когда-то картошкой. Был даже азарт набрать полную корзину этого крошева. Дома эту массу разминали и на каком-нибудь жире (а то и без него) жарили оладьи. Самое удивительное было в том, что они казались вкусными!

Замечательно наш «захвост» встречала в школе комиссия. Она вышагивала впереди всех и приговаривала время от времени: «Ну что ты скажешь, как комиссия, так грязь, пес-те-дери!»

Дела она все быстро, энергично и размахисто.

Перед праздниками она привозила тонну фигурных розовых и коричневых пряников и крупных кусков разноцветного постного сахара. Все это великолепии она сваливала прямо на пол в нашей комнате, мы с подругами усаживались у подножия этой сверкающей горы и аккуратно раскладывали гостинцы в бумажные пакеты для каждого ученика семилетней школы.

Для учителей на праздничный вечер тетя Настя загодя готовила из сахарной свеклы довольно хмельную бражку, а на закуску в большом цинковом стиральном тазу намешивала винегрету.

Мы, дети, тоже получали свою долю и бражки, и винегрету, тети-настина антисанитария нас не сильно смущала, и, пока шел праздник в учительской, мы с подругами веселились в нашей комнате.

Но однажды безалаберность «захвоста» обернулась несчастьем. Чтобы запираться изнутри дверь в школьный коридор, тетя Настя прибила к ней крючок, а вместо петли вколотила двумя пальцами старый гнутый ржавый гвоздь. Но скоро острый конец гвоздя выскочил и угрожающе развернулся в сторону нашего коридорчика. И когда мама попросила меня: «Аля, сходи в учительскую, посмотри, когда у меня урок начинается», я побежала и тут же правым глазом напоролась на гвоздь, ибо тетя Настя прибила его так, чтобы я сама могла отпирать и запирать дверь, – как раз на уровне моих глаз. Из глаза хлынула кровь, я заорала на всю школу, влетела в комнату, мама с бабушкой бросились ко мне. Бабушка как истинный профессионал властно потребовала: «Открой немедленно глаз! Ты им видишь?» С трудом я разлепила веки и сквозь красную пелену что-то увидела. «Ви-и-жу», – всхлипнула я, и всем стало легче. Оказалось, гвоздь порвал только веко. Меня отвели к главному врачу, он наложил мне швы на рану, я вытерпела, а мама упала в обморок.

Через много лет по «закону парности случаев» у Юлика случилась точно такая же травма, но на благородной почве – на танцах он заступился за девицу, и ее подвыпивший кавалер стукнул Юлика по очкам – линза треснула, и ее осколок врезался в веко правого глаза. Юлик был учителем вечерней школы – ох, и досталось его обидчику от его учеников – камчатских рыбаков!

Чертыхаясь и проклиная все на свете и самое себя, тетя Настя вывела гвоздь. Но в общем-то мы с ней отлично уживались, и, когда она уехала куда-то к родным, нам долго ее не хватало.

Правда, скоро на ее место в нашу «резиную комнату» вселилась славная и веселая бухгалтер Люба.

НИНА ВАЛЕНТИНОВНА

Семилетка стала нашим домом в буквальном и переносном смысле слова. Душой этого дома была мама – Нина Валентиновна. Таких одержимых педагогов, каким была наша мама, я в своей жизни больше не встречала. Школа была ее жизнью, любовью, творчеством. Само слово ШКОЛА как-то особенно звучало в ее

устах – с оттенком грусти по недостижаемому раю, когда государство дважды отлучало ее от любимого дела, очищая идеологический фронт от чуждых элементов.

«Хочу немногого, – писала мама подруге из Темниковских лагерей, – маму, детей и школу. Мамы нет, детей нет, школы нет». Такая шкала ценностей. И дорвавшись после восьми лет неволи до школы, мама всю неизрасходованную, невостребованную энер-

гию педагога вложила в работу в семилетке. Отдача была быстрой. Все, что задумывала любимая учительница, немедленно и с не меньшей увлеченностью подхватывалось учениками. Центром этой бурной жизни стали замечательные девочки 5-го «б», с которыми я быстро подружилась: большеглазая Рита Бавыкина – наш лучший художник, Валя Чернова – живая, талантливая, артистичная, Майя Козлова – хохотушка и балерина, курносая Нина Асапова (Асапчик, в раннем детстве ей на нос шкаф свалился и перебил переносицу, что почему-то не испортило ее лицо, а придало ему неповторимую прелесть). Асапчик была неутомимой певуньей и совершенно гениальной подсказчицей. Училась в нашем классе и дочь директора – скромная и обаятельная Люся Смирнова. Пятым классам особенно повезло – они учились у Нины Валентиновны все три года – до перехода в среднюю школу. Повезло, потому что учиться у мамы оказалось очень интересно.

Уроки русского языка и литературы были напряженным творческим процессом, в который включался весь класс. Мы постоянно играли, сочиняли, соревновались. Лес поднятых рук, смех, шум – обыч-

ная картина на этих уроках. Очень много учили наизусть, на уроках разыгрывали целые спектакли, роли помогала готовить Елена Львовна – руководитель кружка художественного чтения. Охотно и часто писали сочинения на разные темы. Например, давалась ключевая фраза: «Ветка, на которой я сидел, обломилась, и я упал на землю», вокруг нее строился сюжет. Это будило воображение, из наших сочинений можно было составить сборник приключенческих рассказов. Писали и стихи, так родилась замечательная поэма Клавды Смирновой о Малоярославце. С нетерпением ждали зачитывания сочинений, разбора грамматических и стилистических ошибок, далеко не безобидного для автора – учительница была остра на язык.

В результате мама научила нас русскому языку так, что любую грамматическую ошибку, лишнюю или недостающую запятую я воспринимаю как личное оскорбление, особенно если вижу ошибки в прессе, а их становится все больше. Готовилась к урокам мама очень тщательно – разрабатывала сценарий, вслух репетировала свой доклад, добивалась большой выразительности чтения стихов, прозы (весь класс рыдал, когда мама прочла «Муму»). К маме стали приходиться за советом учителя, особенно часто – молодая словесница Вера Тимофеевна. У нее было грубоватое лицо, басовитый голос, резкие движения, за что мы ее прозвали Мамелфой Тимофеевной (по имени известной лермонтовской героини). Как-то они с мамой готовились к уроку по Чехову, я делала свои уроки, и вдруг из их бормотания вырывается мамин нежно-тоскливый голос: «Мисю-усь, где ты?» и вслед за ним – Мамелфин бас: «Мисюсь, где ты?» Вскоре опять: «Мисю-усь, где ты?» – и за первой партией – вторая: «Мисюсь, где ты?» Я засмеялась, обе учительницы, поняв, в чем дело, тоже. И так у нас повелось – как только у матушки появлялись сентиментальные нотки или настроения, я затыгивала: «Мисю-усь...»

Через несколько лет, когда мама с таким же увлечением работала в ташаузской школе, я страшно обиделась на нее. Конец августа, мне пора возвращаться в Москву, а мама уже готовится к первому уроку в школе, до которой ее вновь и окончательно допустили в 1953 году. Мне из дому выходить, а она сидит с «Анной Карениной» в руках, читает сцену свидания Анны с сыном и на все лады повторяет: «Серезжа! Серезе-жа...», ища нужную интонацию. А родная дочь уезжает на целый год...

Мама, конечно, была нашим первым просветителем. Все, чем увлекалось их поколение, вошло в нашу жизнь: МХАТ и театр Мейерхольда, Блок, Пастернак, Ахматова... Но книг не было, были рассказы и самодельные тетради из желтой оберточной бумаги, мелко испианные стихами Пастернака, Пушкина, Тютчева, поистершиеся за восемь лет таскания с этапа на этап.



Слева направо:
Рита Бавыкина,
Валя Чернова, Аля



Нина Асапова



Люся Смирнова

Рассказчицей мама была отменной. Она пересказывала целые книги, создавая свои варианты, обкатанные в лагерях. Бывало, во время дальних походов на колхозные поля мы окружали ее и заворожено слушали. Так постепенно, с «продолжение следует», была нам пересказана «Джен Эйр». Позже, когда мне попала эта книга и я наконец прочла оригинал, он показался мне бледным вариантом маминого сочинения.

Мне и Юлику мама рассказывала и о лагерях – но как! Это была серия романтических приключений! Вот она пасет овец в казахстанских степях, читает им стихи, однажды чуть не заблудилась в необъятной степи без ориентиров. Об этом периоде была написана настоящая пастораль:

ПЕСЕНКА МАЛЕНЬКОГО ЧАБАНА

Скорее! Солнышко встает!
Ой ти-ра, ти-ра, та-ра!
А ну-ка в степь, за мной, вперед,
Веселая отара!

Ягнята, прыгая, бегут,
Звенит навстречу утро.
Травы росистый изумруд
Играет перламутром...

Эти солнечные стихи мама прислала из лагеря с объяснением слов «чабан», «отара» и других.

А вот она учит казашат разных возрастов в глиняной мазанке в поселке Батык или лихо работает багром, вытаскивая бревна из карельской реки. В стихах 1940 года это звучало так:

Солнце медленно всходило,
Догорел совсем костер.
Завизжали снова пилы,
Мы беремся за багор
И привычную рукою
Тянем лес. Пльвуют дрова
И несется над рекою:
«Леса, леса подавай!»

Разве можно из этих строк понять, что речь идет об изнурительном подневольном труде? Комсомольцы на стройке коммунизма, да и только. Очень редко мама позволяла себе грустить в лагерных стихах.

Мамины лирика и юмор мощно поддерживались лирикой и юмором лагерных подруг. Лизико Кицмаришвили, Лидия Домбровская, венгерка Иоланта Келлен-Фрид, Клара Корецкая – родственница Михаила Кольцова. Эти и много других прекрасных имен узнали мы от мамы. Об этих женщинах она рассказывала с огромной нежностью. Они помогали друг другу достойно пережить то, что с ними стряслось, делясь всем духовным богатством, накопленным до ареста: читали стихи, лекции по искусству, учили друг друга иностранным языкам – словом, в результате маминих рассказов у меня сложилось впечатление, что их жизнь в лагере, духовно насыщенная, наполненная чувствами дружества, братства, была куда интереснее, чем наша – по эту сторону колючей проволоки. Думаю, что я была не так уж далека от истины, ведь именно окружающие тебя люди определяют состояние твоей души, а это главное и ничем не заменимо. А в экстремальных условиях все лучшее, что есть в человеке, принимается другими с особой остротой и благодарностью. Эти чувства окрашивали мамини воспоминания о лагерях, а тяготы, унижения оставались за скобками, да и щадила она наши детские сердца. Конечно, Витькина версия про аборт как причину ареста таяла, как дым, но и правды нам никто не открывал. Кроме расплывчатого «мы попали под колесо истории», я от мамы ничего не слышала.

Позже я не раз спрашивала, почему она нас долгие годы держала в таком идиотском неведении. Мама на эти вопросы реагировала болезненно – конечно, она ограждала нас от реальности, но она и сама до конца не знала масштабов подлости нашего рая. И это так – потеряв любимого мужа, отсидев восемь лет, мама к нашему выпуску написала стихи, которые кончались такими строками:

Счастливый путь! Для вас открыты дали,
Путь творческих дерзаний и труда,
Улыбкою вас провожает Сталин,
Вперед ведет кремлевская звезда!

Но и после XX съезда у большей части этого репрессированного поколения дальше критики Сталина мысль не ушла. Начались яростные споры между поколениями отцов, которых не ожесточили ни Потьма, ни Кольма, и детей, которых новые знания ожесточили даже очень. В своей поэме «Москва, 1963» Юлик как всегда очень точными словами выразил состояние наших душ и умов:

Мы – принимаем.
Мы должны принять
Угрюмый груз невероятных знаний,
Груз нами не испытанных страданий,
Убийств, предательств... что перечислять?

Петр Якир во время очередной дискуссии у него в квартире на Автозаводской сердито кричал: «Нет, вы идите, послушайте, как Нюська Бухарина советскую власть защищает!» Таким защитником до конца своих дней была и мама, но, видимо, эта вера в величие идей социализма и помогла многим выжить.

А тогда в Малоярославце мы, дети, просто жили, ни о чем не ведая, в том числе и о своей «ссылности».

НАША САМОДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Мама стала достойной продолжательницей угорскозаводских просветительских традиций. В институте она была яркой синезубницей. Даже для меня, единственной пятилетней зрительницы, они с подружкой Зиной Юдушкиной разыгрывали «Сказку о рыбаке и рыбке». Мама играла старика, тетя Зина – старуху, спинка стула была окном то избы, то терема. Помню свою жалость к старику и ненависть к старухе. Тогда же мама водила меня в школу, где преподавала (№ 172 до сих пор) и где поставила «Маленького Мука». Запомнилось из этого спектакля множество красивых пестрых девушек-кошек.

Конечно же, в малоярославецкой семилетке мама широко развернула самодеятельность, и ученики от 5-го до 7-го класса увлеченно играли и пели все подряд. Мы ставили пьесы, литературные композиции, плясали, выстраивали пирамиды. Даже заболев пневмонией, вся в крапивнице от красного стрептоцида, я вылезла на сцену играть Зеркальце в «Сказке о мертвой царевне». Вечера обычно проходили в широком школьном коридоре: в одном конце его сдвигали столы, служившие «театральными подмостками». А театральной уборной была опять же наша комната – все кровати, стол, стулья были завалены костюмами, одеждой, артисты сушили грим, гримировались, но никого из кильцов комнаты это не раздражало, все включалось в эту праздничную суматоху.

Как-то я играла роль партизана – корейского мальчика Ли в маминой пьесе, навеянной папиными рассказами о том, как он подростком сбежал к партизанам сражаться с японскими империалистами. Сидя в «сараях», мой герой отбивался от врагов настоящими березовыми поленями.

Однажды мы с Майей Козловой плясали гопака, бусы на нас были елочные, вдруг моя нитка лопнула, бусы посыпались на пол и страшно хрустели под нашими ногами, зал хохотал, а мы как истинные профессионалы невозмутимо доплясали свой гопака. Но, пожалуй, самым любимым жанром были сатирические частушки маминого сочинения про ее учеников. Чаще всего мы их пели с Асапчиком. Они были ехидные и назидательные одновременно, вроде такой:

Над Блуартом Блуартенок
Часто лобит подшугить,
Пожелаем мы Блуарту
Блуартенка победить!

После запева мы давали публике посмеяться и, приплясывая, пели припев:

Чирики-гопчики,
Чирики-гопчики,
Чирики-гопчики,
Чирики-гоп-гоп-гоп!!!

В домашнем сочинении по стихотворению Лермонтова «На смерть поэта» Надя Качулина заклеила светское общество, оклеветавшее «дивного гения», очень сильными словами: «В гибели Пушкина были виновны светики-клеветники!» Такое словотворчество обернулось для Нади следующим сатирическим куплетом:

Не Миклухо, не Маклай –
Открывает Надя край!
А живут в нем Светики,
Светики-Клеветники!

Играли мы в семилетке не только на сцене. Дома у нас часто собирался наш актив, и мы играли в самые разные игры – письменные, устные, театрализованные – буримы, шарады, «знаменитые люди», «характеры» и множество других игр, которые прибыли к нам в основном из лагерных барачков. Они требовали сообразительности, юмора, артистизма. Самой находчивой в этих играх была Валя Чернова. До сих пор помню свою досаду, когда я никак не могла догадаться, что меня загадали Ломоносовым, даже после того, как Валя потрогала мой нос – цел ли он?



Майя Козлова

О, балерина нашей
сцены!
Греми и лавры
получай!
Но в пышном храме
Мельпомены
Науки храм –
не забывай!

(Юлик Ким, 4-й класс)

Это были наши «кавээны», «поля чудес», но без дорогих призов в студии.

Был в семилетке и хоровой кружок.

ВЕРА МАКСИМОВНА И ХОРОВОЕ ПЕНИЕ

Вера Максимовна Камионская прошла с мамой почти все этапы большого пути – от Сегежи до Долинки. Это была маленькая энергичная брюнетка с живыми черными глазами и красивым лирико-драматическим сопрано. Она окончила Консерваторию по классу вокала, но из-за отсутствия сценических данных стала аспирантом в отделении музыковедения. В это же время она вышла замуж за польского еврея И. М. Майзлера, талантливого математика, специалиста в области электротранспорта. В 1937-м арестовали обоих. Их маленькая дочка Галя попала в детский дом.

Когда мама укрепилась в Малоярославце, она уговорила директора Марию Ивановну взять Веру Максимовну учителем пения. Так в школе появился хоровой кружок. Кроме классического репертуара наша учительница знала множество детских песен, которые сопровождалась игрой, танцами. Я их запомнила на всю жизнь, пела их сыну, потом внукам.

Пели и современные песни, почему-то Вера Максимовна заставляла нас с Юликом запевать их. Бывало, стоим мы с ним перед хором – два полукорейчонка – и тоненько поем: «На рейде большом легла тишина...». Наверное, это была очень трогательная картина...

Много лет спустя, уже в Москве, Вера Максимовна рассказала мне несколько эпизодов из лагерной жизни.

Как-то в Сегежлаге в барак вошел охранник и спросил, нет ли среди заключенных врача. Врач был, и не один. Вскоре охранник вернулся, держа на руках своего больного ребенка. Вдруг раздался плач, потом еще и еще, и весь барак превратился в одно горькое рыдание – безутешное рыдание матерей по оставленным детям. Перепуганный вохровец опростельно выбежал из помещения.

Во время бомбежки финскими самолетами деревообделочного комбината все работавшие – и вольные, и ээки – разбежались кто куда. Вера Максимовна прыгнула в какую-то яму, там же пряталась и мама. Они ужасно обрадовались, что вместе, и мама попросила: «Верочка, спой, а то страшно!» И Верочка пела, пока не кончилась бомбежка.

Вера Максимовна скончалась в апреле 1990 года. На похороны собрались ее ученики и коллеги по музыкальной школе, что на Кро-

поткинской, где она работала после реабилитации. Из взволнованных слов выступавших на панихиде я поняла, что Вера Максимовна до конца своих дней была центром притяжения для окружающих ее людей, их товарищем, другом, большим музыкальным авторитетом, и не только музыкальным. И до конца дней она верила в победу идей социализма...

ЕЛЕНА ВАЦЛАВОВНА

Елена Вацлавовна Воеводская вернулась из лагерей совершенно седой и больной диабетом, но, как и все наши ссыльные, сохранила силу духа, веселость и даже стройность и спортивность. По специальности она была инженером. В маленьком городе для нее не нашлось работы по профилю, но по какому-то наитию она пришла в школу к Марии Ивановне, и та взяла ее учителем. Может быть, потому, что Елена Вацлавовна была племянницей известного педагога С. Т. Шацкого и можно было предположить в ней природные педагогические способности. И действительно, Елена Вацлавовна стала для школы настоящим сокровищем, так как могла заменить почти любого учителя и при необходимости (вакансии или болезни кого-нибудь) преподавала нам то физику, то математику, то зоологию, то ботанику. И любой предмет она преподносила интересно, нестандартно, наверное, потому, что не проходила педагогических наук. Она унаследовала талантливость Шацких, хорошо рисовала, и мы тоже с увлечением разрисовывали свои альбомы позвонками, лягушками, черепами, бабочками, растениями. Особенно красочно это получалось у Риты Бавыкиной. Елена Вацлавовна неплохо играла на пианино, в нашей жизни она была первым исполнителем классической музыки. На школьном инструменте она играла нам «Осеннюю песнь» Чайковского, вальс Гуно.

Отношения между учителем и учениками были простыми и дружескими. Мы с Еленой Вацлавовной ходили на речку, в лес, она научила нас плавать. Мы подружились и с ее дочерью Катей – красивой тоненькой девушкой с большими синими глазами. Елена Вацлавовна дожила до реабилитации, вернулась в Москву, заходила к нам в гости, но вскоре умерла от пневмонии. В нашей памяти навсегда остались ее удивительно яркие голубые глаза, неунывающая улыбка.

Интересно, что наша семья во всех поколениях пересекалась с семьей Шацких. Сам С. Т. Шацкий был близким другом моего дедушки Валентина Васильевича, когда тот жил в Угодке, а Шацкий руководил колонией детей-сирот в Обнинске. В этой колонии он ввел много новаторского, колония была полностью на самообслуживании. По-



*Вера Максимовна
Камионская
с дочерью Галей*



*Елена Вацлавовна
Воеводская*

том в нашу жизнь вошла Елена Вацлавовна. Наконец, я поселилась в Вадковском переулке напротив дома А. Зеленко, построенного им в 1900 году для воспитанников Шацкого. Это дом-фантазия в шведском стиле – с башенками, лесенками, переходами, обсерваторией, но дети там давно не живут, к сожалению.

ЕЛЕНА ЛЬВОВНА И КРУЖОК ХУДОЖЕСТВЕННОГО ЧТЕНИЯ

Особое место в жизни мамы, школы, в наших детских умах и сердцах занимала Елена Львовна Маркович. В школе она работала библиотекарем. Мягкие черты красивого лица с небольшими карими все понимающими глазами, плавная округлость полнющей фигуры, аристократизм манер – этот благородный облик красивой стареющей женщины никак не совмещался в нашем представлении с жизнью в лагерных бараках. Между тем она пробыла там восемь лет. Нам, детям, об этом периоде не рассказывала, а мы, к сожалению, вопросов не задавали, а точнее – этими вопросами не задавались тогда.

С мамой, конечно, общение было иным. В одном из стихотворений, посвященных Елене Львовне, мама написала:

Вечер ласковый за ставней,
Чай играет янтарем,
О далеком и недавнем
Разговоры поведем.
Мы проходим по дорогам
Только нам понятных дней...



Елена Львовна
Маркович

В прежней жизни Елена Львовна училась художественному чтению в студии МХАТ. И вот нас, полных невежд и несмышленишек, она взялась научить этому сложному искусству. Елена Львовна брала в руки книгу и начинала читать своим низким, глуховатым и одновременно густым и глубоким голосом, картаво выговаривая букву «л». Происходило чудо – самые, казалось бы, обычные слова становились удивительно емкими, текст оживал, расцветивался новыми красками. Эффект достигался самыми скупыми средствами – без жестов, мимики, повышения голоса. Чуть менялась интонация, чуть больше стучался или вибрировал голос и «слова... протирались, как стекло» (лучше, чем Давид Самойлов, сказать трудно). Картавое «л» ничуть не мешало, а, напротив, придавало особую прелесть чтению. «Она поживавь и сказава», – читала Елена Львовна, и мы собственной кожей ощущали сырой, пронизывающий героиню холод. На глазах друг у друга мы становились чтецами.

– «Ти-ши-на... Ах, какая стоит ти-ши-на...» – выговаривала я со сцены, и зал замирал. Никто из нас не стал мастером художественного чтения, но больше всех теле- и радиопередач я люблю слушать прозу наших классиков и великих писателей нашего времени в исполнении Смоктуновского, Яковлева и других прекрасных чтецов, когда каждое слово, которое при чтении «про себя» часто проглатываешь, оказывается значительным, единственно возможным, и из фразы, как из песни, его не выкинуть.

Мама с большим пиететом относилась к занятиям кружка художественного чтения, вместе с нами училась великому искусству Елены Львовны.

Апогеем нашего с Еленой Львовной совместного творчества было мое выступление на вечере Горького. Я уже училась в средней школе, и учительница литературы Надежда Ивановна предложила мне прочесть на вечере рассказ «Однажды осенью». Я этого рассказа не знала, а прочитав, обомлела: героиня – проститутка, все, что происходило под лодкой между ней и героем, очень меня смущало, тон и фон рассказа были мрачно-тяжелыми, – в мое тогдашнее чистоплюйское, оптимистично-комсомольское мироощущение рассказ явно не вписывался. Я отказалась его читать. Надежда Ивановна холодно сказала: «Не ждала я от тебя такого ханжества». Я помчалась к Елене Львовне. К моему удивлению, та одобрила выбор учительницы. Я выучила рассказ, и мы с Еленой Львовной начали над ним работать. Постепенно, ведомая ею, я прониклась большой человечностью этой вещи, хотя излишняя патетика героя несколько мешала и трудно преодолевалась. Особенно плохо давалась фраза: «А было мне тогда семнадцать лет – хорошая пора!» Найти точную ностальгическую интонацию в мои пятнадцать было трудновато.

Вечера в средней школе, как и в семилетней, проходили в широком коридоре, но сцена там была постоянная. Перед ней ставились рядами скамейки, и коридор превращался в актальный зал.

Вечер начался с традиционного доклада о творчестве писателя, потом кто-то прочитал отрывки из очерка Горького «В. И. Ленин». Объявили меня. Слегка волнуясь, я вышла на сцену из двери класса, расположенного сбоку от нее, – из-за «кулис». Начала: «Однажды осенью мне привелось стать в очень неприятное и неудобное положение...»

Вдруг я осознаю, что через несколько минут чтения в зале наступила прямо-таки звенящая тишина. И в этой абсолютной тишине я произношу голосом проститутки Наташи: «Что ты? а? Смерзаешь?.. Ну... ложись на землю... и я лягу... вот! Теперь обнимай меня руками... крепче...» Потом шли сентенции героя: «...Она меня утешала...

Она меня ободряла... Из глаз моих градом полились слезы... До рас-света мы лежали в объятиях друг друга...» Когда я наконец произне-сла последнюю фразу рассказа, какое-то время еще было тихо, а по-том зал буквально взорвался аплодисментами. Я убежала «за кулисы». Аплодисменты затихли, кто-то следующий начал: «Высоко в горы вполз уж...» Я решила проскользнуть на свое место в зале. И вдруг, ед-ва я показалась в зале, снова раздались бурные аплодисменты! Ду-маю, что ребята аплодировали не столько моему «мастерству», сколь-ко нестандартному и даже смелому по тому времени сплошных за-претов выбору рассказа. Но, тем не менее, это был триумф, и этот первый и последний триумф в моей жизни я перечеркнула в тот же вечер «своими руками»...

После антракта я участвовала в хоровой декламации «Песни о Бу-ревестнике». Не очень хотелось мне выступать в этом хоре, но та же Надежда Ивановна надавила: «Неужели тебе трудно произнести единственную фразу?!» А фраза была: «Глупый пингвин робко прячет тело жирное в утесах». И вот мы выстроились дугой на сцене, и звон-кие девичьи голоса вдохновенно поведали залу о взмывающем Буре-вестнике, стонущих чайках и тоже стонущих гагарах, и тут вступаю я: «Глупый пингвин...» Видимо, я вложила столько презрения к пингвину, с таким отвращением вонзила ударное «пи» в жирное те-ло птицы, занесенное по прихоти автора в явно неантарктические воды, дабы олицетворить ненавистное племя мешан, и все это не-ожиданно для меня самой произнеслось таким басом, что зал захо-хотал. Смеялись ученики, преподаватели, остальные участники хо-рового чтения. Этот дружный смех свел на нет и мой недавний три-умф, и весь романтический пафос этого алкающего революции про-изведения, которого, как оказалось, сам автор стыдился.

Мне было до слез досадно в тот вечер, но теперь-то думаю: а мо-жет, мое исполнительское усердие и смех, который оно вызвало, вы-светили неосознанное еще отношение ребят к ходульной романти-ке этого произведения? (Характерно, что мой сын именно по этой причине не пожелал учить наизусть эту «Песню», из-за чего чуть не провалил вступительные экзамены в МГПИ.)

Этот вечер имел продолжение, уже касавшееся моего брата Юли-ка. Вскоре мама проводила горьковский вечер в семилетке. Ей очень понравилась наша с Еленой Львовной работа, и она попросила меня выступить с «Однажды осенью». Но я сочла, что для пяти-, шестикла-шек этот рассказ уж совсем не подходит, и отказалась выступить. То-гда мама поручила Юлику выучить отрывок из повести «В людях», где Алешу хозяйка лупит пучком сосновых лучин за расплавленный са-мовар, а доктор потом вынимает из его спины занозы. Юлик очень

выразительно прочитал свой текст, запнувшись всего один раз (мама следила по книжке и просуфлировала). Брату долго хлопали, особенно те, кто знал, что на заучивание отрывка у него было всего около четырех часов. Но, закончив выступление, Юлик исчез. С тру-дом я разыскала брата в каком-то пустом классе, где он сидел в оди-ночестве и горько плакал, – как он мог забыть слова! Но у Юлика его триумфы были впереди...

В 1949 году кружок художественного чтения при библиотеке се-милетней школы прекратил свое существование. Новая волна ре-прессий вымыла из школы вместе с остальными «сто первыми» и Елену Львовну.

Больше она не работала, а в 1952 году в малоярославецкой боль-нице умерла от тромбоза аорты – ровно за год до марта 1953-го.



Евгения Алексеевна
Добромыслова

ЕЩЕ ОБ УЧИТЕЛЯХ СЕМИЛЕТКИ

Кроме наших любимых ссыльных педагогов (о том, что они ссыльные, дети, разумеется, узнали мно-го лет спустя), среди местных учителей семилетки было много замечательных.

Евгения Алексеевна Добромыслова – учи-тельница младших классов, а у нас – географии. Большая, добрая, с крупным носом и маленьки-ми синими смеющимися глазками, с косой в ви-де короны на голове – вот она ходит прямо по сцене, где играют ее малыши, и следит, держа сценарий в руках, чтобы все шло правильно. «Машенька, ты что же сидишь, вставай, бери Костю за руку!» – и сама подводит Машеньку к Косте, а мы сидим, умиленные, в зале и сопереживаем и ей, и маленьким артистам.

Ольга Александровна – математик, она старше всех учителей, ху-дая, строгая, в неизменном черном платке на голове. Учитель от Бога. С ней у нас не было ни трудных задач, ни сложных теорем, так она умела нам их разжевать, оставалось только проглотить. Но в то же время мне всегда хотелось отличиться перед ней – если задача была с двумя неизвестными, я старалась решить ее с одним и была счаст-лива, когда мое математическое творчество замечалось учителем.

Очень любили мы нашу пионервожатую Валечку Корнееву. Кра-сивая, с пышными рыжеватыми волосами, она принимала самое жи-вое участие в наших играх, самодеятельности. В нее был тихо влюблен наш лучший историк в классе – Гена Нишпал.



Урок математики
в 7 «б». У стены –
Ольга Александровна
Беляева



Валя Корнеева



Мария Ивановна
Жильцова

Сама Мария Ивановна – директор – фигура яркая и противоречивая. Убежденный коммунист, она пристроила на работу в школе целую группу репрессированных; человек широкой натуры, она устроила своим громовым голосом жуткий разнос маме за то, что та согласилась помочь организовать самодеятельность в средней школе. Историю она преподавала очень своеобразно. Весь процесс познания сводился к заучиванию дат. На уроках мы исписывали доску датами битв, сражений, рождений, смертей, нас можно было среди ночи спрашивать любую дату любого события. Но даты забылись, и от наших знаний остался пшик. Но учеников она очень любила, а для нас, подруг ее дочери, их дом стал родным.

РЕКИ И ЛЕСА

*Река должна быть в каждой биографии;
без нее серо детство и неблагоприятна молодость...*

Михаил Осоргин

Малоярославец своего детства я почему-то вижу залитым солнечным светом – в любое время года. Заставляю себя вспомнить дожди, слякоть – были же они – но нет, память их вытеснила. А ненастные месяцы и годы моей дальнейшей жизни высветили общую солнечную тональность детства еще ярче.

Летом наша жизнь сосредоточивалась вокруг уютной луговой речки Лужи. Вместе с мамой, Еленой Вацлавовной мы часами пропадали на реке, нам и в голову не приходило куда-то уехать на лето. Каждый изгиб реки имел свое лицо, назначение и название. На Большом Курбанчике ныряли, ближе к старой мельнице загорали, возле мостика и водокачки плескалась детвора. Речка буквально кишела галдящими детьми и взрослыми на всем протяжении «малоярославецкой» части реки – от Панского до Чурикова. Только в облюбованных рыбаками и прочно закрепленных за ними местах царил тишина.

Чем дальше от города, тем живописнее становились приречные луга, леса и сама река, все гуще цвели в ней белые лилии с яркими желтыми внутри и желтые кубышки, уютно покоившиеся на круглых зеленых листьях-плотиках. Папа Люси Смирновой Сергей Геннадьевич, страстный любитель природы, художник, скульптор, соорудил несколько плоскодонок, и мы стали путешествовать по этим волшебным



Река Лужа

местам, а летом 1949 года прошли Протву и Оку до Поленова с ночевками в стогах сена, в пустующих школах. Очень мы удивились, когда к концу пути, выйдя на берег, почувствовали, что земля у нас колыхнется под ногами, ходуном ходит, и поняли, что такое «нелегкая походка матросская».

Возле старой мельницы росли особенно старые и корявые ветлы, на их кривых стволах можно было устроиться, как в кресле, – на этих креслах мы готовились к летним экзаменам, перечитали всю классическую литературу.

Но у нашей речки были и свои коварства – ямы, омуты, цепкие коряги на дне, о которые ушибались, царапались, а то и застревали в них неудачливые ныряльщики. Иногда это кончалось плачевно, и тогда среди буйно цветущих лугов и деревьев мрачным вестником смерти появлялась машина с красным крестом.

Я дважды чуть не утонула. Как-то мы с Люсей, изображая лодку (двое, сцепившись ногами, гребут руками), заплыли в яму, нас потянуло вниз, мы расцепились, подруга выплыла, а я еще не умела плавать. К счастью, кто-то заметил мою ладонь над водой и вытащил меня.

Второй раз было посерьезнее – осенью Мария Ивановна повела два шестых класса таскать дрова, плывущие по реке. Перед водокачкой мы увидели медленно плывущие по воде бревна. До середины реки был сооружен настил, и мы, кто с него, кто с берега, баграми заворачивали бревна к берегу. Я пошла по настилу, вдруг среди досок оказался провал, и я соскользнула в темную холодную воду. В последнюю секунду я инстинктивно подняла руки и – о счастье! – уцепилась за какую-то балку, подтянулась и вылезла. На меня остолбенело глядели ребята, а Женька Асонкин произнес свое любимое словечко: «Оригинально!» Меня переодели во что-то сухое и отвели домой, то есть в школу. Наверное, мама с ужасом выслушала про это приключение, вспомнив карельский лесосплав.

Леса вокруг Малоярославца были прекрасны. Мы с мамой совершали многокилометровые походы и за железную дорогу за Маклино, и за Панское, а уж лес на Буниной горе мы исходили вдоль и поперек. У нас там были любимые места, которым мы давали свои имена: «Березки», «Сосенки», «Скреповская поляна», – мы знали, где что растет. В «Березках» над речкой ранней весной выпучивались чуть ли не из-под снега бурые сморщенные шляпки сморчков и строчков, я их называла позже мозговыми грыжами земли. На этих же склонах расцветали первые нежно-лиловые подснеж-



Подруги
Люся Смирнова,
Аля Ким,
Рита Бавыкина,
Надя Качулина,
Валя Бочарова.
Лето 1949 года



Сергей Геннадьевич
Смирнов

ники, гусиный лук, ослепительно сверкали желтые звездочки лютиков. Вдоль «Боровской» дороги мы собирали боровики, вокруг елок на просеке – рыжики, за «Скреповской поляной» были маслятные места. За земляникой ходили на «Панскую Сечь». Когда к нам приезжал брат Витя, он поражал нас своей сноровкой – пока мы набирали банку, у него уже был полон бидон. Так же быстро и красиво он окучивал картошку – как по линейке.

Обожали мы и малоярославецкие зимы. Все холмы обсыпались лыжниками. Мальчишки строили трамплины и очень ловко на простыях, конечно, лыжах прыгали с них. Однажды и я решилась прыгнуть, но проделала сальто и отбила копчик. Но и без трамплина хватало

острых ощущений при спуске с горы. Чем выше заберешься, тем с большей скоростью несешься вниз и тем вертикальнее вздымается под лыжами равнина, когда на нее вылетаешь с затуманенными от слез глазами (очками никто не защищался тогда).

Когда в тридцатиградусные морозы прекращались занятия в школе, мы с подругами отправлялись на лыжах в леса. Мы не боялись в зимние каникулы через несколько лесных

массивов ходить на лыжах в деревню к Толе Романову (в которого были влюблены сразу трое – я, Люся и Рита).

Несколько меньше мы любили короткий период сбора урожая, когда приходилось всей семьей, включая Юлика, таскать в гору мешки с картошкой. Но какая картошка вырастала на дальнем огороде возле старой мельницы, где земля была, как тушь, черная! Крупные, гладенькие, розовые и желтые картофелины, вкусные необыкновенно!

А весной – сирень, липы, соловьи на старом кладбище!

И вершина наслаждения – там же, сидя над «Панским обрывом», смотреть долгими летними вечерами, как на дне гигантской чаши сгущается туман...

ГОЛОД И ДНИ ЧРЕВОУГОДИЯ

Единственное, что несколько мешало нашему солнечному восприятию жизни, было почти постоянное чувство голода. Оно было даже сильнее, чем во время войны, особенно в первый год жизни в Малоярославце. Тетинастины усилия спасали, но ненадолго. После сборов первых урожаев с наших огородов стало лег-

че, подножный корм – грибы, ягоды, орехи – тоже помогал утолить голод. Но этого было явно недостаточно. Меня подкармливали в домах подруг, а раз в год у нас происходили настоящие пиры. Это случалось в доме Риты, когда у них на Пасху резали поросенка. Живым мы им не интересовались, от вегетарианских идей были далеки и, вечно голодные, ждали этого абстрактного для нас убийства с большим нетерпением. Наконец, от Риты поступал сигнал – свершилось! – и через два-три дня у ее родителей тети Капы и дяди Вити появлялись гости – подружки дочери. На стол водружалась огромная сковорода с жареным на свином сале картофелем, еще одна – с жареным мясом и скворчащими шкварками, блюдо с кровяной колбасой, и начиналась обжираловка до отвала в буквальном смысле этого слова.

В июле мы набивали желудки вишнями. У Марии Ивановны был огромный вишневый сад, спускавшийся до ручья, впадающего в Лужу. Вишни были обильные, крупные, выбирали только черные и лопали, пока сами не становились вишневого цвета и из нас можно было давить вишневый сок.

Более-менее благополучным был дом Майи Козловой, ее отчим дядя Леня служил в милиции чуть ли не начальником (парадокс – именно Майя призналась мне, что только в 1980-х до нее «дошло», что мы были ссыльными). Узнав первым о денежной реформе 1947 года, дядя Леня стал отовариваться. Помню скопление огромного числа бутылок с вином самых различных марок, водкой, коньяком во всех углах дома – на веранде, в ванне, коридоре. Вот уж мы попиروвали! Когда взрослых не было, начиналась дегустация вин, больше всего нам нравились ликерчики.

Каждый год мы отмечали День картофельного урожая. Мама очень быстро подружилась с ученицей седьмого класса Ниной Яшиной, романтической девочкой с длинными косами, и ее обаятельной и приветливой мамой Марией Евстигнеевной (ее муж, железнодорожник, был тоже репрессирован). В их тесной квартирке и собирались мы всей компанией, чтобы под рюмочку легкого винца насладиться ни с чем не сравнимым вкусом молодого картофеля. Но это были праздники – Дни Чревоугодия, а будни – это многочасовые стояния в очередях за хлебом, за керосином, периодически – потери картофеля и возвращения домой в слезах.

С фотографий того времени глядят худые изможденные лица взрослых и детей, но, видит Бог, заботы о хлебе насущном не слишком омрачали нашу жизнь, и мы можем засвидетельствовать, что, действительно, «не хлебом единым жив человек».



Вид с «Панского обрыва» на долину реки Лужа и Бушину гору



Нина Яшина

ПРИШЛИ БЕДЫ

Первое несчастье случилось в конце 1946 года. Мы с бабушкой и Юликом ужинали, а мама была у Нины Яшиной. Вдруг бабушка как-то странно, боком стала сползать со стула. С чьей-то помощью мы уложили ее в постель, а я помчалась через весь город за мамой, плача от ужаса и понимая, что случилось непоправимое. Это был инсульт, бабушка больше не встала, ее перевезли в Ухтомку, где она, парализованная, жила еще девять месяцев. Перед смертью бабушка, убежденная атеистка, завещала отпевать ее в церкви и вообще соблюсти все обряды православной церкви.

По устным и записанным воспоминаниям мамы, бабушка была в молодости веселой, остроумной, талантливой рассказчицей. Мы ее такой не знали. Видимо, все, что случилось с мамой, зятем, со всей страной, надломило ее. Я редко видела ее веселой, чаще – плачущей. Но ее общественная активность сохранилась до конца дней. Она никогда не проходила мимо дерущихся – она должна была их развести. В Наре во время бомбежки мы, как правило, сидели в подвале в ожидании бабушки, которая ходила по городу, помогая раненым, хотя многие ее коллеги помоложе (мы жили в доме врачей) отсиживались в убежище. Часто мы слушали ее выступления по радио – в Мало-ярославце она работала санитарным врачом. Она хранила мужество и терпение до последних лет жизни. Трудно было старому человеку среди нашего нищего и веселого бардака, где ни приткнуться, ни отдохнуть. Может, поэтому она так часто пропадала на работе. До сих пор бабушка является в моих снах молчаливой, сидящей в углу...

Бабушка не дождала до новой волны репрессий, начавшейся в 1948 году. Арестовали повторно мою учительницу музыки Веру Васильевну. Всем «сто первым» предложили покинуть семилетнюю школу. Незадолго до этого маму вызвали в органы, где ей предложили «помогать» им. Мама вернулась домой «белей, чем бинт на лбу». Она, конечно, отказалась от «лестного» предложения и теперь ждала реакции. Ни на что не надеясь, она поехала в Калугу попытаться отстоять свои права. С собой кроме собственного заявления мама везла две характеристики: от дирекции школы от 3/IX-49 года и заведующего районо Воробьева от 15/IX. В них говорилось о трудолюбии Н. В. Всесвятской, ее творческом отношении к работе, постоянном повышении ею марксистско-ленинского образования, отсутствии каких-либо «отклонений от политики нашей партии и государства». Особо отмечалась работа Н. В. в качестве руководителя районного методического объединения учителей русского языка

и литературы, о публикации одного из ее докладов в методическом сборнике АПН РСФСР в 1949 году. Но ни Калужское облоно, ни позже Министерство просвещения РСФСР не могли противодействовать Главному Министерству Страны, и тот же Воробьев 14/XI-49 года подписал приказ об освобождении Н. В. Всесвятской от работы преподавателя семилетней школы «ввиду невозможности дальнейшего использования на педагогической работе». Но все-таки и Мария Ивановна, и Воробьев пытались бороться за ссыльного преподавателя! Удивительно было и другое. Судя по справке о реабилитации от 1956 года, борьба эта велась на фоне изданного этим же всеильным министерством Постановления о повторном аресте Н. В. Всесвятской 27 марта 1948 года! По каким-то причинам оно не сработало!

Перед самым отъездом мамы в Калугу в нашу комнату пришла Мария Ивановна и приказала срочно освободить ее. Юлик видел, что у нашего директора при этом лились слезы, я этого не помню, скорее всего не смотрела на нее. Да и что она могла сделать? И вскоре мы с Юликом и завхозом дядей Петей погрузили наш скарб на школьную тачку и покатали по шоссе. Когда мы поравнялись с Успенской церковью, я услышала льющийся из городского репродуктора рыдающий голос И. С. Козловского: «Итак, все кончено, судьбой неумолимой я обречен быть сиротой, еще вчера имел я дом и кров роди-и-имый...» Предоставила нам кров мама ученика семилетней школы Ларисы Федоровны Чирикова. Узнала, что нас выгоняют из школы, и сказала Марии Ивановне: «Пусть ко мне перебираются».

Из трех комнат в половине деревянного дома, которую она занимала с мужем Павлом Осиповичем, сыновьями Левкой и Мишкой, нам освободили одну уютную комнату с двумя окошками и закутком при входе. Нужно ли говорить, что все три года, что мы жили у Ларисы Федоровны, мы не платили за жилье, хотя хозяева сами еле сводили концы с концами.

Мама Нины Яшиной Мария Евстигнеевна устроила великого педагога Нину Валентиновну учетчиком швейного цеха с зарплатой 300 рублей. Иногда приходилось ей и пуговицы пришивать.

Бедная Вера-Мамелфа Тимофеевна приняла мамин класс. Любимый класс, где училась Валя Кирюхина, Оля Павлова, Левка, устроил новому словеснику obstruction.

Но Вера Тимофеевна и сама едва сдерживала слезы.

Так резко оборвался пришкольный период нашей жизни в Мало-ярославце.



*Мария Евстигнеевна
и мама – учетчик
швейного цеха.
1948 год*

ДОМ НА ВОЛОДАРСКОЙ

В 1918 году Шумятинский помещик среднего достатка Федор Чуриков, вернувшись из плена, все, что имел, передал государству, вступил в крестьянскую общину и стал работать лесником в бывшем собственном лесу. Но вскоре он понял, что и этого мало и лучше держаться подальше от бывшей собственности, и переехал с семьей в Малоярославец. Его мужики бережно разобрали и перевезли по Медынской дороге дом своего барина на отведенный ему участок на окраине города, названной позже улицей Володарского. Дом был собран, левая половина продана, а в правой поселилась помещицын дочь Лариса Федоровна (отец вскоре умер) со своим супругом Павлом Осиповичем.

В этом доме продолжилась жизнь нашего нищего и неунывающего семейства. Да рядом с Ларисой Федоровной унывать было невозможно и стыдно. Маленькая, мужественная, бесконечно добрая, всегда смеющаяся, как бы ей ни было тяжело. Не успела она приграть нас, как соседки привели к ней еще одну «сто первую» – Веру Петровну Брауде – старую, рыхлую, одышливую даму, в прошлом председателя сибирского ВЧК, секретаря Ф. Э. Дзержинского. И для Веры Петровны нашлось место. В отличие от остальных, Вера Петровна любила рассказывать о лагерях, но даже самые страшные истории рассказывались с большим чувством юмора. Так мы жили пестрой коммуной. Павел Осипович – Пал Осич – поварчивал на свою супругу: «Что ты делаешь, тебя же самую посадят, у тебя отец – помещик!» – но терпел нас и жалел. Самому ему жилось нелегко, когда-то до войны еще он, железнодорожник, попал в катастрофу, остался без левой руки, но очень ловко приспособился управлять своей культяпкой и постоянно подрабатывал кладкой и ремонтом печек в домах.

Вечерами мы собирались за большим столом в общей комнатке-кухне. На стол ставился самовар, и каждый раз мы замирали от ужаса и восторга, глядя, как наш хозяин, вынув краник из носика бурно кипящего самовара, продувает его, приложившись ртом к отверстию раскаленного носика. Зачем это нужно было, до сих пор не понимаю, но это была обязательная ритуальная процедура перед каждым чаепитием.

В этом доме хорошо себя чувствовали не только люди, но и звери – кошки и собаки. Любимым псом был Форд, большой, рыжий и, казалось, постоянно улыбающийся, как и его хозяйка. Он был так умен, что его спокойно отпускали свободно гулять, и за свою собачью жизнь он ни разу никого не укусил, не задушил ни одной курицы. Породы он был неизвестной, скорее всего помесь дворняги с овчаркой.

А с любимой кошечкой хозяйки с китайским именем Кси-фу однажды случилось несчастье. Пал Осич колот дрова, и случайно отлетевшее полено убило кошечку. Увидев свою любимицу мертвой, Лариса Федоровна пришла в отчаяние и заметалась по двору, ища способ отомстить убийце. На глаза ей попались удочки, муж был заядлым рыбаком. В ярости Лариса Федоровна стала ломать удочки на мелкие части на глазах у супруга. За этим занятием гнев стал постепенно испаряться, и Лариса Федоровна заметила, что муж совершенно спокойно смотрит на акцию мести. Она приостановила свою разрушительную деятельность и с некоторым удивлением посмотрела на него. Тот невозмутимо заметил: «А удочки-то Сашкины». Сашка был братом хозяина.

Всю эту сцену наблюдала мама и позже призналась Ларисе Федоровне: «Я не представляла себе, что у вас может быть такое свирепое лицо!» Очевидно, такое же свирепое лицо было у нашей милой хозяйки, когда она увидела, как мужик бьет кнутом тощего уставшего быка, не желающего тянуть дальше свой воз. Лариса Федоровна подбежала к мужику, выхватила кнут и стала его ломать. Мужик, отпустивший кнут от неожиданности, спохватился и попытался вырвать его из рук Ларисы Федоровны. Так и стояли они среди дороги, сцепившись в кнут. К счастью, в это время возвращался домой Пал Осич. Он еле оторвал свою разъяренную супругу от кнута, который она все-таки успела сломать!

Разной живности много было и у соседей, живущих во второй половине бывшего помещицкого дома. Кроме кошек, собак, кур они содержали еще и пасеку. Однажды, возвращаясь домой с тоненьким изданием «Отцов и детей», я услышала жуткие вопли: «Караул! Караул!»

У крыльца огромной копной возвышалась Вера Петровна и беспорядочно махала руками. От нее по дорожке в сторону улицы с визгливым лаем мчался Форд, а над ним мельтешило жужжащее темное облачко. Стало ясно – из улья вырвались пчелы и набросились на Веру Петровну и собаку. Самое интересное, что Форд, спасаясь от пчел, добежал до выхода на улицу, но не убежал дальше, а осознав, очевидно, свое предательство, возвращался к Вере Петровне. Тут на него набрасывались новые полчища пчел, он взвизгивал от боли и снова бросался наутек. Так он и метался, бедный, – то побеждало чувство долга, то инстинкт самосохранения. Я храбро бросилась на помощь Вере Петровне и начала лупить ее Тургеневым по голове, но больно тот был жидковат, а меня с ног до головы облепили пчелы, и, так же как и Форд, я позорно дезертировала с поля сражения. Но я была «гомо сапиенсом», а не глупой собакой и удрала как следует – на застекленную веранду соседнего дома, где меня быстро освободили от пчел. Тут же



Лариса Федоровна
Чурикова



Павел Осипович
Шляков

через окна веранды мы с облегчением увидели, что хозяйка пасеки, одетые с ног до головы в свои «противопчелиные» костюмы, уже обступили несчастную Веру Петровну и снимают с нее пчелиный рой. А Форд куда-то удрал и там по-своему, по-собачьи, и со спокойной совестью сражался с врагами. Веру Петровну уложили в постель, но закаленная лагерница перенесла этот налет (как и я) без последствий.

Во второй половине малоярославецкой жизни освобожденная от школы мама имела много свободного времени, и мы чаще совершали дальние путешествия – по Луже на лодках, вместе с Ларисой Федоровной и Мишкой съездили на Угру в красивейшее место, где угрюмый первозданный лес подступал к берегу реки, где мы нашли настоящий плот и катались на нем, продираясь под темными арками купающихся в воде ветвей береговых ветел.

Однажды мы с ребятами взяли у Сергея Геннадьевича плоскодонки, ружье и прошли далеко вверх по Луже. Высадились на берег, разожгли костер, устроили палатку из ружья и так увлеклись, что решили заночевать. Наутро вернулась, счастливая, домой и увидела маму, стоящую почему-то прижавшись к печке. На меня она даже не взглянула и целый день молчала – это было самое страшное мамино наказание – ее молчание действовало на нас убийственно. Как всегда, сначала я фыркнула, а потом «прижала ушки», как мама выражалась, и стала подлизываться. По-настоящему материнские переживания я поняла, когда сама стала матерью, а потом и бабушкой. Шутка ли – дочь ушла с ружьем и не вернулась...

В комнате на Володарской у нас появился хоть какой-то уют, была даже голубая в клетку скатерть на столе. Как-то я залила скатерть тушью, разревелась, но тушь без следа отмылась. Вера Петровна, однако, была другого мнения о нашем уюте. Заходя в нашу комнату, заглядывая в углы, она качала своей большой головой и приговаривала: «Кошмар! Боже, какой кошмар!» Почему-то слово кошмар она произносила с ударением на «о».

С Юликом мы начали ссориться и даже драться, но очень своеобразно. Поцапавшись из-за чего-нибудь, мы принимали позу боксеров и, грозно надвигаясь друг на друга с кулаками, медленно перемещались по диагонали комнаты. Пока мы доходили до угла, нас начинал разбирать смех. В углу обида снова всплывала, поднимались кулаки, и опять начиналось теснение в противоположный угол, и так могло продолжаться долго.

Так протекала наша жизнь, появились новые друзья – Зина Рудницкая и Игорь Шелковский. Оба дети репрессированных, оба стали родными на всю жизнь, сразив нас навеки своей талантливостью, эрудицией и добротой. Славно мы жили у Ларисы Федоровны, и все

же после изгнания из школы исчезло постепенно то солнечное состояние, да и взрослые мы.

У Марка Харитонова недавно прочла о «клиническом чувстве счастья» – о моментах ощущения счастья, ничем не вызванного. По аналогии, детскую жажду счастья, даже в самых невероятных условиях – нищеты, голода, какие были у нас, – можно назвать «детской болезнью», от которой быстро излечиваешься, к сожалению.

Мама, конечно, тяжелее нас переживала все новые испытания, тупое пришивание пуговиц в швейном цеху, жалкую зарплату. Спасали друзья, леса и, конечно, врожденный мамин оптимизм...

Но вот окончена средняя школа, и мы с мамой едем в столицу поступать в институт. Я как провинциальный романтик мечтала о геологоразведочном институте. Но в приемной комиссии МГРИ, узнав о нашей ситуации, жестко сказали: «Что ж, на глину будем вас посылать, не больше». Я поняла, что нам туда не надо. Пошли в МГУ, появилась мысль о химфаке. Там сидели уж очень умные мальчики и девочки. Повинуясь опять же внутреннему гулу, я решительно потащила маму во 2-й медицинский, где уже училась Нина Яшина. Ее рассказы, недавняя мамина пневмония, земские семейные традиции привели меня на Пироговку в здание напротив маминого МГПИ. Миновал мраморную статую вождя в вестибюле (институт носил его имя), подали заявление, при этом в автобиографии скрыли «правду» о родителях. Два дня мучились, вернулись и дописали! И с чистой (!) совестью вернулись в Малоярославец. Я была у Риты на покосе, когда меня вызвали в особый отдел института. Меня принял молодой человек с неприметным лицом. Спросил об учебе, общественных нагрузках в школе и в конце – о родителях. «Что ж, это был 37-й год», – заключил он неожиданно для меня. Я была зачислена в институт.

Вскоре мамина кузина тетя Галя, работавшая в одной строительной конторе, предложила маме завербоваться на строительство Главного туркменского канала. Мама устала от нищеты и приняла смелое решение отправиться в Туркмению.

И вот на меня смотрят уже из окна вагона поезда «Ашхабад–Москва» родные лица мамы и Юлика. Поезд трогается, я стою на платформе и реву, сажусь в электричку и реву до самой Ухтомки, где я опять поселилась. Я понимала, что именно этот отъезд, а не мое поступление в институт означает конец счастливого (несмотря ни на что) малоярославецкого детства-отрочества. Позже я узнала, что мамин отъезд оплакивали Лариса Федоровна в Малоярославце и Нина Яшина – духовная дочь мамы, которая тоже провожала ее и так разревелась, что пришлось, не доехав до дома, выйти из метро.

1990–1994 годы



Зина Рудницкая

Перед Вами, дорогой читатель, почти факсимильные копии некоторых маминных лагерных книжек, о которых подробно рассказывалось в начале очерка «Детство за 101-м километром». Они долго лежали в семейном архиве, мы показывали их друзьям, читали нашим детям. Внук Марат в детстве считал их «настоящими», особенно «Юлину книжку» с ее картонным переплетом, матерчатым корешком, переложёнными калькой страницами. От воздействия времени, из-за частых переездов книжки обветшали, потерялись мягкие обложки, некоторые и вовсе пропали, в том числе книжка-мальшика из бересты. Чтобы сохранить хотя бы теперешний вид этой библиотечки, Марат и его сотрудники сделали электронные копии книжек и даже издали их небольшим тиражом (по сути – самиздат, но на высоком современном уровне).

Не спросили мы в свое время, как же удавалось художнице Лизико Киц-мараишвили создавать на барачных нарах такие яркие цветные иллюстрации – ведь в лагерях запрещалось рисовать, тем более писать красками! Не уточнили, с кем передавался этот ГУЛАГиздат на волю, ибо почтой можно было отправлять только то, что помещалось в конверте, да и письма проходили цензуру. Но уверены, что во многих домах хранятся подобные «экспонаты», о них, как правило, узнаешь случайно.

В архиве Гали и Валерия Эдельманов есть книжка с рисунками, присланная из норильского лагеря их бабушкой; Галя Поневежская (автор очерка «Лида») бережно хранит библиотечку из лагерных самоделок со стихами Мандельштама, Маяковского и других поэтов. В музее Общества «Мемориал» передала две свои лагерные книжки для детей художница Галина Цивирко.

В конце XX века нас потрясли воспоминания Евфросины Керсновской с сотнями ее рисунков, теперь все ее 12 тетрадей изданы в виде увесистого тома. Нарисованные по памяти, картинки, при всем ужасе их сюжетов, проникнуты чувством юмора – черного, правда (изображения ночного имона, «оправки» и многие другие). И вроде бы такое незначительное со-
впадение: печатный «шрифт» авторских подрисовочных подписей – с наклоном влево – удивительно напоминает «печатный почерк» нашей мамы.*

*Настоящим памятником «запроволочному творчеству» стали издания Общества «Мемориал» – альбомы «Творчество и быт ГУЛАГа» и «Лагерные рисунки Бориса Свешникова»**.*

Выпускаем в свет и мы книгу Нины Всесвятской «От далекой мамы». Рисунки Лизико Кицмараишвили. Сеgezлаз, 1939–1940.

* Керсновская Е.
Сколько стоит человек.
М.: РОССПЭН, 2006.

** Творчество и быт
ГУЛАГа:
Каталог музейного
собрания
Общества «Мемориал».
М.: Звенья, 1998;
Лагерные рисунки
Бориса Свешникова.
М.: Общество
«Мемориал» –
Издательство «Звенья»,
2000.

Моя мама, моя учительница

В 2003 году мы с сестрой впервые оказались на «Коммунарке» в десяти километрах от Москвы. Обширный кусок леса, огороженный высоким глухим забором. Бывшая дача Ягоды. Когда владельца расстреляли, дача отошла к НКВД, которым он до того командовал. Просторную поляну посреди леса до сих пор именуют «расстрельной». Здесь внавал зарывали убитых сталинской Лубянской людей – среди них значится и наш отец Ким Чер Сан, «японский шпион», как гласит обвинение 1938 года. Читал я его «дело» (сейчас Лубянка разрешает прямым родственникам знакомиться с этими папками). Два подробнейших самоговора: один записан собственноручно, другой – рукой следователя. На суде отец категорически отказался от показаний. Когда я получал «дело», фээсбэшник пояснил: тогда многие подписывали под давлением следствия все, что им диктовали, – в твердой надежде, что, отказавшись от своих показаний на суде, получат шанс для справедливого пересмотра.

Расстреляли папу в тот же день, когда и осудили, – 13 февраля 1938 года.

И вот здесь, под снегом, лежат эти бесчисленные кости, и среди них наш отец. И уже никто не скажет, где именно, следов никаких. Осталось только тихо положить принесенные темно-бордовые розы прямо на этот снег под этот случайный куст.

Кого не убивали, везли в вагонзаках по всему Союзу. Эшелоны останавливались, теплушки открывались, человечье понурое стадо высыпалось наружу, сбивалось в длинную колонну и брело на зону. За колючки, в бараки. И там рассыпалось по шконкам, по двухъярусным нарам – в этакое-то стаде брела и наша мама, Нина Всесвятская, красивая, молодая (тридцать лет, всего-то!) учительница, мать двоих детей, виноватая в том, что была женой «японского шпиона».

Ну-ка, попробуем представить себе, что сейчас, спустя полвека, вваливаются к вам в дом амбалы в камуфляже, с короткими автоматами под мышкой и безапелляционно гонят в фургон с решетками, по обвинению в дискредитации президента, в активном пособничестве международному терроризму с целью развала России – а? Как? Трудно представить? То-то и оно, что легко. До будничного просто. Хоть я и абсолютно уверен в невозможности подобного поворота, но представить себе такую картину – плюнуть раз.

Безумный средневековый морок, охвативший советскую Россию, засел в наших печенках и поджилках и каждый день, час и миг вы-

глядывает отовсюду, будь то самостийный культ Сталина на лобовом стекле родного КамАЗа (причем рядом с портретом Николая II) или горькие вопросы, то и дело возникающие в записках вроде этих. Как же это миллионы невинных согласились сесть ни за что ни про что, а остальные миллионы против этого не возражали? Как же это: сибирская каторга за подобранный колхозный колосок? За рассказанный анекдот? За прочитанную книжку?

Пишу – и не слышу в себе никакого изумления: как же так? Да так как-то, ну что тут особенного? Молодую учительницу оторвали от детей, завели руки за спину и подтолкнули прикладом в пятiletнюю каторгу за то, что была женой человека, расстрелянного за шпионаж, которым он в жизни не занимался, и судьбы об этом знали.

И все огромное женское стадо, высыпавшее с ней из эшелона, состояло из таких же, как она, ни в чем не повинных беспощадно осужденных. Осужденных, как принято говорить у милиционеров и юристов.

Сестре было почти пять, мне не было и двух, когда маму взяли. Важная разница. Дочь успела почувствовать мать, навсегда ощутить родство и сознанием, и подсознанием. Ну а я увидел маму сознательными глазами только в девять лет, будучи уже второклассником, и я помню это первое впечатление. Подмосковная станция Ухтомская, небольшая рощица перед нею, и на тропинке худенькая невысокая женщина с чемоданом. Совершенно мне незнакомая. Это мама.

До нее моей мамой была Фокина Агафья Андреевна, домработница, бывшая прислуга нашего дедушки, наро-фоминского главврача. В войну она очень пригодилась: мы тогда жили в Ухтомке, у теток, девять человек

в двух комнатах коммуналки. Работали трое. Мама Ганя вела хозяйство и надзирала над четырьмя детьми. Она была совсем деревенская, неграмотная сорокалетняя нянька, старая дева, ворчливая и обидчивая. Изо всех детей отличала она меня, и все, что отпустила ей природа для возможного материнства, она израсходовала на несчастного сироту, и все лакомые кусочки, какие удавалось ей утаить от общего котла, перепали мне. Сестру мою, такую же сироту, она особо не жаловала и оставалась для нее «тетя Ганей» – я же называл ее «мамой», как только начал говорить, и вкладывал в это слово все, что должен вкладывать родной сын.

Когда же меня просветили, что есть еще и настоящая мама, находящаяся в длительной командировке, я легко принял эту игру и с увлечением в ней участвовал, чувствуя себя богаче других на целую еще одну мать.

Но вот каторжанка вернулась. Игра продолжилась. Однажды, бегая с ребятами во дворе, я позвал:

– Мама!

В окно высунулись сразу обе, улыбаясь:

– Какую тебе?

Я смутился. Нужна мне была мама Ганя, но я не хотел обидеть «настоящую». Махнул рукой и побежал дальше, не зная, что делать с моим смущением.

Вскоре, однако, с привычной и родной мамой Ганей пришлось расстаться – новая повезла нас с сестрой жить в Малоярославец, так было надо. Вернуться в Москву, где она жила до ареста, она не имела права, поселиться в областном центре – тоже, то есть даже Калуга была недосыгаема. Получилось посредине, в Малоярославце, так было надо.

С ее судимостью она, по идее, как враг народа, никак не могла претендовать на должность учителя, но, видать, туго было с кадрами после войны, и в семилетку ее на работу таки взяли, хотя так было не надо, но так уж и быть. Через четыре года снова стало как надо, ее из школы выгнали, на этот раз уже капитально, вплоть до кончины Главногo Педагога – после чего она уже беспрепятственно учительствовала вплоть до пенсии, на которую ушла разом, безоглядно, хотя была учительшей от Бога.

А мама Ганя из Ухтомки тоже ушла прислужкой в другую семью, потом еще в одну, чуть ли не к министру какому-то. Когда через десять лет я вернулся в Москву, я ее навещал время от времени, до конца ее дней. Всю жизнь мечтала она о своей отдельной комнате и на старости таки дождалась и кончила дни среди собственных стен. Было ей за девяносто.

Первые годы в Малоярославце (для краткости – в Малом) мы жили школой с утра до вечера, так как при школе же и жили – в большой комнате, где заодно хранились и учебные пособия, то есть исторические и географические карты, потрепанные, клеенчатые, в длинных рулонах, а также винтовки без затворов для военного дела, учебные гранаты и диски для физкультуры. Была печка, был длинный сундук, кошка Метра – и сколько же нас-то? Пятеро вместе с бабушкой да тетей Настей – завхозом, истопником и уборщицей в одном лице.



Няня Ганя с Алей и Юликом. Наро-Фоминск

Житье в семилетке было голодное, но нескучное. Художественная самодеятельность была ключом. Скетчи, викторины, праздники, стенгазеты. Бальные танцы: падеграс, падеспань, падепатинер. Церемонно, об руку, попарно. В отличие от столиц, районные школы оставались смешанными, молодежь росла гармонически, рыцарский дух царил и поддерживался нашим нищим учительством, беззаветно и бескорыстно преданным делу.

Кроме школы на маме были еще стирка, глажка, готовка, магазины, картошка. Любимая, проклятая картошка. Ее надлежало сажать, окучивать, выкапывать и таскать в гору. Потому что два наших участка были там, в долине реки Лужа (от слова «луг» – лужная, луговая речка), и самая хорошая картошка урождалась на самом дальнем участке, черноземном. Крупная. Белая такая. «Лорх», что ли. Под нее осенью одалживалась тележка четырехколесная, с мешками. На ней помещалось мешка два, три, больше не осиливали. И через всю долину, по долгому навиву мощеной Ивановской дороги, наверх, к Володарской улице. Да, незабываемый маршрут. На всю зиму запасались. Однажды не хватило. Спустились по весне к участку и заново его перекопали в поисках оставшейся картошки. Набралось с полкорзины этих синих дряблых комочков перезимовавших. Затем их промыли. Взрезали, вывалившуюся крахмальную жижицу смешали с грубой мукой и испекли оладьи. Первые штуки четыре с голодухи проглатывались, как пирожки, остальные застревали в горле.

Сахар и конфеты (подушечки или помадка) были редким лакомством. Московская родня временами подбрасывала. Сахар был либо колотый, либо рафинад, особенно вкусный. Продавался в синей упаковке, кирпичиком, по полкило. Однажды я расковырял такой кирпичик и незаметно для себя, по кусочку, по кусочку, уполовинил. Сели пить чай, хищение обнаружилось. Хищник тем временем делал вид, что спит в своем углу. Услышав расстроенный голос мамы, не выдержал, вскочил на своей лежанке и стал нахлестывать себя широким брезентовым ремнем – хотя и не слишком больно, но совершенно искренне. Я ненавидел себя в ту минуту. Мама это поняла и добавлять не стала. Да нет, какое там добавлять! Ничего страшнее поджатых маминых губ и горького молчания я не припомню. Классе в шестом, что ли, удалились мы с приятелем в погожий денек на березовый склон полежать на травке и попробовать наконец-то первый в жизни табачок. Были это дешевые сигареты, десять штук в пачке. Картинно развалясь на припеке с видом бывалых пиратов, пускали мы дым, особо не затягиваясь, а главным образом стараясь его побольше напустить, окутаться, так сказать, табачным облаком подобно героям Стивенсона. Для здоровья ущерба не было ни малейшего,

но запах от нас, особенно от пальцев, шел одуряющий. «Неужели курили?» – спросила мама с непередаваемой смесью огорчения и презрения и замолкла, поджав губы. Так что в следующий раз взялся я за табак уже только в институте, вдали от мамы, и тут уж настоял на своем и вонял табачищем последующие тридцать лет, пока врачи не пригрозили гангреной.

Мама всю жизнь сочиняла стихи, из них множество пропало навсегда – по ее скромности и нашей невнимательности. Личных, заветных стихов ее почти не припомню, а вот на публику, для семейного ли круга, для дружеского ли, и уж, разумеется, для школьной сцены и печати рифмовала она легко и самозабвенно – и заразительно. С ее-то легкой руки пустился во все тяжкие и аз грешный (и не только аз, не только, иные ее ученики и посейчас записные рифмачи, хоть Анатолий в Казани, хоть Николай в Туле). Где-то в семейных анналах хранятся самодельные сборники первых моих стихотворных опытов, главным образом патриотических. Рифмоплетство мое неумоимо побуждалось и двигалось самолюбивым соревнованием с мамой – от второго по десятый класс включительно. Я даже начинал издавать рукодельный журнальчик «Луч» с другом своим Игорем Шелковским, ныне парижским художником, издателем действительно знаменитого журнала для художников «А-Я».



Юлик и Игорь Шелковский

Его матушка, царство небесное, Мария Георгиевна также была женой «врага народа», также жила в Малом, уборщицей при детском садике (будучи специалистом по дошкольному воспитанию!).

Я очень любил мамини всякие школьные затеи, всюю подхватывая инициативы, я видел, как ее любили, и был потрясен – классе в пятом, кажется, – когда Вовка Мефодьев, расшалившись на перемене, вдруг крикнул:

– Атас, Нинушка идет!

Оказалось, такое было у мамы прозвище в ученическом обиходе. Алгебраичка была «вобла», химичка Евгения Семеновна – «эвглена зеленая». А мама, украшение школы, честь ее и гордость, – «Нинушка», не с ласкательным, а с пренебрежительным оттенком. Как обидно мне стало за нее! И ведь крикнул Вовка совершенно без злости, просто выдал вслух обиходную кличку училки, а я и не знал, и потрясся. Оттого и имя Вовкино, вероятно, запомнил на всю жизнь, потому что ничего другого не помню, связанного с ним. У него у самого-то была кличка «Мешок».

Маминой энергией держалась неунывающая школьная жизнь, и директриса, бодрая наша командирша Жильцова Мария Ивановна, всюю поддерживала и участвовала. В школе в половине классов вместо парт стояли деревянные щиты на козлах. Учиться не очень удобно – зато всегда готова сцена, театральные подмостки, стоит лишь составить оные столы впритык друг к другу. На них разыгрывались разные фрагменты и отрывки: «Петя Ростов», «Сцена в корчме» (из «Бориса Годунова»), «Анна Каренина навещает сына». Ко всем праздникам готовились «монтажи» – то есть литературные композиции из песен, стихов и плясок с необходимыми связующими текстами мамино сочинения.

Счастливым путь! Для вас открыты дали!
Путь творческих дерзаний и труда!
Улыбкою вас провожает Сталин!
Вперед ведет Кремлевская звезда!

Это был искренний текст. Ни тогда, ни долго после мама не в силах была признать прямую связь между гибелью мужа, ужасом собственной многолетней каторги – и Гением всех времен и народов, рьяным людоедом, убивавшим не глядя.

Мама наша – из русской земской интеллигенции. Подвижничество записано было в ее генах двумя поколениями, среди которых общественное всюду предпочиталось личному, гражданские мотивы – лирическим, становиться на горло собственной песне считалось нормой – Маяковский вообще довел дело до крайности:

В поцелуе рук ли, губ ли,
В дрожи тела близких мне
Красный цвет моих республик
Тоже должен пламенеть.

(Хотя, правду сказать, мало ли мы знаем примеров, когда любовные связи разрушались идейными разногласиями? «Любовь Яровая», «Сорок первый»... Жизнь любой абсурд переварит и предъявит как само собой разумеющееся).

Великая Социалистическая Идея, соблазнившая множество народу на Земле, была нашей маме очень близка своей утвердительной стороной – братством, равенством, гуманизмом, сочувствием к бедным и угнетенным. Другая же неременная сторона – классовая ненависть, пламенно воспетая тем же Маяковским и отлично воплощенная ленинско-сталинской практикой государственного строи-

тельства, – совершенно маму не увлекала и ее натуре никак не соответствовала. Единственно, явную нелюбовь, граничащую с омерзением, испытывала она к антисемитам. Евреев среди ее друзей, институтских и лагерных, было немало, и, судя по горячности, с какой она говорила о них, не раз приходилось ей сталкиваться с родимым нашим жидоедством на всех уровнях социальной лесенки.

Что же касается американских империалистов и прочих классовых врагов, то дальше дежурных осуждений, положенных советскому учителю, дело не шло. Мама совершенно лишена была этой хорошо развитой в человечестве способности ненавидеть. И всю свою чудовищную катастрофу пережила она с горестным недоумением, покорно согласившись с извечным русским постулатом, столь удобным для наших тиранов:

Лес рубят – щепки летят,
не подвергая сомнению необходимость и целесообразность самой этой лесорубки. Очень уж хотелось реального воплощения вековых чаяний. Сколько мечтали, и вот наконец стало возможным у нас, в Советском Союзе. Никакой эксплуатации, самоотверженный труд. Пусть небогато, зато поровну. Бесплатны образование, медицина. Большие достижения за счет собственного ума и энтузиазма. Никакой национальной или расовой дискриминации. Маяковский, Горький, Шолохов, Дейнека, Пластов, Шостакович. Дунаевский. Бывают, конечно, ошибки. Что ж, социализм – дело не простое. Ведь впервые в истории.

Мало мудрости – много горячей веры в добрые начала. Не знаю, что предпочтительнее.

Однако в 1948 году Главный Педагог затеял еще раз встряхнуть свой послушный народишко, благо одной войны людоеду было мало и надлежало готовиться к следующей, за окончательное первое место в мире – а чем же его, народишко, лучше всего встряхнуть, как не массовой посадкой? И пошли по всей стране повторные повальные аресты за уже отсиженную «вину» – соответственно и термин появился: «повторники». Как недавно выяснилось, и над мамой навис арест, да чудом миновал: то ли машина не сработала, то ли предусмотрены были какие-то ограничения в репрессиях – дело ограничилось категорическим отстранением от педагогической работы, а стало быть, и немедленным выселением из помещения школы в 24 часа. Несчастная наша директриса, сидя на табуретке посреди нашей комнаты, громким голосом объявила нам приговор, и слезы неудержимо лились по ее лицу, и за одно это следовало бы сто раз расстрелять Иосифа Сталина. Интересно, к скольким бы пожизненным срокам приговорил бы его современный суд в Гааге?

Мама выслушала роковой вердикт с помертвевшим лицом. Но уже сказала лагерная закалка: хошь не хошь, а держать удар надо – двое детей на руках. Ну и Малоярославец, конечно, не отшатнулся. Родительница одной из ее учениц нашла ей работу, другая – пустила в свой дом жить за бесплатно: учетчица в швейном цеху много не зарабатывала. Ах, золотой человек Чирикова Лариса Федоровна, городская библиотечка – она нас спасла, приютила, вечная ей память и благодарность. Как и мужу ее, Шлякову Павлу Осиповичу, согласившемуся терпеть бесплатных постояльцев. Ведь и сами-то хозяева наши жили, с трудом сводя концы с концами. Велика ли зарплата библиотечкаря, да своих мальчишек двое, да муж к тому же однорукий инвалид. Правда,

Палосич одной этой своей правой рукой ташил и хозяйство, и огород, и рыбалку с охотой – как и четырехрукий бы не сумел. Это было одно загляденье смотреть, как он, например, мощно косил. Или копал. Или закуривал. Или на велосипеде катил. Кисть его руки была широка и узловата и приятно пахла махоркой. Вечная память.



Шават – оросительный канал – несет бурные и мутные воды Аму-Дарью. Пльвем по нему с бешеной скоростью

* В 1950 г. на мысе Таша-Таш и прилегающих территориях стали возводиться лагерные бараки для будущих строителей Главного туркменского канала, который должен был соединить Аму-Дарью с Каспийским морем, орошая по дороге пески Кара-Кумов. Этот бредовый проект рухнул со смертью его автора.

Ну и родня московская, разумеется, помогала, как могла, иначе не выжили бы.

Летом как-то готовилась на керосинке пустая лапша на постном масле. И зашла на наш двор тетка с дочкой – погорельцы. Помогите, сколько можете. Нашли у кого просить. Ну, налили по тарелке скудной нашей лапши, сели, едят. Хлебнула тетка раз, другой, да и спрашивает: нет ли соли? Забыла мама лапшу посолить. Ой, ну конечно, конечно, вот, пожалуйста. А я стою в стороне и смотрю неприязненно: еще и соли им, видите ли.

На тетке запомнился новенький клеенчатый фартук. Видать, все, что осталось от гардероба.

Полуголодное наше существование завершилось с переездом в Туркмению: мама завербовалась на строительство Главного туркменского канала* и увезла меня в город Ташауз, где располагалась главная контора Великой Стройки с плановым отделом: новый шаг в маминой карьере.

Сестра осталась учиться в Московском медицинском на попечении тетушек, а мы с мамой неделю добирались до Ташауза, на по-

следнем этапе – в теплушке товарняка, пассажирские поезда пошли позже. В Чарджоу на пристанционном базаре разжились мы на пятерку арбузов, дыней и двумя огромными чебуреками. Это был царский пир! Мы едва управились с половиной этой вкуснятины, и я чуть не плакал, когда пришлось недоеденное так и оставить на скамейке, потому что не в чем было везти эту сочащуюся сладость.



Ташаузский дворик. 1953 год

Главтуркменводстрой – так называлась мамина контора – снимал у местного населения жилье для своих сотрудников, и таким образом поселились мы в небольшой комнатке в Старом городе. Ташауз разделен каналом Шават на две части, тогда они назывались Старым и Новым городом. Сейчас обе половины одинаково современны, но тогда наша часть представляла собою совершенно средневековое столпотворение глинобитных домов с плоскими крышами, узкими улочками, при полном отсутствии зелени, не считая, правда, редких огромных карагачей, с широкими шатрами крон, в тени которых седебородые бабаи любили попить зеленого чая. Громадные собаки там и сям валялись в уличной пыли, высунув языки. Орала ослы, бляли бараны. В Новом городе улицы были просторны и важнейшие учреждения располагались в европейских зданиях. Зато в Старом городе кипел, гремел и поражал разнообразием и дешевизной азиатский базар с богатой толкучкой, где мы живо обзавелись достаточно прочными кроватями, керогазом и посудой.

Что же касается гастрономии, то она в избытке громоздилась на прилавках, арбах, а то и просто на земле вавилонами дынь, арбузов, винограда, урюка, инжира, персиков, зелени и овощей, и все за копейки, а самым любимым лакомством были горячие чебуреки с картошкой. Да уж, после голодного Малоярославца мы оказались в раю.

Три года мы там прожили вместе – мама подольше. В 1953 году экономическая карьера мамина завершилась, благо помер Главный Экономист, и ей позволили вернуться к любимой профессии, и она стала вести литературу в моем 10-м «б». Я немедленно удрал от нее в 10-й «а», но тут наша литераторша ушла в декрет, и вместо нее в классе таки объявилась мама, и я учился у нее вместе со всеми до самого выпуска и обращался к ней в школе «вы, Нина Валентиновна».

Нина Валентиновна
среди ташаузских
учеников и учителей.
1954–1955 годы



Это было очень важное для меня время. Мама вела уроки в форме вольной беседы на тему. Ей важно было непременно завести дискуссию. Хороший человек Печорин или не очень? А Грушницкий? А что такое пошлость? Что вы можете возразить Толстому с его рассуждениями об историческом фатализме? Приходилось читать внимательнее, чем обычно. Шевелить извилинами. У кого-то получалось лучше, чем у других, – мама никогда не делала предпочтений. Хотя, конечно, были у нее свои любимцы и любимицы – но не на уроке. То-то и вспоминают ее мои однокашники по сей день светло и благодарно.

Эту ее дискуссионную методику – в педагогической науке у нее есть, кажется, свой термин: «евристический принцип» – я усвоил хорошо и с удовольствием пользовал, когда учительствовал сам.

Вся отрада мамина была в школе. За три ташаузских года – да что во всю нашу жизнь с ней так и не мелькнуло ничего, ни намек, ни признака того, что называется личной жизнью. Раз только, вернувшись из школы, застал я в гостях у нас степенного узбека (чи татарина), положительного пролетария (оказался кузнец) – откуда он взялся, решительно не помню, – и после ухода его мама с юмором сообщила, что приходил он вроде бы как посвататься, в чем получил отказ, уважительный, но непреклонный.

Иногда мама лирически вспоминала своих институтских кавалеров (о папе – не помню ни разу). Думаю, что эта сторона жизни была для нее зачеркнута лагерем и последующей долгой и упорной бит-

вой за наше выживание. Лагерь страшно потряс ее – стоит только сравнить ее фото до и после. Она была красавица. Она была несомненно романтической натурой. Независимой и ответственной. Не лидер, не тамада – бескорыстный и вдохновенный работник. Эта привычка к труду благородная была ее спасением. Она трудилась все время, каждый день. Она просыпалась и тут же начинала что-то делать. Людей такого типа она сама называла «пчелками». Неутомимая пчелка после самых ужасных ударов все-таки снова и снова принималась за дело жизни – если не ради страны, то ради учеников, если и этого нельзя – то ради своих детей. Никогда ради себя, то есть это и было – ради себя.

Не помню ее плачущей. Один только раз (об этом позже). Думаю, что главные свои слезы она выплакала после ареста и затем в лагере. Там научилась она своему непреклонному упорству жить, жить – жужжать – несмотря ни на что. На ее послелагерном лице всегда видна эта печать несломленного человека.

Тот мой последний год Ташауза, когда она преподавала у нас в классе, мы жили как никогда дружно. Наперебой соперничали в стихоплетстве и всячески подтрунивали друг над другом. У Давида Самойлова – «В кругу себя», у Корнея Чуковского – «Чукоккала», у нас с мамой – «Ташаузский дневник».

Цитирую образчик:

ОДА НА ШЕСТНАДЦАТИЛЕТИЕ ЮЛИЯ КИМА

Тебе, о сын мой, ода эта,
Лирично-пламенный привет.
Хочу прославить я поэта,
Которому шестнадцать лет.
Хочу отметить дифирамбом
Твой день, значительный такой.
Пишу я чистокровным ямбом,
Почти онегинской строкой.
Строк не ломаю своевольно,
Стараюсь из последних сил,
Я избегаю рифм глагольных,
Чтоб не придрался мой Зоил.

(К совершеннолетию своему я уже довольно набрался молодой наглости делать своей учительнице замечания. Глагольные рифмы, вишь, меня не устраивали.)



*Школа № 2,
разбор урока.
Апрель 1958 года*

На новый лад настрою лиру..
Итак, прошло шестнадцать лет.
В тот день ты громко крикнул миру
О том, что в жизнь вступил поэт.
Свое призвание, однако,
Сначала ты не осознал.
Ты был отчаянным воякой,
С утра до ночи воевал.
Под стол ты ползал на разведку,
Из-под стола врагу грозил,
Одним ударом, очень метким,
Ты вазу новую сразил.

(Очень хорошо помню злосчастную вазу, оказавшуюся на пути моей штыковой атаки с лыжной палкой наперевес. Это был розовый стеклянный сосуд с парашотами по бокам. Подарок маме от учеников. Помню ее огорчение и свое искреннее раскаяние.)

Расти, твори, бери вершины,
И будь веселым, боевым,
И оставайся верным сыном,
Надежным спутником моим.

Что ж, мы с мамой в Ташаузе жили, повторяю, дружно, и не думаю, что был ей большой обузой. Суп сварить и сейчас сумею.

В 54-м я поступил в Московский педагогический (мамин), что на Пироговке, и, поступая, уже знал, как я буду преподавать литературу,

если доведется. Хотя мечтал я стать писателем. И таки стал им. Но сначала – таки поучительствовал, девять лет без малого, и смело скажу: успешно, спасибо маме.

Она также перешла из школы в пединститут, только в Ташаузский, и не как студентка, а как преподаватель, и четыре года профессорствовала там, наезжая в отпуск к нам, в Москву, где сестра жила у теток, а я – в общежитии.

Очутившись на воле вне маминого и вообще чьего-либо контроля, я въехал в свой довольно затянувшийся переходный возраст и нередко огорчал сестру и маму своим эгоистическим невниманием или бестактностью. Тем временем ход истории неумолимо сводил нас в Москву. После беспощадного гласного развенчания Усатого кумира маму и папу реабилитировали, и я получил в Москве комнату в трехместной коммуналке: 16 собственных квадратов на втором этаже новенького дома (и недалеко от того, где мы жили до арестов), туда и вернулась мама из Ташауза, но мы и года вместе не прожили, как я удалился работать на Камчатку, потом вернулся, женился, переехал к жене, а сестра из Серпухова – к маме. Так, через четверть века, семья наша наконец съехалась в Москве.



*Ухтамка.
1957 год*

В пятьдесят пять мама сразу ушла на пенсию – хотя в московской школе ей, как всегда и везде, работалось хорошо, и казалось, что она будет пожизненный шкраб-трудоголик, и классы, которые она вела, любили ее и были уверены, что она с ними до самого выпуска. Но мама так разом и ушла, и не только – хотя главным образом – для того, чтобы помочь дочери (та работала в Серпухове врачом и растила сына одна): маме хотелось наконец-то пожить, что называется, для себя, целиком: вволю почитать, походить по музеям и консерваториям, понавещать родню и друзей. Ее любимая подруга, солагерница Домбровская Лидия Владимировна, высокая, статная, громогласная, насмешливая дама, с прямым и резким характером, прекрасно образованная, маму любила горячо – она так сказала на маминих похоронах:

– Последние одиннадцать лет Нина прожила счастливо.

Это была правда. Школьная страда сменилась столь же непрерывными, но все-таки своими заботами, и теперь уже дни летели не по учебному, а по собственному расписанию.

Были два пункта, несколько омрачавших ее существование. Во-первых, конечно, мое диссидентство. Мое краткое, но вполне чреватое тюрьмой участие в правозащитном движении 1967–1969 годов. Пережитый лагерный ужас вдруг затревожил ее снова – на сей раз как моя возможная перспектива.

Познакомившись, а там и породнившись с Петром Якиром, отъявленным антисталинистом, каторжанином с пятнадцатилетним стажем, я оказался в его доме, чьи двери всегда были нараспашку. Там и сложился круг соратников, активно занимавшийся протестной антисоветчиной (чтение и распространение крамольной литературы, составление и подписание различных обращений по поводу преступлений режима, передача их западной прессе – и т.д., и т.п., прямо под 190 1-3, 70, 72 и 64 статьи Уголовного кодекса РСФСР), и один за другим отпадали знакомые и близкие люди – кто в тюрьму и лагерь, кто за рубеж. Я пережил несколько обысков, с десятков допросов, меня уволили из школы. Хотя работать для кино и театра мне не препятствовали – под молчаливый уговор больше не рыпаться. И в 1969 году я утихомирился и рыпаться перестал, по крайней мере явно. Взял псевдоним и пошел сочинять песни для театра и кино, а там и пьесы и сценарии. Так что на мой счет мама немножко дух перевела. Хотя все равно боязнь осталась, так как Петр Якир действовать продолжал, и чем дальше, тем рискованнее, пока в 72-м его не арестовали. Здесь мама опять замерла, так как одновременно (и безусловно в связи) с этим «Мосфильм» разорвал со мной три контракта. Зато два других уцелели, а там возникли и новые, прене-

сло, а в 1973-м у меня родилась дочка Наташка, и мама успела ее помянуть. (Что до Петра, то он, как известно, сидел недолго, а освободившись, больше не возникал, жил у себя на отшибе и вскоре скончался от цирроза печени.)

Вторым источником переживания была соседка, расплывшаяся одутловатая старуха Подкладенко, жена какого-то отставного буденновца, высокого, сумрачного, дряхлого старика, он недолго пожил в нашей коммуналке, и не помню, чтобы очень докучал. Зато старуха его любила на кухне поскандальить и быстро доводила дело до злобного крика:

– Не зря вас Сталин сажал, не зря! Еще не так надо было! – со сладострастием наблюдая, как мгновенно бледнеет несчастная каторжанка. А что делать? Не бить же проклятую старуху. Мама закрывалась в комнате, ее трясло, слезы катились по щекам неудержимо, она сидела на тахте, укрыв лицо руками:

– Как она смеет! Как она смеет! – только и приговаривала она срывающимся голосом. Как заткнуть проклятую старуху, я так и не придумал, переорать ее было невозможно, жаловаться на ее тексты было нелепо, оставалось лишь терпеть и тупо повторять: не обращай внимания, плюнь, не доставляй ей радости своими слезами – и т.п. Забрехала идея разехаться, так оно потом и произошло, но уже без мамы. Всего-то ей было шестьдесят шесть, когда, поскользнувшись на натертом паркете, она упала и легла в больницу с переломом шейки бедра, и перелом быстро начал срастаться, но от лежания образовался тромб, заткнувший легочную артерию.

На подмосковном Долгопрудненском кладбище золотозубый бригадир отвел участок с тремя березами. Мама березы любила. На одной из них, помечая место, бригадир вырезал ножом: «Всесвятская».

Эти буквы и посейчас различимы.

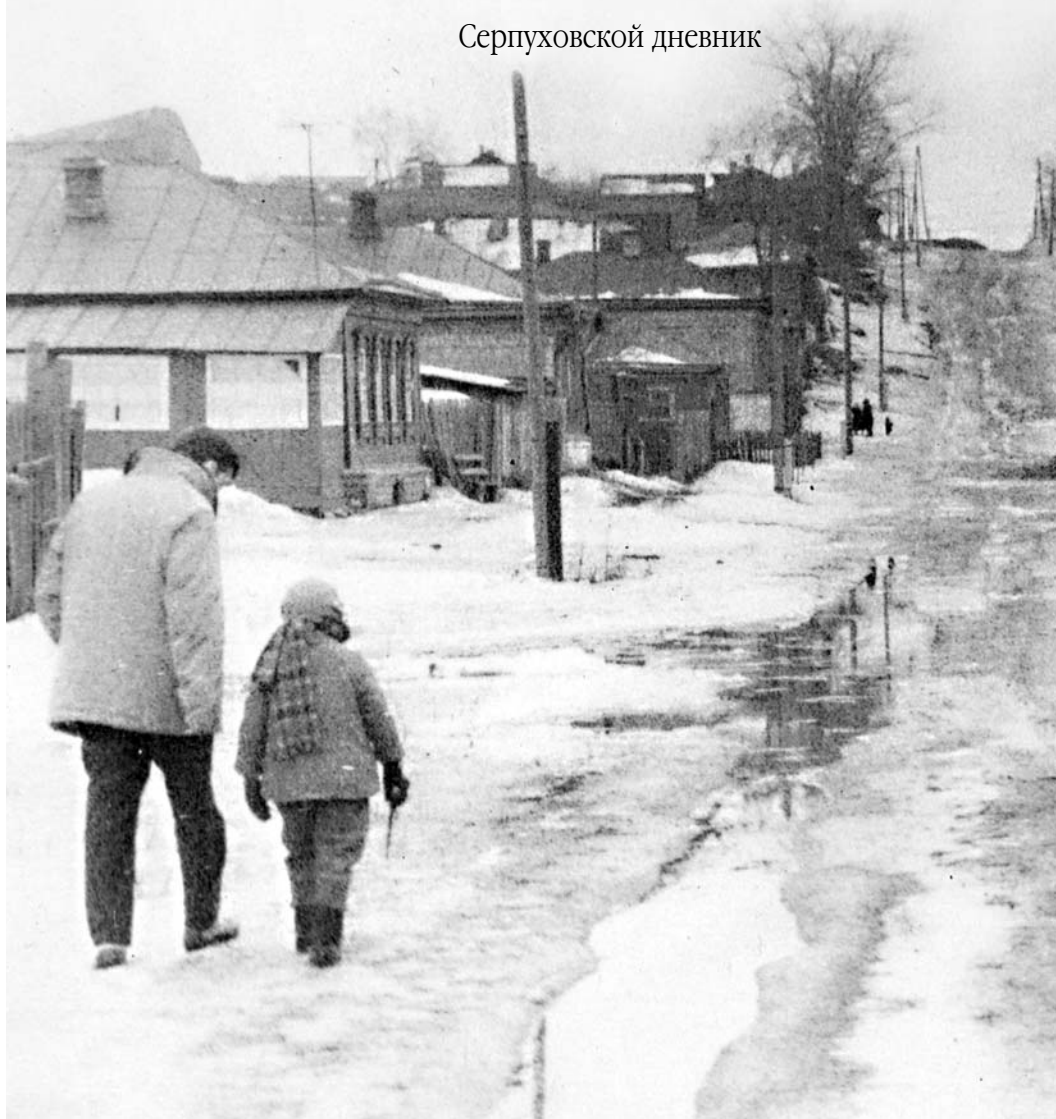
Мама всю жизнь была синеглазая и русоволосая, седина едва ее тронула. Приятно картавила. Больше всего любила среднюю Русь, Калужскую, лесную. Лагерь потряс, но не ожесточил ее. Мечтательный романтизм и какая-то ясная душевная чистота светились в ней постоянно. Учительские дрязги и житейская грязь ее не касались. Абсолютно чистый человек, бескорыстный и самоотверженный. Возможно, даже скорее всего, – она была натура страстная. Всесвятская порода! Но время ее жизни мобилизовало всю ее волю на ответственность и самоограничение.

Все-таки мало мы с ней пожили, мало. Не покидает чувство, что не успели поговорить как следует. Мама моя, мама... может, встретимся еще?

Ноябрь 2004 года

Часть 6
Отдельные
записи
Нины Всесвятской

О школе № 175
Серпуховской дневник



В мамином архиве сохранились короткие воспоминания о школе № 175.

После реабилитации мама вначале с сентября 1958 года преподавала в школе № 172, где она работала до ареста и где в то время директорствовала ее бывшая ученица. Это была школа для «переростков», работать в ней приходилось достаточно напряженно (мы, дети, жили далеко от Москвы и о ее трудностях знали вскользь), и через два года мама перешла в школу № 175, что в Старопименовском переулке. Эта школа имела свою историю: бывшая частная гимназия, она при советской власти стала образцовой 25-й школой, где учились дети правительственной элиты: Молотова, Буденного и другие. Эту школу закончила Лидия Либединская и в книге «Зеленая лампа» и многое другое живо описала, как учились дети в 30-е годы. В частной беседе она рассказала, что училась вместе с Василием Сталиным и они оба дружно отставали по математике. Позже школа стала 175-й, но сохраняла свою «номенклатурность» и в 50-е годы. Может быть, поэтому, а может, потому, что в классах до мамы работала очень любимая учительница литературы, но мама оказалась в положении учителей, поневоле сменивших ее в 40-е годы. Первые месяцы новой словеснице было трудно, но постепенно барьер недоверия растаял. Как это было, рассказывают в своих очерках, помещенных в следующей части, ее московские ученики.*

О школе № 175

В 1966 году мама так вспоминала о дне своего ухода на пенсию 7 сентября 1964 года:

Два года назад школа № 175 проводила на пенсию учительницу Нину Валентиновну, Нинутинну, как звали меня ребята... Как часто бывает в моменты напряжения, мое «я» воплотилось в некое третье лицо, наблюдая со стороны за происходящим. Сама я, кажется, никого не провожала на пенсию – и вот впервые провожаю сама себя.

У дверей учительской я увидела моих учениц. Ох, и они здесь! Я им изменяла в последнем, 11-м классе, а вела многих с седьмого!

– Нинатинна! Как же так? В последнем-то классе! Вы – и на пенсии... И охота вам?

Что-то объясняю, отшучиваюсь, но все это неловко, с чувством вины перед ними и ощущением еще не воздвигшейся, но уже намечающейся преграды, которая скоро решительно нас отдалит друг от друга.

В нашем школьном буфете – длинный стол буквой «Г». На столе стаканы, пирожные, конфеты, фрукты.

Вот и учителя заняли свои места.

* Либединская Л.
«Зеленая лампа»
и многое другое.
М., 2000.



*Наташа Эйдельмант
и Наташа Плевако
на ступеньках школы
№ 175*

Вот и мы, два уходящих, я и учительница начальных классов.

Вот небольшая заминка: администрация решает, что делать с учащимися, пустить за стол или оставить делегацией? Решено – пустить.

Мои девочки (класс был главным образом девичий) усаживаются за стол.

Начались речи, говорит директор, увязав столь торжественное событие с недавно провозглашенным Днем учителя.

Говорит Владимир Николаевич, наш физкультурник, небольшой, худощавый, с несколько оттопыренными ушами. Он забыл для сегодняшнего дня наши азартные перепалки с ним. Он говорит приятные для слуха и добрые слова.

Насупротив меня – мои славные «амазонки», милые словесницы, которыми я так либерально и столь бесталанно «руководила» последние два года в качестве председателя нашего маленького методического объединения.

Говорит Александра Федоровна, милая женщина, мать двух мальчишек, хороший учитель и товарищ, даже голос ее слегка дрогнул, а моя душа слушает без трепета, только улыбка, поди, растерянная.

Мне преподносят ложечки в красивой коробке.

Ко мне идут две Наташи, несут букет и «адрес»...

Наташа Эйдельмант и Наташа Плевако...

Две подружки. Одна невысокая, с живыми большими глазами, которые иногда бывают круглыми в моменты напряжения от радости или возмущения. Мой Дон Кихот, моя вонительница, моя бывшая «врагиня», бескорыстный, горячий и правдивый человек. Это Наташа Эйдельмант, мой незаменимый помощник.

Наташа Плевако высокая, тонкая. Удлиненное лицо, правильные черты, что-то от англичанки, как я их себе представляю. Сдержанная, замкнутая, одновременно и застенчивая и чуть высокомерная.

Я ее мало знаю и не близка с ней.

Девочки дружат, но, мне кажется, дружба неравная: более горячая со стороны Наташи Э. и не всегда ровная, «с изменами», уходом к другим – со стороны Наташи Плевако.

В добрых словах, обращенных ко мне, и капля обиды и горечи за несвоевременный уход. Я отвечаю. Стараюсь объяснить свой уход, свою «вынужденную посадку», расхваливаю преемницу свою – Татьяну Гавриловну. Она, мол, даст вам то, чего, может, не дам я.

– Не я иду на пенсию, – шутливо говорит она, слушая мой затянувшийся дифирамб.

В это время входят юноши из класса «а», все в черных костюмах и белоснежных рубашках, в руках гладиолусы, белые, красные, бархатно-черные.

Юноши... мои «государственные умы» – Коля Орехов, Боря Левин, Андрей Коваленко, Саша Серeda. Цвет 10 «а» класса, мои мальчики, перед которыми я не раз чувствовала себя без вины виноватой: все мне казалось, что не могу я полностью с достаточной глубиной удовлетворить их пылкий ум.

Их приход «опрокинул», третий человек перестал наблюдать, появилось сознание шага последнего, процесса необратимого.

Коля подошел с букетом, что-то, видимо, хотел сказать, но вымолвил просто «спасибо», глядя на меня светлыми близорукими глазами. И я не нашлась, что сказать, крепко пожала его руку и поерошила волосы.

Потом ребята пели, кое-кто подпевал. Я пересела к ним поближе и еще раз взглядывалась в милые лица.

Домой возвращалась с цветами и дарами одна. И дома никого не было.

Грусти не было, я перегрустила раньше. Была пустота, какая бывает, когда, расставшись с привычным, сядешь в вагон поезда, уезжая к новому, еще неизвестному.

«Адрес», врученный девочками в тот день, сохранился. Вот он:

Дорогая Нина Валентиновна!

Нам очень горько, что Вы оставляете нас почти у самого финиша. Нам будет очень трудно, потому что в своих сочинениях, в разговорах о литературе мы привыкли открывать Вам свое самое сокровенное, может быть, часто неправильное, но всегда что-то совсем свое. Мы знали, что каждого из нас Вы знаете и с каждым говорите не только об общей теме, а всегда о том, что отдано и рассказано Вам.

Мы знали, что нельзя соврать, нельзя сказать не все или отнестись к теме формально. Вы не прощали, потому что просто не могли понять этого.

Вы научили нас искренности и прямоте суждений, и нам кажется, что это самое главное в человеке и в жизни. Мы все разные, все беспокойные и, наверное, противные, но каждый из нас был как-то принят и принят Вами.

Вы, уважая индивидуальность каждого из нас, заставили и нас уважать и любить друг друга. От этого мы не стали спокойнее и лучше, но мы искренни и обещаем Вам остаться такими же.

Ваш, теперь уже 11 «в».

В СЕРПУХОВЕ

АЛИНА КИМ: Мама вышла на пенсию, чтобы помочь мне воспитывать сына Марата (я тогда работала в серпуховском тубдиспансере). Ребята как-то всем классом с гитарой и песнями навестили ее в Серпухове. Нам показалось, что они были несколько разочарованы увлеченностью их учительницы заботами о внуке. Конечно, мама пожертвовала школой ради семьи, только тоской о школе можно объяснить, почему вдруг во всех подробностях через два года она вспомнила свое прощание с ней. Но мама была верным другом своих детей и всегда появлялась там, где была очень нужна (только до Юликовой Камчатки ей было не добраться). Она приезжала ко мне на практику в Вышиний Волочок и очень помогла нашей группе украсить прощальный вечер своими веселыми стихами; пожила и в Восточно-Казахстанском горном поселке Белая Гора, где я начала свою врачебную практику сразу главным врачом и где решился вопрос, быть или не быть моему замужеству; приезжала в Алма-Ату, где я с грудным ребенком снимала комнату и проходила клиническую ординатуру в Казахском НИИ туберкулеза; провела со мной вместе с Маратиком три волшебных лета в Крыму под Судаком в лагере для подводников «Дельфине», где я



Мама в гостях у дочери в Восточном Казахстане. 1959 год

работала врачом-отоларингологом. К счастью, все это были дивные места, хотя всюду присутствовала та же бытовая неустраиваемость, что и в Малоярославце. Но бывшую лагерницу это волновало меньше всего, и она с упоением совершила с нами горные походы по Рудному Алтаю с его живописными матрачными отложениями, сосновыми и березовыми лесами, изобильными земляничными полянами, или по альпийским лугам и ледникам Заилийского Алатау с гигантскими пирамидами тянь-шаньских елей на склонах, наслаждалась долгими заплывами в Черном море. Самым счастливым был, пожалуй, июль 1968 года, когда в Крыму собрались: я в «Дельфине», мама с Маратиком возле, в Уютном, Юлик со всеми Якирами – женой Ирой, ее родителями Петром и Валей и с Петром Наумычем Фоменко – в Новом Свете. Позже появился уникальный Леонард Терновский – будущий диссидент – «отсидент» с женой Люсей и маленькой Олей, которая отплясывала канканы на наших телах на пляже. В эту пору Юлик сочинял песни для постановки Петром Фоменко комедии Шекспира «Как вам это понравится», и мы прямо на берегу Черного моря слушали свежеспеченные куплеты шута. Все это было прекрасно. А через месяц в Прагу вошли наши танки...

Лето же 1970 года омрачилось эпидемией холеры, и я на всякий случай отравила из «Дельфина» маму с сыном досрочно.

А тогда в Серпухове мы жили очень славно: у нас была комната с изолированным входом, с печкой-голландкой, яблоневый садик с беседкой, огоро-

дик. Кухня была общая с соседями – очень милыми, пищу готовили на газовой плите. «Удобства», правда, были в просторном дворе, там же размещались сараи, в нашем, кроме дров, стояли три пары лыж (мама до последних дней была заядлой лыжницей) и даже притащенный моим юным другом Мишей Гололобовым стол для настольного тенниса, который тут же во дворе и раскидывали.



В горах Заилийского Алатау с Львом Базильевичем Шеффером. 1960 год

Мама воспитывала внука так же, как делала все, – с удовольствием и увлеченно. Пока я осенью 1966 года пробивала прописку в Москве, бабушка вела дневник их жизни с внуком.

Вот наиболее характерные – для времени и отношений с внуком – дневниковые записи.

СЕРПУХОВСКОЙ ДНЕВНИК

Дневник бабушки с 31/VIII по 8/X 1966 года.

31/VIII

Сегодня в школе «пробный день». Сегодня Маратик начинает, как он говорит, «новую жизнь». Пробный день в среду, а в пятницу Маратик и Игорек решили сделать «праздник»: вытащили коробки с елочными игрушками, развесили по стенам флажки, картонных рыбок, зайчиков. Такая разукрашенная комната встретила в субботу нашу маму.

Ведь наша мама в Москве, а мы с Маратиком в Серпухове.

Мама привезла ранец-портфель, нарядный, желтенький. Сначала он не очень понравился Марату, а потом, когда Марат нарядился в школьную форму, сложил в ранец книги и пенал, посмотрел на себя в зеркало и покрасовался перед соседями, – было решено, что у нас все в порядке и ранец-портфель выглядит отлично.

К школе мы давно готовы: еще летом куплены форма, белая рубашечка, почти все книги (кроме букваря), тетрадки, авторучка, карандаши.

Как назло, погода к концу августа испортилась: небо потемнело, налетел холодный ветер, полил совсем осенний дождь – и не вери-



Бабушка с внуком
Маратиком.
Сертухов,
1965 год

лось, что совсем недавно бегал Марат в маечке и трусах под горячим солнцем.

Но ведь первое сентября – праздник. И небо сжалилось над детворой, особенно над малышами-семилетками. Уже 31/VIII прояснилось небо, выглянуло солнце.

Пробный день начинался в 10 часов. Маратик накануне лег в 9 вечера, правда, он еще проболтал в постели полчаса. Проснулся в 8 часов и к половине десятого был готов и даже походил вокруг дома в форме и с портфелем.

Не решили мы с ним один важный вопрос: нести в школу букет цветов или лучше принести цветы 1 сентября, в самый торжественный день. Решали, решали – и отправились без цветов.

Школа близко, идти до нее от нашего дома минут десять. Путь знакомый: рядом хлебный магазин, куда Маратик несколько раз один, самостоятельно, за хлебом ходил.

Во дворе школы много ребят – и совсем маленьких, и старших.

И... у всех первоклассников букеты цветов! А мы-то оплошали! Ну, что делать! Отнеслись к нашей ошибке философски...

Вышла учительница, высокая, худощавая, волосы с проседью. Зовут ее, как мы быстро узнали, Наталья Ивановна. Она построила первоклассников, вызывая каждого по имени и фамилии, в пары и повела в класс, а родители пошли сзади, тоже в класс. В классе все ученики построились в линейку, и учительница посадила за первые парты тех, у кого зрение слабое.

Маратика долго не вызывала учительница, вот уж и парты почти все заняты, он стоял, прислонившись к стене, и, поглядывая на меня, подмигивал: дескать, все еще не вызывают.

И вот его вызвали. Его парта во втором ряду от двери, его соседка – Ирина Исламова. У Ирины черные глазки, смотрит исподлобья.

Учительница Наталья Ивановна поздравила ребят с началом учебного года, велела всем запомнить свои места, рассказала, что надо завтра взять с собой, когда приходиться в школу...

Маратику стало скучно, он начал позевывать.

Но вот все выяснили, детей построили в пары, родители вышли на улицу, чтобы там встретить своих первоклассников.

Пробный день кончился.

1/IX

Накануне приехала мама. Мы ее ходили встречать. Мама привезла новые диафильмы и приветствия в стихах и прозе от москвичей –

устные и письменные. Мы по дороге рассказали маме о пробном дне.

Первое сентября. Погода чудесная. Шли втроем, спешили. Маратик даже пожаловался: никакого передыха нет, так спешим. Во дворе собрались ребята.

– А сегодня цветов не надо, – деловито сказал один мальчик.

– А мы с цветами. Ведь сегодня 1 сентября, праздник, – ответила ему я.

Маратик поздоровался с Н. Ив. и отдал ей букет. Его поставили в класс на учительский стол.

Ребята построились парами, директор школы поздравила всех с началом учебного года, прозвенел первый звонок – и первоклассники первые стали подниматься по ступенькам в школу, потом наверх в свой класс. А родители, растроганные и умиленные, ушли домой.

Было три урока. В 11.20 кончились занятия, родители пришли встретить малышей.

Маратик, Вова и рыженький мальчик, похожий на Кирилку из «Марки страны Гонделупы» С. Могилевской, шли втроем, обнявшись, а мамы и бабушки шли сзади.

Дома Марат снимал свой школьный наряд и рассказывал о своем первом дне.

Наталья Ивановна сказала правила. Надо сидеть тихо. Даже шептаться нельзя, другим нельзя мешать заниматься. И еще что-то нельзя, а что, Маратик забыл. Потом учили стих. Сначала Марат его не вспомнил, а к вечеру вдруг вспомнил:

Ребята-семилетки
Сегодня в первый раз
По всей стране советской
Шагают в первый класс.
В большой и светлой школе
Для всех открыта дверь,
Та-та-та-, та-та, та-та,
Мы школьники теперь.

(«Мы все пришли учиться», как потом оказалось.)

Потом достали буквари. Нат. Ив. по партам спрашивала, кто умеет читать.

Ребята выходили и читали. Марат тоже прочитал: быстро-быстро.

После перемены Н. Ив. предложила каждому что-нибудь написать и что-нибудь нарисовать. Марат написал: «Арбуз съели великаны, потому что его сварили(!)».

А нарисовал «убийство»: по улице идет человек с револьвером,

а из окна в него целятся, и там пулеметный дот («гнездо», поправил-ся Марат).

Соседка Ирина оказалась девочкой строптивой:

– Не будешь по моему букварю читать, – сказала и добавила к тому же: гад.

2/IX

Мама уехала вечером первого. Наутро еле разбудила Марата. В школу уже спешили и пришли, когда ребята были в классе. Канители, нашей неизменной и непобедимой канители стало меньше, но и особой спешки не наблюдается. Есть в нас этакая восточная безмятежность!

Марат сказал как-то маме: теперь баба будет «наслаждаться» – играть на пианино, читать. Внук-то в школе! Но для наслаждений времени мало, глядишь – уже 11.10, надо идти встречать внука...

Учили в классе по рядам стихи. Загадывали загадки. Сказки рассказывали.

– А ты рассказывал?

– Нет. Учительница в нашу сторону почти и не смотрит, только «мелькнет глазом»...

5/IX

...Марат сочинил за обедом сказку:

«Ведь туалеты бывают для мужчин и женщин. И вдруг все видят: мужчина идет в женский туалет. Все возмутились и стали кричать. А не знали, что депутация издала приказ: мужчинам носить женскую одежду и причесываться по-женски, и туфли чтобы были на каблучках, а женщинам носить брюки, кепки. Ну и в туалеты ходить по-другому: мужчинам в женские, а женщинам в мужские»...

6/IX

Встречаю внука.

– А у нас новость! Люся Казачкина, Вовкина собеседница, – описалась! Вдруг слышим, вода с парты полилась...

– А вы смеялись?

– Только все смотрели, а учительница спросила: «Ты что же не вышла, Люся?» А она говорит: «Боялась урок пропустить».

7/IX

Это был плохой день. Утром Марат рассердил меня: зарядку делал плохо, баловался, и дело кончилось крупной ссорой.

В школе получил замечание от Н. Ив. за то, что баловался с соседом во время урока, толкали друг друга ногой.

Бабушка всю дорогу домой сурово молчала. Внук шагал, повесив голову.

Дома бабушка сидела у окна темнее тучи. Внук долго пыхтел и сопел, снимая форму, пока, наконец, сопя и всхлипывая, не залез на колени бабушки, ткнувшись виноватым носом в ее еще не простившее плечо...

10/IX

ЧП оказало благотворное воздействие. Замечаний пока что не было...

Н. Ив. предложила принести Марату какую-нибудь книгу и почитать ребятам.

– А может, необязательно? – не очень воодушевяясь, сказал Марат. – Ребята смотреть будут, уставят глаза...

С Иркой отношения все еще не очень дружелюбные. То тетрадку возьмет без спроса, то толкнет, то по голове стукнет. Почему-то назвала «евреем»...

Домашние уроки готовит без особого энтузиазма, позевывая, с перерывами.

– Марат, ведь ты же можешь лепить, рисовать в течение нескольких часов, а тут полчаса тебе трудно спокойно посидеть.

– Да, когда я рисую, вольно сижу, а тут как связанный.

Как-то еще до школы Марат говорит мне, сидя передо мной за столом:

– Мной хотят серьезно заняться по физкультуре Миша Гололобов, папка и дядя Юра.

– Это хорошо. Столько народу. Что-нибудь выйдет, наверное. А твоей головой кто будет заниматься?

Марат устремил в мою сторону большой палец:

– Я намёкиваю на эту женщину.

13/IX

– А что у нас сегодня будет?

– Ким Алина Черсановна.

К приезду мамы вытирал пыль, нарвал цветов для букета, исписал страничку словами...

Идущий в стране спор о Сталине передается и самому младшему поколению.

Сидя как-то у телевизора, ребята заспорили.

Марат: «Сталин плохой. Он много своих верных друзей погубил». Саша: «Зато он цены снижал».



Бабушка с внуком и своей ученицей возле дома № 11 по улице Печатников

Читая повесть Кассия о Володе Дубинине, Марат говорил: «А тут все Сталин да Сталин, надо вычеркнуть. Пусть только Ленин будет». Все это «знамение времени».

20/IX

Мы приехали из Москвы.

– Марат, где лучше: в Москве или в Серпухове?

– И там и здесь. Здесь – родная стихия, там интереснее: театры, кино, есть спортклуб, все наши главные родичи в Москве...

Расставался с мамой даже с ревом. И заявил, что, пока эта прописка идет, все пройдет. А раньше он возвращался в Серпухов с победной песней: «Вихри враждебные...» – и говорил – эта песня всегда поется «за свободу и независимость»...

Стал стеснительнее. В пять лет он при большой компании в Малоярославце читал, стоя на стуле, все «Бородино» Лермонтова с милыми оговорками (чужие «повзорвать мундиры») и своеобразным пониманием «и постоим мы головою» (на головах)...

В школе с Сашей Шумовым подрался на перемене. Когда я стала расспрашивать подробнее о происшедшем, он отмахнулся: «Ну чего ты о прошлом все расспрашиваешь?»

Некая языкатая Лена сказала Марату: «Ты китаец? Ты из Японии свалился?» На что Марат спокойно: «Ты что? С луны свалилась?»

Юлик когда-то говорил с обидой: «Ма, он по национальности ругается»...

Приезжали к нам Юлик с Ирой. Марат первый увидел их, помчался не к ним навстречу, а поскорее сообщить мне (ведь он первый увидел).

К Юльке все приставал – давай повозимся!

И смущал его явно: «А твоя женушка все спит?» – спрашивал лукаво, собираясь в школу и поглядывая на спящую Ирку.

Юлик грозно отмахивался.

23/IX

– Ба, бывают генералы-солдаты? Ведь бывают же генерал-майоры, генерал-лейтенанты!..

Читает сейчас внук рассказы о Ленине. Заметил: «А у Ленина дом был богатый. Сколькo комнат, сад большой, сарай!»

Кто-то из наших гостей принес в подарок шоколад «Аленушка».

– Вот невпопад, – заметил внук, – я как раз этот шоколад не очень люблю.

Мама за то, чтобы оценки не были в центре внимания или целью обучения. Это верно. Нельзя устраивать тарарам из-за промаха, но и нельзя не порадоваться отличной оценке...

218

Марат имеет свои политические убеждения. Весь мир делится на людей плохих и хороших. Для счастья человечества, собственно, не так уж много надо: пусть все хорошие однажды убьют всех плохих. Правда. Так просто!

– Ба, знаешь, ребята фашистов называют немцами, они говорят: в атаку, на немцев! А ведь немцы-то разные бывают, не все немцы – фашисты.

Пытаюсь разъяснить.

– Нет, ребята даже не верят, что есть немцы хорошие и были хорошие, когда мы воевали с фашистами.

– Я нарисую такую карикатуру: Америка в гробу, а по гробу шагают вьетнамцы...

Папа, по своему обыкновению, обманул и во вторник не приехал. Марат ждал, но не очень азартно.

– Папка ехал, ехал – и не доехал, – заметил вечером во вторник.

8/X

– С Сашкой подрались.

Сашка обвинял Марата, Марат – Сашку: ты нарочно меня дразнил, ты говоришь, я тебя слушаться перестал. Вот дурак ты!

Совсем в ярость пришел. И я его увела...

Вечером, раздеваясь, запутался в шнурках: «Ох, и жизнь у меня! Прямо от такой жизни умереть можно!»

Свернувшись клубком под одеялом:

– Ба, отыщи меня!.. Я под одеялом. Комок один. Марат Алексеевич Нурдубаев.



Маратик с папой Аганасом возвращаются с прогулки. Серпухов, 1964 год

На этом дневник прерывается, семья собралась в Москве. Конечно, влияние бабушки на становление внука было большим. Даже ее особое отношение к евреям как-то передалось ему. Когда его в Серпухове кто-то спросил о его национальности, он, перечислив свой русско-казахско-корейский букет, добавил: и еще частично еврей. Непостижимо и то, что отчество свое – Марат Алексеевич – он произвел от русского имени Черсана – Алексей, почему и Юлик, работая учителем, называл себя Юлием Алексеевичем. Но внук-то русского имени деда не знал!

219



Часть 7
Ученики
об учителе –
спустя жизнь

Этот раздел мы начинаем с воспоминаний о Нине Валентиновне ее мало-рославецкой ученицы Алины Новосельцевой-Клименко. Они были напечатаны в 2003 году в газете «Малоярославецкий край». Об истории этой публикации коротко расскажем, так как она прямо связана с важным событием в городе нашего детства. В 2000 году при мэрии в Малоярославце открылся Культурно-просветительский центр «Единство». Его сотрудники Галина Ивановна Гришина (руководитель центра), Зоя Николаевна Старыгина, певец Вячеслав Григорьевич Кузин не только собрали вокруг себя талантливых людей края, не только устраивают их концерты, выставки, но и углубленно изучают историю города. Уже найдено множество материалов о замечательных людях, живших в Малоярославце, в том числе живших не по своей воле. Так стихийно возник, можно сказать, местный «Мемориал». Мы подружались с бескорыстными тружениками «Единства», почувствовали в них тот же энтузиазм, который стал движущей силой просветительской работы угодскозаводских подвижников, краеведов Музея Г. К. Жукова, наших ссыльных педагогов, делавших все возможное в условиях полного отсутствия свободы. Нам такая связь времен и поколений кажется закономерной. Наверное, не только «рукописи не горят», но и славные традиции, родившись, не исчезают надолго. В 2003 году в «Единстве» случайно оказалась рукопись «Детства за 101-м километром». На ее публикацию в местной газете и откликнулась Аля Новосельцева. В свою очередь, Алин очерк навел нас на мысль найти маминых учеников из ташаузской и московской школ и предложить им рассказать или написать все, что они помнят о своей учительнице. Так появился этот раздел книги. Заметим, что почти все помещенные в нем фотографии авторов воспоминаний относятся к школьному периоду – именно такими помнила и любила своих учеников Нина Валентиновна.

АЛИНА НОВОСЕЛЬЦЕВА-КЛИМЕНКО: Нина Валентиновна Всесвятская пришла в наш пятый класс семилетней школы 1 сентября 1947 года. В ее лице мы обрели и классного руководителя, и учителя русского языка и литературы. Какое это было счастье – ее уроки! На русском я помню Нину Валентиновну, диктующую нам предложения, ходящую между рядами с красным карандашом и тут же подчеркивающую ошибки в наших тетрадах. А исключения из правил спряжения глаголов Нина Валентиновна умело сложила в стихотворение, запомнившееся на всю жизнь:

Видеть, обидеть, ненавидеть,
Терпеть, вертеть, смотреть, зависеть.



Аля Новосельцева

- Или: И ужасно, и опасно
 Букву «т» писать напрасно!
- Или еще:
- Почему в слове «подушка» нужно писать «о»?
 - Потому, что ее кладут под ушко!

И так далее, и так далее...

Эти приемы использовала и я в своей работе, когда стала сама учительницей, конечно же, под влиянием Нины Валентиновны.

Помню, с каким упоением читала Нина Валентиновна на уроках литературы поэму Некрасова о женах декабристов. Только позже нам стала понятна та боль и гордость за этих благородных дворянок, судьбу которых, собственно, повторила и сама Нина Валентиновна, и сотни таких же умных, талантливых и благородных женщин. Тогда, будучи пятиклассниками, мы, конечно, не знали ничего о прошлом нашего дорогого человека. Все были влюблены в нее.

Нина Валентиновна готовила с нами праздники и спектакли, сочиняла частушки на школьные темы и выпускала шуточные стенные газеты.

Увлекала нас Нина Валентиновна и своими рассказами о прочитанных книгах на картофельных полях колхозов, куда мы ездили осенью. Все старались скорее и чище собрать картошку на своих бороздах, чтобы в десятиминутный перерыв слушать чудесную речь нашей волшебницы. На работу в Афанасово нас возили на машинах, а обратно с полей шли пешком, слушая «Лунный камень».

Занималась и дополнительно с нами после уроков наша любимая учительница, не считаясь со временем, и, конечно, бесплатно. Даже Алю свою привлекала для занятий по английскому языку. Она была на два года старше нас и знала английский лучше. Юлик привлекался к сочинительству частушек, хотя он был на год младше нас. Вот такой творческий человек была наша дорогая Нина Валентиновна. Нам так завидовали ребята из других классов. Хотя этот проницательный человек и учитель и в других классах умело находила стоящих учащихся. Так, однажды о Валентине Ермакове, который учился тогда уже в седьмом классе, Нина Валентиновна сказала: «Из этого мальчика будет толк». И действительно, стал ведь он поэтом, певцом нашего края!

Ходили мы и в походы с Ниной Валентиновной. Очень нравились ей наши места. Однажды, когда мы проходили по старому кладбищу к реке Луже, Нина Валентиновна задумчиво, глядя на вековые липы, шумящие листвой, сказала: «Вот если бы они умели говорить, сколько бы нам рассказали. А давайте прислушаемся к их шелесту, может

быть, что-то и узнаем». И в результате появились размышления – сочинения о красоте природы, о войне 1812 года, о боях, захороненных здесь в братской могиле.

Да! Умела эта чудесная учительница чувства добрые пробуждать.

К сожалению, всего полтора года пробыла с нами наша Нина Валентиновна. Однажды, когда мы учились в шестом классе, к нам пришла директор школы и сказала, что по распоряжению свыше Нина Валентиновна должна перейти на другую работу. Из-за прошлого – так тогда нам сказала Мария Ивановна.

Слезы, расстройство, обида! Вот что испытали мы все. Работать пришлось Нине Валентиновне учетчицей в швейной мастерской, а потом и вообще уехать из города, аж в Ташауз. Но мы поддерживали связь с любимой учительницей: сначала ходили к ней, потом переписывались много лет.

Удивителен отклик Али Новосельцевой. Через полвека она вспоминает о полутора годах учебы у Нины Валентиновны так, будто это было вчера, а не спустя жизнь. Только не совсем точно сравнение Алей репрессированных жен «врагов народа» с декабристками. Прекрасные русские дворянки поехали в даль далекую к мужьям-каторжанам сами, по зову сердца. Советских жен отправили в вагонах-тюрьмах отбывать собственные сроки. Нужно сказать, что в 1930–1940-е годы были женщины, в точности повторившие подвиг декабристок. Их и называли этим именем. О судьбах «вольных» жен, поехавших в лагерь Заполярья, чтобы быть ближе к заключенным мужьям, можно прочесть в книге «Гулаговские тайны освоения Севера».*

В конце 1950-х в самиздате ходило по рукам стихотворение Николая Асеева о репрессированных женах:

*Оправдали расстрелянных,
Возвратили права
Сотням жен их растерянных,
В ком душа чуть жива.*

*Ни кибитка да тройка,
Ни некрасовский стих
Ореолом героики
Не ужасили их...*

Сопоставление с декабристками наших лагерниц возникают еще и по другой причине. Известна просветительская деятельность декабристок в местах их сибирских поселений. Вдохновенная культурная работа



Учительница
начальных классов
Алина Новосельцева-
Кшменко на уроке

* Маркова Е. В.,
Волков В. А.,
Родный А. Н.,
Ясный В. К. Гулаговские
тайны освоения Севера.
М., 2002.

отличала и наших ссыльных учительниц, женщин великого мужества и силы духа. Потому и оставили они такой глубокий след в сердцах малолетославцевских школьников.

В конце сентября 2004 года в Казани собрались ученики средней школы туркменского города Ташауза, учившиеся в ней в первой половине 1950-х годов. Они вспоминали школу, учителей и Нину Валентиновну.



Толя Последов – лучший в школе Швандя и Петя Ростов

АНАТОЛИЙ ПОСЛЕДОВ: Нина Валентиновна пришла к нам преподавать русский язык и литературу в 10-м классе.

Жили они при школе в просторной комнате, вся мебель в ней состояла из двух железных кроватей, шкафа, табуреток и стола. Еда готовилась на печке, которая топилась саксаулом.

Возле школы был стадион, на котором мы репетировали парады перед 1 Мая и 7 Ноября, спортивные площадки, парк с тополями, акациями и джудой, бытовые и хозяйственные постройки, где размещались кружки по фотографии, химии, биологии, и даже пруд, заполнившийся летом по каналам амударьинской водой; осенью вода уходила, и мы, погружаясь в мутную жижу по колено, вылавливали подросших сомят, сазанов и усачей.

В доме у Нины Валентиновны всегда был привет и чай с хлебом и сахаром. Мы с Юликом решали трудные задачки по математике. Он тянул на золотую медаль.

Тогда имела место «тяжба» между 10 «а» и 10 «б» и по учебе, и по спорту, и по занятиям в кружках, и по уходуванию за девочками. Из-за них были стычки и даже легкая поножовщина. Но Нина Валентиновна организовала школьный драмкружок, Ашники и Бэшники стали вместе выступать, и соперничество между классами постепенно сошло на нет.

Ставились сцены из «Сорочинской ярмарки» Гоголя, «Войны и мира» Толстого.

Мы остались дружны с семьей Нины Валентиновны на всю жизнь, попросту останавливались в их московской коммунальной квартире. Мой сын однажды расстрелял из пистолета с резиновой присоской все картины внука Марата, за что был прозван «вождем краснокожих». И всегда я оставался для своей учительницы Толечкой, либо Швандей, либо Петей Ростовым из школьных спектаклей.

ГЕННАДИЙ ДЯДЧЕНКО: О Нине Валентиновне впервые услышал от своей тети Веры Михайловны – заведующей горono: мол, придет к вам в школу учительница из репрессированных. Мы дружили с Юликом, и я часто бывал в их доме. Не помню, чтобы Нина Валентиновна позволяла панибратские отношения с нами, но мы, ее ученики,

считали естественным участвовать в ее хозяйственных делах: помогли перебраться в квартиру при школе, отремонтировать печку, что дымила. В то же время жизнь других преподавателей была другим миром.

Когда я уже стал отцом и классный руководитель спросила меня, как я воспитывал своих детей, я сказал, что уважал в них человекoв, когда они еще лежали поперек постели. Наверное, Нина Валентиновна уважала нас как «человекoв». Сколько наших учеников около нее чувствовали себя людьми и шли к ней за этим.

Подружился с Ниной Валентиновной по-настоящему, уже когда она приехала в Москву на Большую Марьинскую. Там я бывал часто. Много у нее нашего школьного народа перевидел.

ЛЮДМИЛА ПАРАХНЕВИЧ-ШАРИПОВА: Прошло более пятидесяти лет после нашего общения с Ниной Валентиновной, а некоторые эпизоды, связанные с ней, стоят перед глазами так ярко и четко, как будто бы это было вчера.

Нина Валентиновна пережила очень много, но никогда не жаловалась на свою судьбу. В школе с ее приходом закипела интересная культурно-театральная жизнь. Мне посчастливилось сыграть роль Анны Карениной в эпизоде ее встречи с сыном. Мне, девочке-подростку, Нина Валентиновна помогла настолько прочувствовать горечь матери, лишеной возможности воспитывать сына, и донести это чувство до зрителей, что в зале ощущалось настоящее эмоциональное напряжение.

Откуда брались силы у Нины Валентиновны в те голодные и холодные послевоенные годы? Я думаю, от ее внутреннего огня, который всегда сохранялся в ее душе.

По счастью, в Туркмении народ был добрым, относился к ссыльным с пониманием, ведь эти люди учили и лечили их детей. Нина Валентиновна покинула этот край даже с чувством сожаления, унося все доброе в своем большом сердце.

ЮРИЙ ВУКОЛОВ: Мне посчастливилось учиться у Нины Валентиновны. По своей натуре я технарь, с холодком относившийся к гуманитарным предметам. Нине Валентиновне удалось привить мне интерес к русскому языку и литературе.

Я и в дальнейшем много лет общался с Ниной Валентиновной и всегда чувствовал неподдельный ее интерес к моей судьбе.

НОННА СЕНАЦКАЯ: Я очень благодарна Нине Валентиновне за многое. На всю жизнь запомнила стихи, которые она мне посвятила на выпускном балу, предсказав мою будущую профессию:



Та самая «чудесная Люся» из «Безразмерного танго» Юлия Кима



Юра Вуколов – «технар» по своей натуре»



Нонна Сенацкая. Предсказание учителя сбылось – Нонна стала замечательным педагогом



Гена Дядченко – друг нашей семьи на всю жизнь



*Николай Дронов –
ученик и друг Нины
Валентиновны*

Что за важная персона
Малышам дает урок?
Угадали, это Нонна,
Наша Нонна – педагог.

НИКОЛАЙ ДРОНОВ: Нина Валентиновна была для меня не только учительницей в школе, но и моим Ангелом-Хранителем. В своей жизни, а мне уже семьдесят, я не встречал человека, который бы превосходил Нину Валентиновну душевной теплотой, воспитанием, сдержанностью, тактом, высоким интеллектом, образованностью, правильностью оценок людей.



*Флера Ишкильдина –
студентка
Ташаузского
пединститута.
1960 год*

ФЛЕРА ИШКИЛЬДИНА-БАТЫРШИНА: Хочется мне сказать несколько слов об этой удивительной женщине. Нина Валентиновна поразила мое воображение с первой минуты. Стояла я в коридоре (была перемена), и вдруг в самом начале его, в глубине, появляется женщина, идет, печатая шаг, и громко читает «Левый марш» Маяковского. И стало мне так обидно, что эта необыкновенная учительница идет не к нам, а в параллельный 10 «б». Но горевала я недолго: скоро она пришла и в 10 «а». И уроки литературы стали удивительно интересными, нестандартными, а у меня появилось безумное желание стать учительницей и именно такой, как Нина Валентиновна. А она как-то сказала: «Ты будешь хорошей учительницей. Я горжусь тобой!»

Конечно, такой, как она, я не стала: это невозможно, но стремилась. Не пересказывала детям статьи учебника, не косила глазом в конспект урока, стихи читала наизусть. И мне радостно было видеть, как зажигались блеском глаза детей, как появлялось у них множество вопросов...

НАДЕЖДА МАСПАНОВА-ПРОНИНА: «Всем хорошим во мне я обязан книгам», – писал М. Горький. Многим качествам педагога, без которых учитель – не учитель, я обязана своему школьному учителю и методисту Пединститута Нине Валентиновне.

Она пришла в наш 10 «а» класс в середине учебного далекого 1953 года.

Скромно одетая, внешне простая, как многие учителя тех лет. Но с таким богатым внутренним миром, с таким необычным подходом к обучению литературе! С ее приходом для меня открылась литература, и началась она с Маяковского – поэта для нас малопонятного. Нина Валентиновна предложила нам несколько тем для доклада по его творчеству. Я выбрала зарубежный цикл стихов. Сделала небольшой доклад. Впервые за все годы учебы читала свой (!) опус. Я откры-



*Надя Маспанова –
ученица Нины
Валентиновны
и в школе,
и в Ташаузском
пединституте*

ла для себя не только Маяковского, я открыла для себя радость творчества, желание учить литературу.

Такой подход к преподаванию был новшеством тогда. Индивидуальный опрос сводился до минимума. Зато: как ты думаешь? Докажи, обоснуй, сделай немного, но сам. Это стоило многого. Только теперь с высоты своего педагогического опыта я могу оценить ее героизм (не побоюсь этого слова) в методике обучения. Я взяла это на вооружение в своей педагогической практике. Как сейчас помню ее, стоящую около первой парты второго ряда (ее любимое место), ее замечательные слова: «Я не завидую богатым, не завидую дорогой одежде. Я завидую тем, кто красиво поет, рисует, тем, кто внутренне богат. А вы?» Начинается дискуссия. Так необычно, увлекательно строились уроки Нины Валентиновны. Ее любовь к литературе, к нам я ощущала каждый урок. И благодарна судьбе за то, что и в Пединституте она стала нашим педагогом и методистом.

На практике в десятом классе мне достался Маяковский! Нина Валентиновна дала мне напечатанную в одном из сборников ее разработку уроков по творчеству Маяковского со словами: «Прочти, не копируй, возьми то, что тебе самой нравится, внеси свое». Этот урок прошел на «5», так как я научилась у Нины Валентиновны не только чувствовать силу слов и мысли поэта, но и выразительно читать его стихи.

Нина Валентиновна часто вспоминала своего кумира, учителя М. А. Рыбникова. А для меня она сама стала эталоном влюбленности в литературу, в свою профессию, учеников. Быть педагогом от Бога – это талант, и не менее, а более ценный, чем музыкальный слух, умение рисовать.

Нина Валентиновна не заполняла нас, как сосуд, знаниями, но зажгла в нас факел, огонь желания добывать эти знания и передавать их следующим поколениям. Это самая благородная миссия на земле. Нина Валентиновна с честью ее выполнила.



*Выпускники
ташаузской школы
через 25 лет.
Ташауз, экскурсия
в Хиву*

Очень долго о судьбах учеников 175-й школы мы не знали ничего. До октября 2004 года, когда на банкете родственника к Юлику подошла дама и представилась бывшей студенткой МПГИ Ниной Эйдельнант. Как сразу же и выяснилось, любимая ученица мамы Наташа Эйдельнант была младшей сестрой Нины. И уже через две недели в далеком библейском городе Беер-Шеве, что в пустыне Негев, после концерта брата к нему подошла Наташа Эйдельнант и вручила воспоминания о Нине Валентиновне.



Наташа Эйдельнант, на всю жизнь оставшаяся романтиком с «донкихотскими устремлениями»

НАТАША ЭЙДЕЛЬНАНТ-РУТКЕВИЧ: Нина Валентиновна пришла к нам в седьмой класс классным руководителем и учителем литературы. Приняли ее не сразу и не все. Многим ее облик показался старомодным, повеяло гимназией, прошлым веком. Всегда в узкой юбке, белых или розовых тонких блузочках, на небольших уже давно немодных каблучках, тщательно причесанная, вся такая аккуратная, дисциплинированная, строгая. Половина класса немедленно окрестила ее «синим чулком», другая половина наблюдала. Прошло совсем немного времени, вдруг все обнаружили, что жизнь с приходом Н. В. меняется. Вместо пережевывания «типичных представителей» начали обмениваться впечатлениями, кто что читает, а читали в ту пору очень много, и Н. В. устраивала на уроке диспуты, просила периодически делать доклады о тех писателях, которых не все знали. Мы тогда с моей подружкой Наташкой увлекались Фолкнером – доклад растянулся на несколько уроков. Иногда Н. В. громко объявляла: «Ребята, сегодня в «Сотом» будут продавать Брэдли». Кто-то немедленно бежал в книжный магазин «Сотый» на Горького (ныне, как и до революции, Тверская) и, счастливый, назавтра хвастался приобретением. Очень много писали сочинений, причем, как правило, на свободные темы, и потом наиболее интересные сочинения зачитывали перед всем классом, обсуждали, спорили. Литературу никто не прогуливал – было интересно. Мы хорошо видели, как хочется Н. В. научить нас выбирать, понимать все лучшее, красивое, интересное. Причем делала это ненавязчиво, тактично, интеллигентно. Вообще, когда говорят о «русской интеллигентности», я представляю себе Н. В. – это о ней.

Ходили с Н. В. в Пушкинский музей, старались не пропускать интересные выставки. Подруга моя вспоминает, как Н. В. показала ей «Любительницу абсента» Пикассо и спросила, что больше нравится: художники-реалисты или Пикассо. Танюшка моя стояла в задумчивости, а Н. В. тихо заметила: «Обратите внимание, сколько тоски, скуки, трагедии во взгляде, сколько жизни».

Интересно, что именно с тех пор моя подруга, заядлый любитель живописи, не пропускает ни одной выставки, среди ее друзей есть художники.

Школа наша была (и есть) на Маяковке, рядом Зал Чайковского, уйма театров. Мы с подружкой Наташей Плевако зачастую ловили билетки на какой-нибудь редкий концерт в Зал Чайковского, добывали самые дешевые на галерку, а потом с удивлением встречали там же Н. В., и по ее улыбке понимали, как ей приятна эта встреча.

В девятом классе поехали на зимние каникулы в Ленинград. Жили в спортзале какой-то школы на окраине, спали на матах, добирались в центр города по морозному Ленинграду на трамвае. Столько лет прошло, а вспоминается очень многое из этой поездки. Может быть, потому, что это был мой первый приезд в Питер, а может быть, потому, что открывала нам его Н. В.. Были где только возможно – Павловск, Эрмитаж, Русский музей, а вечером Мариинка, Театр комедии Акимова, БДТ Товстоногова – все имена открывала Н. В. Все то же стремление показать прекрасное, научить отличать хорошее от посредственного. Ловили билетки у входа и, что удивительно, всегда попадали, а после окончания спектакля выжидали у служебного подъезда, чтобы одним глазком увидеть Юрского. И Н. В. всегда была с нами.

Прошло уже больше сорока лет, и в память врезались какие-то более или менее яркие события, например Новогодний вечер, к которому очень долго готовились, придумывая «школьную моду», долго сочиняли, как нам казалось, очень остроумный комментарий. Н. В. смеялась до слез, значит, действительно, удалось.

В конце десятого класса Н. В. организовала поэтический вечер в школьной библиотеке. Как только потом мы поняли, это был наш прощальный с Н. В. вечер. Каждый читал стихи своего любимого поэта, а потом Н. В. читала свои строки, посвященные нам. Мне она написала (интересно, как запомнилось на всю жизнь!):

Ей суждено любовь любить,
А также быть любимой,
И буйну голову сложить
В борьбе, всегда непримиримой.
Готова драться в упоении
За справедливость всех родов
И в донкихотских устремлениях
Набьет немало синяков.

Очень точно подмеченная характерная смесь романтической барышни в ожидании большой любви с юношеским максимализмом и острым чувством справедливости.

За три года мы привыкли к Н. В. и она к нам. Она никогда не рассказывала нам о себе, но все знали, что прожила она ох какую труд-

ную жизнь, и выжила, и вырастила двоих детей, и выучила их, и поставила на ноги.

Она всегда была ровна, сдержанна и тактична со всеми, никого особенно не выделяя. Но я все-таки ощущала какую-то особую симпатию. И еще был один парень в классе, симпатию к которому она не могла скрыть, – умница и сплошное обаяние, Толя Мечник. Сегодня, вспоминая Н. В., мне кажется, что на нас с Толей она смотрела глазами матери, пережившей то же, что пережили наши мамы в 40-е годы.

В конце года Нина Валентиновна представила нам нового классного руководителя и учителя литературы в связи с тем, что она должна срочно выйти на пенсию. Сюрприз был не из приятных, тем более что класс был выпускной.

Но начался учебный год, подготовка к экзаменам на аттестат зрелости, «образы», «типичные представители» и т.д., и т.п.

Осталось чувство сожаления, что так мало общались, так быстро пролетело время, так многому она могла бы нас научить...

Наташа лишь упоминает в своем очерке о схожести судеб ее родителей и Нины Валентиновны. Подробнее об этом мы попросили рассказать ее старшую сестру.

НИНА ЭЙДЕЛЬНАНТ-МИТАШОВА: Летом 1947 года нашего отца – Эйдельманта Исаака Борисовича – с семьей (мамой и двумя дочерьми – мне было одиннадцать, Наташе полтора года) срочно отозвали из Лейпцига, где он работал над выпуском русских школьных учебников в немецких типографиях.

Мы вернулись, жили на даче в Ильинке, но однажды отца рано утром «взяли» прямо на платформе и в черном «воронке» привезли на обыск в московскую квартиру. Тщетно искали оружие.

При обыске сотрудник КГБ его спросил: «Где вы скрывались десять лет? Мы вас не могли найти, ведь ваших друзей мы взяли еще в 1937-м». Отец ответил, где и как он «скрывался»: до войны работал в издательстве «Молодая гвардия», выпустил в свет первые сборники стихов Пастернака и Светлова, воевал, после победы в чине майора был оставлен в Германии заместителем директора издательства Советской военной администрации.

Осенью 1947 года отец был приговорен «тройкой» к 10 годам лагерей без права переписки и этапирован в Воркуту на шахты. Вышел на свободу в 1956-м. Узнав после реабилитации, что в папке с его «Делом» документов почти нет, перенес инфаркт.

Мама, Любовь Исаковна Флястер, газетный и издательский кор-

ректор, после ареста отца долго не могла устроиться на работу, пока ее не принял на ночную смену в типографии Сергей Иосифович Харитонов, чем спас нашу семью от голода, тогда как даже «друзья» боялись случайных встреч с нами. Через десять лет в Московском педагогическом институте мы подружились с сыном нашего спасителя Марком Харитоновым, будущим писателем, лауреатом первого российского «Букера».

После реабилитации отца мама уже работала по специальности.

С помощью Наташи Эйдельмант, узнавшей из Интернета, где работает ее одноклассница, нам удалось разыскать Наташу Плевако и связать давних друзей.

Наташа Плевако (правнучка знаменитого адвоката Федора Никитича Плевако) свой очерк о Нине Валентиновне так и начинает – с нашей «телефонной разведки».

НАТАЛЬЯ ПЛЕВАКО: Вдруг неожиданный звонок из университета: «Наталья Сергеевна, у вас была в школе учительница Нина Валентиновна Всесвятская? Вас разыскивала ее дочь». Ну конечно же, была. И оставила по себе такую хорошую, долгую, благодарную память...

Новая учительница литературы и русского языка появилась у нас в седьмом классе: суховатая немолодая женщина, академичная, без особых эмоций, скучноватая, как нам сначала показалось. Ей не повезло: дети встретили ее настороженно, не имея особого желания привыкать еще к одной учительнице. Класс раскололся: кто-то активно не хотел принимать Нину Валентиновну, кто-то выжидал, не участвуя в «акциях протеста», но равнодушных было мало, и новой учительнице предстояло «выдержать трудный экзамен». Но время и огромный профессионализм новой учительницы делали свое дело. Она не спешила, была спокойна, не предпринимала попыток завоевать популярность, что так чутко чувствуют дети, она просто раскрывала перед нами огромный мир русской литературы.

Те, кто выбрал гуманитарную стезю, еще и еще раз вспоминают ее уроки, их секреты, желая понять, как удалось этой женщине передать нам не только свои знания, но и искру любви к литературе, увлечение чтением, умение отличать хорошую литературу от суррогата. Как ей удалось заразить нас пьянящим чувством удачно выбранного сравнения, слова? Почему писание сочинений не было обузой, а было делом обычным и подчас очень приятным и интересным. Всегда после проверки сочинений Н. В., входя в класс, говорила: «Сейчас я прочту вам сочинение, которое произвело на меня большое



*Нина
Эйдельмант-
Миташова,
заведующая
сектором ЦНИИБыт.
1995 год*



*Наташа Плевако –
«высокая, тонкая.
Удлиненное лицо,
правильные черты,
что-то от
англичанки».
(Из записей Н.В.)*

впечатление». Мы с замиранием сердца ожидали, что она прочтет отрывок именно из твоего сочинения. В конце Н. В. говорила, чье это сочинение и почему оно ей особенно понравилось. Эти чтения становились высшей оценкой, заслужить которую было нелегко. Так рождалось первое чувство удовлетворения от творчества, человека начинали уважать в классе как «гуманитария». А писали мы много, несравненно больше, чем пишут сейчас дети. По счастью, я сохранила сочинения тех лет. Темы весьма разнообразны: «Причины гибели Обломова», «Человек создан для счастья, как птица для полета» (по «Грозе» А. Островского), «Нигилизм и псевдонигилизм», «Мечта о будущем узника Петропавловской крепости», «Литературный портрет-загадка» (надо было догадаться, о каком произведении пишет тот или иной ученик), «Смысл жизни» (свободная тема по любому произведению), «Человек и страдание» (по «Войне и миру»).

Время, когда Н. В. преподавала у нас, было счастливым временем 1960-х. У нас оно совпало с молодостью, когда влияние окружения особенно велико. Много велось споров – и в семье, и в школе. Атмосфера была благоприятной для воспитания молодых. Люди много читали, делились друг с другом прочитанным. Нина Валентиновна всегда интересовалась тем, что мы читаем, что понравилось, почему. Эти разговоры велись на равных: она с большим вниманием выслушивала наши впечатления о новой книге, особенно если сама еще не прочла ее.

Естественно, что в атмосфере тех лет должны были быть люди, ее персонифицировавшие. Именно таким человеком была Нина Валентиновна. Она никогда не говорила возвышенно, просто советовала: «Старайтесь писать правду. Мне неинтересно, если вы будете писать как надо, как об этом сказано в учебниках, мне важно, что думаете вы сами. Да, вам труднее будет потом сдавать экзамены в вуз, там могут быть другие требования. Но мне пишете правду!» И мы писали то, что думали, и нам было интересно, и мы знали, что так должно быть. Уроки литературы незаметно становились для нас уроками гражданственности. Это происходило естественно, как-то исподволь, ненавязчиво. Наверное, именно в этом и заключается талант учителя. Потом в жизни было всякое, но всегда находились люди, которые перенимали как эстафетную палочку принципы, которым учила Нина Валентиновна.

На уроках она часто читала нам стихи. Помню ее рассказ о смерти Пушкина, который тоже сопровождался стихами, не пушкинскими, а поэтов, которые в разное время откликнулись на его смерть. Так приходили новые имена, а далекие события 1837 года приобретали новое звучание.

С Ниной Валентиновной мы «проходили» не только программу. Она, конечно же, не могла допустить, что некоторые имена «выпали»

из школьного курса. Мы читали с ней Достоевского, стихи Тютчева, Есенина, молодого Маяковского, Пастернака, Цветаевой.

А еще мы ходили в походы. Помню поездку в Мелихово, в Абрамцево. Там мы оказывались в окружении имен уже знакомых и еще не звучавших раньше. Эти поездки были приятны и полезны, они запоминались. А потом мы опять писали.

Нина Валентиновна была вынуждена уйти от нас по семейным обстоятельствам, когда мы перешли в последний класс. Думаю, что расставание было трудным не только для нас, но и для нее. Мы привыкли, знали, любили и верили друг другу. Ей, конечно же, хотелось довести нас до конца школы. Нам было немного страшно оказаться без руководителя и советчика. Но связь продолжилась, Нина Валентиновна поддерживала ее через новую учительницу, которой помогала советом, и с помощью писем, которые она писала некоторым из нас. Она продолжала следить за нашим развитием, интересовалась новостями нашей жизни, осторожно советовала, спрашивала о новостях на книжном рынке. Ее письма я сохранила как дорогую память. Она хотела видеть меня филологом, расстраивалась, что я склоняюсь к другому выбору, считала, что любовь к литературе и языку должна перевесить все иные соображения. Я не стала филологом, но всегда по мере сил искала и ищу возможностей возвращаться к литературным интересам, занимаюсь языком, переводами, сама пишу, хотя и не на литературные темы. Несомненно, очень большой импульс был получен тогда, в школе, когда мы встретили Нину Валентиновну. С тех пор прошло много лет, но очень многое помнится, и еще раз окунуться в это прошлое было необыкновенно приятно.

О Мите Симукове (телефон его дала Наташа Плевако) мы часто слышали от мамы в начале 1960-х. По состоянию здоровья он некоторое время не мог ходить в школу, и мама преподавала ему дома. Она всегда тепло рассказывала нам о нем. Нашему звонку Митя очень обрадовался и написал прекрасный очерк и о Нине Валентиновне, и о себе.

ДМИТРИЙ СИМУКОВ: Всякая смена места работы человека волнует, если не страшит. Как встретят новые коллеги? Начальство? Установятся ли сразу нормальные, добрые с ними отношения? А если это школа и в нее приходит новый учитель, то самое главное – как встретят дети? Какими они окажутся?

Наверное, все эти вопросы задавала себе немолодая уже преподавательница русской словесности, идя на свой первый урок в новую для нее московскую школу № 175, что в Старопименовском переулке



Митя Симукوف –
любимый ученик
Нины Валентиновны

ке, недалеко от площади Маяковского (теперь Триумфальной). Вообще-то ей говорили, что школа крепкая, контингент учащихся – дети московского «центра», в этой школе еще Светлана и Вася Сталины учились, сами понимаете...

Думаю, что со своими опасениями учительница как в воду глядела. Тридцать пар глаз семиклассников встретили нового человека 1 сентября не то что настороженно – враждебно. Но откуда же ей было знать, что это была отнюдь не дань жестокой ученической традиции «проверять на крепость» преподавателя-новичка, сколько бы лет ему ни было. Дело было сложнее.

Когда мы перешли в пятый класс в 1958 году и у нас стали вести уроки учителя-предметники, русскому языку с литературой (точнее, нам с ними) не повезло: их вела учительница хоть и со стажем, но не очень грамотная и не способная пробудить у своих питомцев хоть какой-то интерес к истокам великой русской литературы, начинающейся, как известно, с былин. Говорила серо, скучно, «от сих до сих». Как же мы возненавидели несчастные былины! От нас досталось всем: и Илье Муромцу, и Добрыне Никитичу, а уж об Алеше Поповиче и говорить не приходится... В конце года эта учительница покинула школу к нашей великой радости (еще больше, наверное, радовались наши родители, устав от стенаний своих чад, корпевших над «былинным материалом»).

Первого сентября уже в шестом классе на урок литературы к нам пришла новая преподавательница и сразу же завоевала нас своим «пионерско-комсомольским» задором («Митя, ну как же тебя угораздило такое написать? Встряхнись!»). Легкость в общении, какие-то новые темы сочинений для нас, измученных всякими «Как я провел лето» или «Светлый образ... в бессмертном произведении...», – все это подкупало. Мы с удовольствием, поскольку было с чем сравнивать, углубились в литературу. Я даже примирился с ранними романтическими сказками Горького. Вдруг в конце года узнаем: и эта преподавательница от нас уходит, и не просто уходит, а ее «убирают». Что, как, почему – мы во все это не вникали, да и кто из школьного начальства стал бы перед нами распинаться об истинных мотивах ее ухода. Школа тех лет – это был почти военный плац для бездумных «артикулов» с математическими формулами, вы зубренными баснями Крылова о мартышке и речью Ленина на 3-м съезде комсомола. Но уже потихоньку начинал дуть ветерок хрущевской оттепели, и мы постепенно отходили от тупой речевки «Будь готов! Всегда готов!»

И вот в такой разворошенный, раздраженный, сверкающий мирадами злых глазок муравейник вошла ясным сентябрьским утром 1960 года Нина Валентиновна Всесвятская.

Господи, ну почему люди становятся толерантными гуманистами, только сами став дедушками и бабушками, каковыми мы являемся сегодня?! Неужели для этого нужно обязательно переболеть детским несправедливым отношением к людям?

К чести Нины Валентиновны, она стойко снесла незаслуженную обиду. Она нас ПОНЯЛА. А дальше сработали ее огромный талант педагога, имевшего дело с разными детьми, жизненный опыт преодоления самых тяжелых невзгод и вера в себя и в русскую литературу – я подружусь с этими колючими «ежиками», мы обязательно найдем друг друга...

Уже совсем скоро мы привыкли к манере Нины Валентиновны вести уроки, ее спокойному, с легким аристократическим грассированием голосу, ее темам для сочинений, которые заставляли мозги работать, рождали желание выразить свое «я», приучали к творческому мышлению. Чего стоили, например, такие темы – «Взмах руки, и...» или «Еще мгновение, и...». Вот где был простор для нашего воображения! А потом и все «светлые образы» классических героинь и героев стали нами осмысливаться, мы выражали свое к ним отношение, мы спорили до хрипоты на уроках-диспутах.

Кто из нашего первого послевоенного поколения может похвастаться аналитическим разбором «Преступления и наказания» Достоевского в восьмом классе обычной средней школы? А мы имели это счастье. Причем говорили не только о художественных особенностях произведения, но и о нравственных позициях его героев, их временной обусловленности. А когда пошла живительная волна «оттепельной» литературы – «Коллеги» и «Звездный билет» Василия Аксенова, «По обе стороны океана» Виктора Некрасова, незабываемые вечера поэзии в Политехническом музее или Дворце спорта, – то в класс в пору было вводить нынешний ОМОН.

Глаза моей учительницы сияли. Наверное, она чувствовала, что стала любимой, востребованной для доброй половины класса, рвущегося превознести или ниспровергнуть Наташу Ростову, поразиться глубине таланта Льва Толстого или тут же подвергнуть жесточайшей критике его педагогические воззрения, взахлеб цитировать героев Аксенова и разбирать стихи Евтушенко, Вознесенского, Рождественского и Ахмадулиной – и все это при мягкой, убедительной манере Нины Валентиновны охладить пыл ниспровергателей или раскрыть неожиданные способности тихонь. А как она преображалась, когда говорила о Пушкине! С той поры для меня «Евгений Онегин» не просто роман в стихах, а своего рода поэтический путеводитель по конкретным местам, событиям и людям той эпохи. Вот уж, действительно, «энциклопедия русской жизни». То же и с «Горем

от ума» Грибоедова, ставшим моей настольной книгой. Помню, как восторгалась Нина Валентиновна: «Митя, послушайте, какая дивная метафора в устах Чацкого – А Гильоме, француз, подбитый ветерком?»

Она была для нас искуснейшим кормчим, который легким прикосновением к штурвалу галеона с опьяненной от новых веяний командой сорвиголов задает верный курс, трансформирует инстинкты в эмоции, эмоции – в логичные доказательства и умение их выразить и через любовь к русской литературе будит наши еще неокрепшие «я», чтобы впоследствии мы ощутили себя ГРАЖДАНАМИ.

Надо ли после всего этого говорить, что Нина Валентиновна стала нашим большим-большим другом, принимавшим близко к сердцу какие-то наши неприятности, полудетские обиды. А она могла подбодрить, поддержать. Многие годы спустя мы узнали, причем совершенно от других людей, что эта энергия оптимизма, потребность помощи ближнему дали силы нашей учительнице выжить в страшных лагерях сталинского ГУЛАГа, куда ее после расстрела мужа бросили на долгие восемь лет как ЧСИР – «члена семьи изменника Родины». Любил вождь четкие определения...

В девятом классе вдруг у всех наперекосяк пошла грамотность: то ли очень уж мы увлеклись литературой, то ли вокруг творилось слишком много более интересного, чем какие-то «жи» и «ши» пиши через «и» или запятые в сложносочиненных предложениях. Наша учительница пришла в ужас и немедленно приняла меры: мы взвыли от каждодневных диктантов по отрывкам, взятым из того же Льва Толстого. Но цель была достигнута, грамотность выправилась.

В начале сентября 1964 года Нина Валентиновна по семейным обстоятельствам была вынуждена покинуть школу и посвятить себя воспитанию своего внука Марата – «Хвостика», как она его любовно называла. Перед расставанием она предложила нам всем поехать в Мелихово, в музей-усадьбу Чехова. Идея была прекрасной, и мы галдящей толпой загрузились в вагон электрички. Стоял золотистый осенний день, мы шли опушками леса, шутили, вспоминали «юные» годы. Прошли, наверное, километров десять, устали, но с почтительностью слушали экскурсовода, рассказывавшего нам о жизни здесь Антона Павловича. Потом, как водится, сели перекусить на траве, делая друг с другом своими нехитрыми припасами. Кто-то взял гитару и затянул «туристскую» в нашем понимании песню (они тогда начинали входить в моду). Как сейчас помню первый куплет:

С трудами нам дались валдайские отроги,
Мы так катились вниз, что поломали руки-ноги,

И кое-что еще, и кое-что иное,
О чем не говорят, о чем и петь не стоит.

«Митя, – обратилась ко мне с нескрываемым недоумением Нина Валентиновна, – и эту пошлость вы считаете туристской песней?» – «А что, – не очень вдаваясь в смысл слов шлягера парировал я, – бодренькая такая песня, и про Валдай, и про туристов». Учительница отошла от меня в задумчивости. А на следующий день в нашу школу пришел Юлий Ким, ныне известнейший поэт и бард. Оказывается, он был сыном Нины Валентиновны! Вот тогда-то мы узнали, что такое настоящая авторская «туристская» песня. Как пел, нет, играл свои песни Юлий! Мы просто видели хулигана с его ехидным

А ты, пионер, не спи, глаз не закрывай,
Ты меня воспи-ты-вай!

А с каким задором и совершенно новыми для нас интонациями звучали песни про поиски кита, про кавалергардов, про учителя обществоведения.

Сегодня эти песни, ставшие классикой, знает и распевает уже которое поколение вечно юных «фантастиков-романтиков». А тогда для нас это было откровением, и связано оно тоже было с нашей Ниной Валентиновной.

Прошло несколько лет. Я окончил институт иностранных языков, куда мечтал поступить с шестого класса. Чувство стиля русского языка, его богатство, раскрытое мне моей учительницей, помогло постигать глубины и красоты английского, французского, а затем и чешского языков. Позже, работая в международном отделе ВЦСПС, я не испытывал трудностей в составлении каких-то важных документов: сказывалась школа Нины Валентиновны, заставлявшей нас четко и в устном и письменном виде формулировать свои мысли. Мне много пришлось поколесить по свету, выезжая в командировки в различные страны от Кении до Новой Зеландии. Я повидал массу интересных людей и всегда помнил о своей учительнице, щедро поделившейся со мной своими знаниями и душевной добротой, и все собирался позвонить ей и рассказать, кем я стал, что видел, с кем общался из нашего класса. Но только благими намерениями дорога вымощена известно куда. Как-то раз я все-таки собрался, позвонил по ее домашнему телефону и спросил Нину Валентиновну. На другом конце провода возникла пауза. Потом юношеский голос, должно быть ее внука Марата-«Хвостика», тихо произнес: «А бабушка в прошлом году скончалась...»

Не у-с-п-е-л, а так многое хотелось сказать, поблагодарить за все...

Бывая на концертах Юлия Кима, я всегда посылал записочки с просьбой исполнить ту или иную любимую мною песню и всегда подписывался – «один из учеников Вашей мамы». Юлик говорил со сцены, что ему особенно приятно исполнять такие просьбы. Но все равно в душе саднило: я не успел..

И вот сегодня я так рад, что по цепочке моих бывших соучеников меня нашла дочь Нины Валентиновны Алина и попросила поделиться воспоминаниями о ее с Юликом маме. Этими запоздалыми строками я хоть в малой толике притуплюю свою горечь от не высказанной в свое время глубочайшей благодарности моей Учительнице за ее великий подвижнический труд. И особенно радует меня, что моя вечная память о Нине Валентиновне, выраженная в этих строках, будет разделена с ее детьми, внуками и правнуками.

О любимой ученице Юле Красногладовой мы в свое время много слышали от мамы. Ее разыскала Наташа Плевако. По общему мнению одноклассников, Юля стала педагогом под влиянием своей учительницы. Вот ее очерк.

ЮЛИЯ КРАСНОГЛЯДОВА: Мое твердое убеждение состоит в том, что выбор профессии человеком и его дальнейший жизненный путь определяются влиянием на него школьного преподавателя. И детская логика здесь очень проста: химичка (предположим) – вредная и злая, на уроках кричит, ставит двойки, ругается. Я для нее не буду ничего учить, ничего не буду делать. Пусть ей же будет хуже. А историчка – хорошая, веселая, рассказывает очень интересно, не кричит. Вот ей я сделаю все как надо: и тетрадь оформлю, и доклад напишу, и на уроке буду сидеть тише воды, ниже травы и слушать ее с разинутым ртом, потому что рассказывает она очень интересно. Конечно, логика эта смешная, детская, но в ней есть огромная доля правды – для детей личность преподавателя имеет огромное значение. Яркий талантливый человек, строящий свои уроки не по законам методических рекомендаций, а по вдохновению, так, чтобы урок прошел на едином дыхании, могущий «завести» класс, дать высказаться не только отличникам, но и тем, кому предмет дается трудно, а потом похвалить этого человека, чтобы и он почувствовал себя участником дискуссии, равным с другими учениками, – это тот идеал учителя, к которому старается приблизиться каждый разумный педагог. Таким учителем была Нина Валентиновна.

Ее уроки были безумно интересными. И все, даже самый тупой и равнодушный к литературе ученик, были захвачены азартом дискуссии на этих уроках.

Вот она идет от двери из коридора в класс. Худошавая, стройная (конечно, по нашим меркам – глубокая старуха), синее платье (от него синие глаза кажутся еще синей), крутой вырез ноздрей, русые волосы разлетелись от быстрой ходьбы. А на губах – улыбка, и почему-то у меня создавалось впечатление, что она улыбается только мне. Но как оказалось позже, такое же впечатление было и у остальных ребят класса. Какая-то шутка, смех, а потом начинается урок. Прямо с ходу, без прерамб, вопрос, который вызывает в классе острую дискуссию. На уроках литературы у нас никогда не было тишины, а всегда было очень шумно. И Нина Валентиновна поощряла этот шум, потому что это был рабочий шум увлечения предметом. Что она ценила больше всего в работе ученика? Самостоятельность мышления. Пусть даже самая маленькая, крохотная мыслишка, но своя, выстраданная и доказанная. А ведь сколько учителей приветствует пересказ статьи из учебника при соблюдении гробовой тишины в классе. Насколько же значительны для нас были эти уроки, если после сорока лет, прошедших с тех пор, я помню их! При такой методике преподавания ученики начинали чувствовать себя знатоками в этой области, а это ощущение, в свою очередь, рождало желание узнать побольше из дополнительных источников, чтобы на уроке блеснуть знаниями и потрясти товарищей и учителя.

Постепенно рождались новые отношения между учителем и учащимся – отношения дружества и соавторства.

Конец урока, но из класса выходят единицы. Основная масса ребят кидается к столу Нины Валентиновны. И прямо ей в ухо, нависая над ее головой, используя всю мощь юных глоток, ученики и ученицы начинают орать то, что не успели высказать на уроке, пытаются доказать свою правоту, получить подтверждение, драгоценный кивок головой, улыбку. Даже на следующем уроке класс потихоньку бурлит, продолжая дискуссию на заданную тему.

Ценность этой увлеченности я ощутила в полной мере только сейчас, много лет проработав педагогом в школе. И если после конца урока ребята бегут к моему столу с вопросами, пожеланиями, высказываниями, кричат над моей головой, не давая мне уйти, – я счастлива: это значит, что урок прошел интересно, он запомнится.

А как она умела слушать! У нее была особая «поза слушанья». Нога закинута за ногу, локоть правой руки опирается в колено, а подбородок опирается на отведенный первый палец согнутой кисти. Остальные пальцы закрывают рот. И чувствуешь, что она вся во внимании, сосредоточенна и то, что ты скажешь, для нее жизненно важно, просто необходимо.



Юля Красногладова – «девочка с горящими глазами» (Из стихотворения Н. В.)

Постепенно у меня к восхищению умом и знаниями моей (конечно, моей и ни чьей больше) учительницы прибавляется чувство огромного доверия, и я решаюсь показать ей самое сокровенное, что было у меня в то время, – тетрадь в черном бархатном переплете с собственными стихами.

В то время стихи вылетали из меня безо всякого перерыва: и на уроках, и дома, и в метро... Так хотелось, чтобы их кто-нибудь оценил, но я сильно опасалась: мать была профессиональным редактором и, конечно, стала бы справедливо критиковать мои опусы. Отец сам писал стихи, и я, хорошо понимая беспомощность моих произведений, все же жаждала похвалы. И вот, трясясь от ужаса, я принесла Нине Валентиновне свое самое заветное.

Только теперь, почти в шестьдесят лет, проработав педагогом более двадцати лет, я стала понимать, что такое исключительное внимание к детям – это профессиональный подвиг. Ведь у Нины Валентиновны была в то время и семья, и заботы по дому и хозяйству. И вот в ущерб всем этим делам, я подозреваю, своему сну и отдыху, она все же взялась читать мои стихи и поэмы. И не только прочитала, но и обсудила со мной их плюсы и минусы, причем сделала это в такой корректной и мягкой форме, что я – страшно обидчивый и самозабывчивый подросток – не только не обиделась, а стала все переделывать и перечеркивать, убирать и писать новое, – короче, стала работать над своими «великими» произведениями, как посоветовала моя учительница.

Одно из стихотворений было посвящено впечатлению от концерта, на котором исполнялась «Лунная соната» Бетховена. И в разговоре выяснилось, что у нас одинаковые вкусы: мы обе любим классическую музыку. И тут, немая от собственного нахальства, я предложила сходить вдвоем на концерт в зал Чайковского. Там в это время концертировала единственная, на мой взгляд, женщина, которая понимала и исполняла Шопена так, как мне казалось правильным. Это была знаменитая польская пианистка Галина Черны-Стефаньска. Мне показалось, что Нина Валентиновна получила от концерта большое удовольствие. И тогда я предложила ходить вместе слушать музыку. И действительно, мы довольно часто стали ходить вместе на концерты в Большой зал консерватории и в зал Чайковского. Мне казалось, что у Нины Валентиновны любимый композитор – Бетховен.

Боже мой, как она слушала музыку! Голова откинута, русые волосы распушились, и без того синие глаза стали еще синее, худощавые руки сжаты. Музыку мне, конечно, слушать было интересно, но частенько я больше смотрела, как она ее слушает, и поверьте, впечатле-

ние от этой картины было потрясающее. Потому что в этот момент проявлялась внутренняя глубочайшая сущность этого человека.

И вдруг случилась для меня катастрофа! Придя в школу в одиннадцатый класс почти в середине сентября (уже не помню, по какой причине я задержалась с выходом в школу), я узнала, что Нина Валентиновна из школы ушла, а вместо нее литературу ведет Татьяна Гавриловна Чистякова. Она тоже была прекрасным педагогом, опытным, очень толковым. Но не любимым, не обожаемым, не родным! А где же Нина Валентиновна? Оказывается, по семейным обстоятельствам ей пришлось бросить школу и уехать в Серпухов.

Какие у нее могли быть семейные обстоятельства? Значит, кто-то ей был роднее, дороже и ближе, чем мы? Как же она нас бросила в одиннадцатом классе? Как же мы будем жить без нее?

Я не помню, как мне удалось узнать адрес Нины Валентиновны в Серпухове, но я написала ей письмо, где изложила всю свою обиду на ее поступок, всю горечь несбывшихся надежд – ведь в сентябре я несла ей толстенную тетрадь своих стихов, написанных за лето!

Сейчас, по прошествии 40 лет с момента окончания школы, я думаю, как бы я поступила, если бы кто-нибудь из моих учеников осмелился написать мне такое обвинительное письмо. Скорее всего, не стала бы отвечать или ответила бы очень резко и порвала бы всякие отношения с таким человеком. Но Нина Валентиновна, обладавшая огромным человеческим и педагогическим тактом, к моему удивлению, ответила мне мягким человеческим письмом, попыталась объяснить произошедшее, примирить меня с мыслью о том, что я буду учиться у другого педагога.

Постепенно между нами завязалась переписка. Начался новый этап наших отношений – «роман в письмах».

Не надо забывать, что описываемые события происходили в период «хрущевской оттепели» и на литературную сцену выходили те писатели, о которых раньше мы и слыхом не слыхивали. Моей матери, которая работала редактором в издательстве «Художественная литература», удалось купить вышедший после долгого перерыва сборник стихов Анны Ахматовой с рисунком Амадео Модильяни на суперобложке. Я пришла в неописуемый восторг от стихов Ахматовой и отправила Нине Валентиновне толстенное письмо с переписанными из этого сборника стихами. А в ответ получила совет прочитать рассказ «Один день Ивана Денисовича» Солженицына, который был опубликован в «Новом мире».

Так мне хочется думать, что Нина Валентиновна переписывалась со мной не только ради меня, но и потому, что получала что-то интересное для себя из моих писем. Но это, конечно, только мечтания,

что значил мой наивный детский лепет по сравнению с той огромной эрудицией и знаниями, которые были у нее?

Однажды я, в ответ на посланные мною стихи, получила ответные, посвященные мне. Они назывались «В черную тетрадочку». Я их до сих пор помню, потому что, во-первых, это были единственные в моей жизни стихи, посвященные мне, а во-вторых, там были строчки, которые мне пришлось, к сожалению, очень часто повторять про себя в течение жизни. Вот эти стихи:

Девочка с горящими глазами...
Что-то ждет такую на пути?
Девочке с горящими глазами
Жизнь прожить – не поле перейти.

Жизнь – она прекрасна и сурова,
Жизнь и обаятельна и зла...
ОЧЕНЬ ТРУДНО ПОДНИМАТЬСЯ С НОВА,
ЕСЛИ РАЗ ПОВЕРГНУТА БЫЛА...

Там были еще строчки, но я их не запомнила, наверно, важность смысла этих, выделенных мною, закрыла все остальные.

И действительно, каждый раз, когда меня судьба била, приносила какое-то горе, повергала в отчаяние, я, сцепив зубы, начинала подниматься, повторяя про себя те слова, которыми заканчиваются стихи Нины Валентиновны. Они давали мне силы и уверенность в том, что я все-таки сумею подняться.

Боюсь ошибиться, но мне кажется, что в школьную стенгазету, посвященную окончанию школы, она написала для меня такие стихи:

Математические бури
Прошли и не вернутся вновь!
Теперь родной литературе
И смех, и слезы, и любовь!

Когда я поступила на филологический факультет МГУ и стала там заниматься, то я написала ей об этом и получила в ответ сердечное поздравление.

Не могу вспомнить, почему угасла наша переписка, но скорее всего надо мне во всем винить себя.

Но честное слово, каждый раз, входя в свой класс, начиная урок, я подсознательно копирую манеру поведения и методику ведения урока моей любимой учительницы Нины Валентиновны Всесвятской.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

Алина Ким

На Большой Марьинской

Прежде чем завершить книгу, вернемся в далекие 1960-е... В доме на Большой Марьинской в коммуналке на три семьи мы с мамой и Маратиком жили безденежно, весело и счастливо. На наших 16 квадратных метрах постоянно кто-то обитал, ночевал. Месяцами, спасаясь от одиночества в отдельной квартире, жила с нами Лидия Владимировна Домбровская, подружившаяся с Маратиком. Помогала нам рассредоточить гостей наша замечательная соседка Галина Сергеевна Коваленко, имевшая свои 15 квадратных метров. Отбыв двадцать лет на Колыме как «троцкистка», Галина Сергеевна сохранила энергию, оптимизм и любовь к людям. К ней захаживала Евгения Семеновна Гинзбург, с которой они вместе прошли «крутой маршрут». Во втором томе «Доднесь тяготее!» напечатан очерк Галины Коваленко «Латынь»*. В журнале «Москва» опубликована «Ненаписанная повесть» Сергея Власова** о нашей Галине Сергеевне. Прожила она девятую часть жизни в ссылке. Нужно сказать, что многие узники Колымы отличались долголетием, «законсервировали» их магаданские морозы.

А тогда, в конце 50-х, Галина Сергеевна вместе с мамой сражалась с третьей соседкой – злобещей старухой, похвалявшейся дружбой с чекистами (на блины они к ней, бывало, приходили, и даже с «самим Менжинским»). Одним из них она страдала соседок – вот придет Николай Николаевич, он вам... Приходил Николай Николаевич, серенький старичок, но ничего не происходило.

Мама давала частные уроки, учила французский язык, ходила в Консерваторию, боготворила Святослава Рихтера, Рудольфа Керера. Зимой вместе с нами бегала на лыжах в Сокольниках. Много читала. Любимой ее книгой стал тогда роман Пастернака «Доктор Живаго» в «тамиздате», главного героя она нежно называла Юрием Андреевичем. Сохранились листочки с переписанными из романа цитатами (из соображений конспирации – без указания автора!) – например, о революции: «Эта прямолинейность покоряла. Но такие вещи живут в первоначальной чистоте только в голове создателя и только



Галина Сергеевна
Коваленко
с Маратиком

* Доднесь тяготее.
Т. 2. М.:
Возвращение, 2004.

** Власов С.
Ненаписанная повесть //
Москва. 1987. № 11.



Семья
Яшиных-
Матвеевых



Слава Матвеев

в первый час провозглашения. Иезуитство политики на другой же день выворачивает их наизнанку». Или: «А для того, чтобы делать добро, его принципиальности недоставало беспринципности сердца, которое не знает общих случаев, а только частные и которое велико тем, что делает малое». И т.п. Интересно, что эти же цитаты выписывала и я. По ним можно судить, чем мы в то время «болели» – переосмыслением нашей истории, нашего отношения к жизни вообще.

В мамином архиве сохранились и переписанные ею стихи Иосифа Бродского, ходившие тогда только в списках. Автор был вполне законспирирован: Б–ий.

Особое место в жизни мамы занимал Малоярославец. В жаркой Туркмении с ее экзотической природой мама истосковалась по лесам на Буниной горе, речке Луже и, конечно, по людям, ставшим родными за шесть лет ссыльной жизни. Вернувшись в Москву, она частенько наведывалась в любимый город к Ларисе Федоровне, Марии Ивановне, Нине Яшиной-Матвеевой. Мамина духовная дочь Нина вернулась работать врачом в свой город и не одна, а со Славой Матвеевым – ярким самобытным человеком, великим мастером интарсии и резьбы по дереву. В Малоярославце он основал фабрику художественной инкрустации, ее изделия продавались далеко за пределами Калужской области и даже экспортировались за рубеж. В семье родились дочь Лена и сын Саша, и Слава с Ниной своими руками воздвигли дом на улице Фурманова в двух шагах от леса и речки. А у мамы к тому времени появился внук, и в уютном доме Матвеевых бабушка с Маратиком очень любили проводить летние каникулы.

Мама много помогала людям, особенно Раисе Львовне – сестре нашей любимой Елены Львовны, учившей нас в семилетней школе художественному чтению. Сестры были очень похожи, только Раиса Львовна была худощавой, стройной. Смолоду она несла тяжелый крест – ухаживала за сыном с болезнью Дауна. В то время он был уже пожилым мужчиной с бледным одутловатым лицом, время от времени издавал мычащие звуки, неистово колотил себя в грудь. Раиса Львовна успокаивала его нежно, по-матерински. И никогда не жаловалась на судьбу, вина почему-то себя в болезни сына.

Последней большой привязанностью мамы стала внучка Туся, дочка Юлика и Иры Якир. Семейной притчей стал такой эпизод. На

даче, снятой на лето, в саду на лужайке стоит манеж, в нем барахтается маленькая Тусечка. Из дома крадучись выходит с одеялами бабушка Нина, быстро утепляет манеж и убегает. Всю эту сцену наблюдает из окна мама Ира и смеется до слез над бабушкой-перестраховщицей.

В 1969 году после ареста нашего друга и правозащитника Илюши Габая мама регулярно писала ему в лагерь письма. Как никто другой, она понимала, что значат письма для заключенного. 20 октября 1973 года мама вместе с нами оплакивала трагическую гибель Ильи. И кто бы знал тогда, что она уйдет за ним следом...

Году в 70-м Галина Сергеевна выхлопотала себе отдельную квартиру. Мама сразу же подала заявление в исполком о присоединении нашей семье комнаты «за выездом» – так это называлось. На удивление, нам это удалось сделать легко и быстро. Когда мы пришли в жилищную комиссию, приняли нас очень любезно и даже предложили маме отдельную однокомнатную квартиру. Но нам расставаться не хотелось, и мы подтвердили прежнюю просьбу. В заявлении мамы, лежащем на столе чиновника, мы увидели красным карандашом жирно подчеркнутые слова «репрессирована», «лагеря» и т.п. Следовательно, были специальные указы о жилищных льготах для репрессированных, но кто нам о них рассказывал?!

И мы просто шли и радовались, что въедем в комнату нашей соседки, и не думали, что она окажется для мамы смертельной ловушкой...

Упала мама 22 декабря 1973 года накануне дня рождения сына. Встала на стул, чтобы надеть наконецник на елку. Стул был неустойчив, так как на его задние ножки один алмаатинский друг надел пластмассовые белые пробки от винной бутылки – «красоты» ради. А паркет был хорошо натерт мамой же. Тот вечер был мирный и веселый. Приехавший из Малоярославца Слава Матвеев смешил нас рассказами о своей жизни. Вдруг в одну из пауз мама вскочила и побежала в комнату Галины Сергеевны «донарядить» елку. Полезла на злосчастный стул с игрушкой в руках. И тут мы услышали ее отчаянный крик. Приехавший по нашей просьбе Лева Шляков диагностировал перелом шейки бедра. В 59-й больнице, куда «скорая» отвезла маму, ее положили на вытяжение. Полтора месяца она мужественно терпела неудобную позу. Развлекала соседок своими экспромтами про них самих, сестер, нянечек.

Вот изображенный в стихах один день в больнице:

Еще палата крепко спит,
А в коридоре гам:



Мама Ира
с маленькой Тусей



Илюша Габай
с Тусей.
Лето 1973 года

Железо яростно гремит
И чей-то громкий крик летит
По всем по этажам.

Нарушен утренний покой,
И Галя тут как тут,
Больные сонною рукой
Термометры берут.

Минула ночь. Уже рассвет.
Как будем нынче жить?
Придут к нам няни или нет?
Быть няням иль не быть?

Идет обход. Идут врачи,
Трусливо сердце мрет,
За ногу хватать – а ты молчи,
Здесь боли не в зачет.

У нас событий много так:
Кто встал, кто просто сел,
Кто сделал самый первый шаг,
Кто просто... стул имел.

И вот уже вечерний час,
А там близка и ночь,
Аркадьевна ведет рассказ...
Свет тушим. Сутки прочь.

Так «до дней последних донца» мама была верна завету – «светить всегда, светить везде»...

В эти дни маму вдруг разыскала жившая в Тбилиси лагерная подруга Лизико Кицмарашвили (иллюстратор маминых детских книжек). Они успели обменяться письмами, но, к нашему стыду, письма Лизико не сохранились, и мы не можем послать ее семье книжку с ее рисунками.

2 февраля, как обычно, я пришла к маме в палату. Болтали, обедали, мама была спокойна, только ее большие голубые глаза как-то особенно светились в этот день и сильнее, чем обычно, она сжала мою руку при прощании. Я знала, что после меня придет Маратик заниматься с бабушкой русским языком, и ушла по своим делам. При внуке все и случилось.

Мама умерла внезапно, как это бывает при обширной тробоэмболии легочной артерии. Говорят, хорошим людям Бог посылает быструю смерть.

А мне понадобилось целых два года, чтобы избыть постыдные, вгоняющие в краску воспоминания о провинностях перед мамой...

Марат Ким

ЭПИЛОГ ОТ ВНУКА

Я дочитал эту рукопись, составленную мамой и Юликом, и понял, что в ней последняя глава должна быть моей. Простите меня, бабушкины ученики Митя Симуков и Наташа Эйдельмант (я в детстве запомнил ваши имена), ведь это из-за меня бабушка ушла из школы. Я говорил тогда: Мы вышли на пенсию. (Кстати, помню, сколько было пенсии – «шестьдесят пять ноль четыре», она так всегда приговаривала.)

Потом уже мне стало ясно, какое это было для бабушки прекрасное время, ведь она со мной наверстывала не по своей воле пропущенное счастье растить собственных детей.

«Мы вышли на пенсию», чтобы учить меня читать, ходить на лыжах, окучивать картошку в Малоярославце, искать грибы, видеть красивое (была у нас такая игра: глядя в окно электрички, наперегонки отмечать красивое, кто больше и быстрее). Бабушка не только увлеченно учила меня, но и училась сама. Когда я стал ходить в «музыкалку», она вместе со мной разбирала на пианино пьесы по нотам. Взялась за французский язык, который так шел к ее грассированию. Мы смотрели импрессионистов в Пушкинском и модели кораблей в музее на Сретенке, слушали пластинки с прелюдиями Шопена и рассказы Андроникова по радио.

К счастью, я был, что называется, золотой ребенок. Читал все подряд, мне кажется, с трех лет. По крайней мере, к первому классу школы я уже проглотил «Войну и мир». Бабушка прятала от меня «Дафниса и Хлою». Правда, поздно: все неприличное в этом романе я уже прочитал и, кстати говоря, не понял. Впрочем, самое эротичное, что там было, так это легкие прекрасные чувственные иллюстрации Владимира Бехтеева. Может, они повлияли на то, что я стал художником? Хотя в детстве я много лепил из пластилина и поэтому считал, что буду скульптором.



Марат Ким

Потом полюбил кино (замечу, что первый телевизор появился в нашем доме, когда я уже школу заканчивал!) и хотел стать режиссером. Бабушка все мои художества поощряла, несмотря на то, что паркет в нашей комнате был весь в пятнах и блямбах раздавленного пластилина. Периодически меня заставляли их срезать ножиком, что я не любил, так как был вообще медлитель. Клички мои были «Илья Ильич» (разумеется, Обломов) и «Щас», потому что на любые просьбы я именно так и отвечал.

Мы каждое лето ездили на юг, то есть в Крым – то вместе с Юликом и его тестем Петром Ионычем Якиром, сыном командарма, то вслед за мамой, которая увлеклась подводным плаванием и на лето устраивалась врачом в тренировочный лагерь аквалангистов возле Судака. Мы жили с бабушкой в поселке Уютное, а к маме ходили по горной дороге. И все время на ходу играли в «словесные игры»: то в балду, то в знаменитых людей на одну букву, то даже в буриме. До сих пор я не могу просто так идти и быть ничем не занятым. Может, поэтому и песни стал сочинять в конце концов, чтобы время в метро не терять даром. А не походные ли буриме привили мне вкус к рифме?

Однажды на пляже какой-то человек спросил у нас, не свободен ли лежак, и оказался бабушкиным учеником Толей Последовым! Я не удивился. Напротив, эти ее ученики должны бы нам попадаться чаще и на каждом шагу. Мы с Толиной дочкой Гулькой ходили по Уютному и звонко пели «Где-то на белом свете, там, где всегда мороз». Забавно: у мамы, у меня, что уж говорить про моего дядю Юлика – прекрасный слух, а у бабушки был очень приблизительный. Но у нее был

абсолютный внутренний слух на хорошую музыку и дар сильного музыкального сопереживания. Я думаю, она очень гордилась дядькиными песенными успехами и его композиторским талантом.

Часто мы ездили к подругам бабушкиным Лидии Владимировне, Раисе Львовне, Ирине Александровне. Меня поражало вот что: с Лидией Владимировной они всю жизнь были на «вы». Лида, вы... Нина, вы... И это после совместного пребывания в Карлаге!

У Раисы Львовны был взрослый сын, страдавший болезнью Дауна. Я, конечно, его сильно побаивался. Интересно, что мне ни разу не пришлось в голову отказаться поехать. Бабушка была для меня законом жизни. Самым страшным наказанием для меня было ее молчание.

Это случилось только пару раз, да и то длилось совсем недолго, но ничего мучительнее я не переживал. И никогда она не повышала голоса.

Жили мы втроем – мама, бабушка и я – в одной комнате трехкомнатной коммуналки на Большой Марьинской. Периодически приезжали то Последовы из Казани, то Матвейчевы из Малоярославца, то Рачковы из Тамбова. К старому дивану приставлялись стулья и табуретки, и все ложились ночевать поперек дивана, ноги на стулья. И совсем не было тесно. Эту жизнь я помню как очень насыщенную и событиями, и людьми, и смыслом. Каждый вечер приходили дядькины друзья, шли бурные разговоры, год-то был на дворе 65-й или 68-й! Снятие Хрущева, танки в Чехословакии. А друзья-то какие: Илья Габай, Вадик Делоне... Часто мелькало словосочетание «пионерские лагеря». Я лежал на диване, а скрытые от меня обеденным столом взрослые, наклонившись друг к другу, громко и хрипло шептались. Однажды поздно вечером я не выдержал и объявил в воздух: «Я знаю, это были не пионерские лагеря. У фашистов был Гитлер, а у нас Сталин».

Много и бурно дискутировала бабушка с соседкой Галиной Сергеевной, членом партии с девятнадцатого года, отсидевшей за троцкизм. Мне кажется, у них все же оставалось что-то недовыясненное относительно Сталина, какие-то иллюзии насчет ленинизма в целом. Так что я прочитал и рассказы о Дзержинском, о Ленине, и о «подвигах» какого-нибудь Баумана из нашей домашней библиотеки. Мое поколение избавлялось от советского гипноза, между прочим, тоже весьма постепенно. Еще в девятом классе Ленин был для моего ближайшего друга Сашки фигурой выше критики, а я настаивал на том, что вождь пролетариата виноват в крови, пролитой революцией. Правда, больше под влиянием услышанного ночью из-за стола.

Я хочу сказать, что эти последние годы бабушка прожила очень наполненной жизнью: перемены в стране, оттепель, снова застой, осмысление и переосмысление истории, книги, множество друзей и событий, жизнь ее детей – моей мамы и Юлика, внук, наконец...

Мне, сорокашестилетнему уже мужчине, до сих пор трудно заглядывать за тот барьер, которым стала для меня ее смерть.

Я был в восьмом классе. Перед новогодними праздниками бабушка попала в больницу. Я часто навещал ее. И однажды, когда зашел в палату, меня кто-то тут же оттуда вытеснил, в дверь вбегали взволнованные медсестры, врачи. Я только мельком увидел бабушкино очень бледное лицо. Я, помню, вышел и пошел куда-то быстро-быстро, не понимая куда. Меня всего охватил какой-то словно

В Крыму. 1968 год



обморок, я, наверное, в тот момент чувствовал, что ее жизнь кончается. А мир без нее я себе не представлял. Потому что она и была для меня основой мира, системой измерений. Когда на похоронах ее вынесли из морга на зимнюю улицу, я издали увидел гроб и потерял сознание.

Еще много лет я физически чувствовал ее присутствие рядом. Мысленно с ней говорил. Мне казалось, что она стала моим ангелом-хранителем. А потом я где-то прочитал, что, разговаривая с нашими близкими, которых уже нет с нами, оплакивая их, мы сковываем, заземляем их души, не даем улететь туда, в свет, где они и должны отныне быть. И я понял, что все, что нужно для жизни, бабушка в меня заложила, а дальше – я сам.

И все же иногда я ощущаю, как откуда-то сверху по-прежнему приглядывает за мной ее строгая, сильная, светлая душа.

КОРОТКО ОБ АВТОРАХ

Ким Алина. Родилась в 1933 г в Наро-Фоминске. В 1957 г. окончила 2-й Московский медицинский институт. Работала врачом в Восточном Казахстане, с 1962 г. – фтизиатром в туберкулезных учреждениях Московской области, с 1966 г. – научным сотрудником Московского НИИ туберкулеза Минздрава РСФСР. Кандидат медицинских наук. Живет в Москве.

Ким Юлий. Родился в 1936 г в Москве. В 1951–1954 гг. жил в Туркмении, где окончил ташаузскую среднюю школу. В 1954–1959 гг. учился в МГПИ им. В. И. Ленина. Работал учителем на Камчатке и в Москве, с 1968 г. занимается профессиональной литературной деятельностью. Автор более 500 песен, в том числе к 50 фильмам, более 20 пьес, 13 книг. Лауреат четырех литературных премий. Живет в Москве.

Ким Марат Аганасович – внук Н. В. Всесвятской. Родился в 1959 г. в Москве. В 1982 г. окончил филологический факультет МГПИ им. В. И. Ленина, в 1990-м – заочно художественный факультет Московского полиграфического института. Дизайнер, художник книги и кино. Лауреат четырех российских и международных премий. Арт-директор кинокомпании «Централ Партнершип». Живет в Москве.

Всесвятская Наталья Валентиновна (1911–1992) – младшая сестра Нины Всесвятской, экономист, работала в системе Госбанка СССР.

Всесвятский Павел Васильевич (1877–1959) – младший сын Василия Павловича Всесвятского, дядя Нины Всесвятской. Окончил Калужское духовное училище, затем экономический факультет Московского университета.

Вуколов Юрий Александрович. Родился в 1935 г. В 1954 г. окончил ташаузскую среднюю школу, в 1963 г. – Владимирский авиамеханический техникум. Работал старшим инженером в ташкентской лаборатории Госназдора за стандартами и измерительной техникой, главным энергетиком Музея В. И. Ленина в Ташкенте. После окончания Ташкентского института инженеров железнодорожного транспорта в 1971 г. работал на руководящих должностях в системе МПС. Живет в Нижнем Новгороде.

Дронов Николай Дмитриевич. Родился в 1935 г. Окончил ташаузскую среднюю школу в 1954 г., затем Душанбинский политехнический институт. Работал в Душанбе на предприятиях «ФОНОН», заместителем начальника Таджэнерго. В настоящее время живет в Туле.

Дядченко Геннадий Ефимович. Родился в 1936 г. Окончил ташаузскую среднюю школу в 1954 г., в 1960 г. – инженерно-физический факультет Харьковского политехнического института. По окончании его до настоящего времени – ведущий конструктор ЦАГИ в г. Жуковский Московской области.

Ишкильдина-Батыршина Флера Шариповна. Родилась в 1935 г. Окончила ташаузскую среднюю школу в 1954 г. Училась в Ташаузском педагогическом институте на отделении русского языка и литературы. Работала преподавателем в школах Карелии, Ленинградской области, Таллина. Живет в Таллине.

Красноглядова Юлия Вениаминовна. Родилась в 1946 г. Окончила московскую школу № 175 в 1965 г., затем отделение русского языка и литературы филологического факультета МГУ. Работала в Институте мировой литературы, в газете «Московские новости», во Всесоюзной книжной палате. В настоящее время занимается педагогической деятельностью. Автор пособий по литературе.

Кривицкая Фанни Григорьевна (1913–1989). По окончании средней школы в 1934 г. поступила в Литературный институт им. Горького. В 1938 г. была арестована как жена «врага народа». После освобождения в 1943 г. жила в Казахстане, работала учителем рисования, черчения, музыки. В 1987 г. переехала к дочери в Москву.

Маспанова-Пронина Надежда Александровна. Родилась в 1937 г. В 1954 г. окончила ташаузскую среднюю школу, затем – отделение русского языка и литературы Ташаузского педагогического института. Работает преподавателем русского языка и литературы в ташаузской школе № 4.

Новосельцева-Клименко Алина Михайловна (1935–2006). В 1953 г. окончила среднюю школу в Малоярославце, в 1963 г. – заочное отделение Калужского пединститута, работала пионервожатой, секретарем райкома комсомола по школам, учителем начальных классов в Протвино, Обнинске, в обществе «Знание».

Парахневич-Шарипова Людмила Федоровна. Родилась в 1937 г. Окончила ташаузскую среднюю школу в 1955 г. Училась в Ленинградском санитарно-гигиеническом медицинском институте, по окончании его в 1961 г. два года работала эпидемиологом в Ташаузе, затем переехала в Воронеж, где работает главным эпидемиологом. Кандидат медицинских наук.

Плевако Наталья Сергеевна. Родилась в Москве в 1947 г. Окончила московскую школу № 175, затем – исторический факультет МГУ. Старший научный

сотрудник Института Европы Российской академии наук. Преподаватель РГГУ. Кандидат исторических наук.

Понежевская Галина Даниловна. Родилась в 1931 г. В 1954 г. окончила русское отделение филологического факультета МГУ. Работала корреспондентом газеты «Москору Ньюс» и других газет и журналов, на радио. Автор книги «Ты, солнце святое, гори!» о московском учителе словесности И. И. Зеленцове. Живет в Москве.

Последов Анатолий Борисович. Родился в 1937 г. В 1954 г. окончил ташаузскую среднюю школу. В 1954–1960 гг. учился на факультете самолетостроения Казанского авиационного института. Работал на Казанском заводе электронных вычислительных машин инженером-конструктором по проектированию печатающих устройств, начальником технологического бюро опытного производства сборочно-наладочной оснастки. Живет в Казани.

Сенацкая Нонна Александровна. Родилась в 1937 г. В 1954-м г. окончила ташаузскую среднюю школу. Училась в Ташаузском педагогическом институте. Работала преподавателем русского языка в Ташаузском медицинском училище. Живет в Ташаузе.

Симуков Дмитрий Алексеевич. Родился в 1946 г. В 1965 г. окончил московскую школу № 175. Учился в Московском институте иностранных языков. Более двадцати лет работал в Международном отделе ВЦСПС, объездил полмира. Владеет английским, французским и чешским языками. Работает переводчиком. Живет в Москве.

Эйдельмант-Руткевич Наталия Исаковна. Родилась в 1947 г. в Лейпциге. В 1965 г. окончила московскую школу № 175. Поступила в Московский институт инженеров связи. В 1970–1992 гг. работала инженером в Проектном институте связи. С 1992 г. живет и работает в Израиле.

Эйдельмант-Миташова Нина Исаковна. Родилась в 1936 г. Окончила московскую школу № 172, затем – биолого-химический факультет МГПИ им. В. И. Ленина. Работала научным сотрудником в НИИ витаминологии. В настоящее время заведует лабораторией экологии Центрального НИИ бытового обслуживания. Доцент МГУ, член-корреспондент РАЕН. За исследования в области экологии в 2006 г. награждена медалью Е. К. Дашковой.

Содержание

Юлий Ким, Алина Ким

О наших родителях и о тридцать седьмом годе
в свете рассекреченных документов НКВД 5

Часть 1

Тарутино–Крюково–Угодский Завод–
Наро-Фоминск

Юлий Ким, Алина Ким

О наших предках 15

Нина Всесвятская

Неоконченные воспоминания о детстве 22

Павел Всесвятский

К 50-летию со дня открытия
угодскозаводской больницы 62

Наталья Всесвятская

Мои родители 64

Алина Ким

Мой дед 73

Часть 2

Хабаровск–Москва

Нина Всесвятская

Письма подруге 75

Часть 3

Гулаговские маршруты

Фанни Кривицкая

Пути-дороги 89

Галина Поневежская

Лида 108

Целина Будзыньска

Отрывок из книги воспоминаний 114

Алина Ким

Снова Мордовия 116

Часть 4

ГУЛАГиздат

Нина Всесвятская

Сегежская тетрадь 119

Часть 5

Малоярославец–Ташауз

Алина Ким

Детство за 101-м километром 127

Нина Всесвятская

От далекой мамы 160

Юлий Ким

Моя мама, моя учительница 193

Часть 6

Отдельные записи Нины Всесвятской

О школе № 175 209

Серпуховской дневник 213

Часть 7

Ученики об учителе – спустя жизнь 220

Вместо послесловия

Алина Ким

На Большой Марьинской 243

Марат Ким

Эпилог от внука 247

КОРОТКО ОБ АВТОРАХ 251

Алина Черсановна Ким,
Юлий Черсанович Ким,
авторы-составители

О НАШЕЙ МАМЕ
НИНЕ ВСЕСВЯТСКОЙ,
УЧИТЕЛЬНИЦЕ

Редактор Л. С. Еремина
Оформление М. А. Ким, С. В. Герасимова
Корректор Г. В. Заславская

Подписано в печать Формат 60x84/16
Бумага офсетная № 1. Печать офсетная.
Усл. печ. л. 16. Тираж 1020 экз. Заказ

Отпечатано в

Общество «Мемориал» – Издательство «Звенья»
127051 Москва, Малый Каретный пер., 12

Издательство «Звенья» работает при поддержке
Фонда имени Генриха Бёля

xxx

Любимы мне тихие кресты,
А ты прекрасна бес цвистим,
И прелесть твоих сереб
Возлежи чести равности.

Вечно слышишь мороз елов
И слышишь повесть и небу
Их из семьи наших основ,
Их слышишь, как воздух, бескорытно

Лето проснулось и пролететь,
Словенный сон из сердца вырвать
И древо, не засорять ветвь,
Их это - небольшая китрярь.

xxx

Не волнуется, не плачь, не тужи
Сны несдышишь и сердце не мучай
Ты чужда, ты во мне, ты в жизни,
Как опора, как друг и как сиянь.

Вперед в будущее не боюсь
Показаться тебе краснотам
Их не чужды, не душевный сон -
Обоимы обман отражень.

Из тихих твоих тишегов
Кто не воздух широк образовать!
Он мне брат и друг. Он талант,
Их тебе, как слышишь, адренова.

Нагорьки же его ширь, как слышишь,
С торжественным ветром в пареши
Забудь измученный измор,
Забудь разговор по-альпинистам

И над Глодом Товаренных озер
С лютым гор, томо кофю, миссией
Убедимся, что я не дарю
С заложниками к мафю показателю

Добрый путь. Добрый путь. Как слышишь
Как слышишь и над кровлею дома
К и постои не слышу раскрепоще
Их слышишь и во по-дружески

Тогдаи когда-нибудь в
концертино
Мне Франсуа сыраф - тошиль изор
И возрону, и вспомины со
шестьдесят

Французи, кунаше и кунду в ед
Художники родной, как сон, криво
подбер

С бессмысленной цинкой, цинкой в
Видею отранной и едвой, как
подзе,

Художники били, цинку и лод

Мне Франсуа сыраф - я возрону
я слышишь,

И вспомины поизму приняю
и кунду

Синупенки Терраен и коина
убранств

и графа, и еше, и кунду и дуб

Художники паркан, краснотам
шраву,

Ронде пантфу, совале в хана
Набор рисовальников и наши дуб

Их Баеилов зовушей и афму су

Мне Франсуа сыраф - я слышишь
я вспомины

Широкою заросль и кровлю, и в
Батю - поубежителю и коина
информ

Цинку и били, и ~~три~~, и по

И сразу же буду слышишь улаше
И вспомины раннее, тем втисну

Ворачая давность ударил из
Скопий, мие, дружба и слышишь

Могим лих тыценный крест,
А мы прекрасна бес ильиши,
И праведн ивоес сиред
Возвезе чрешии равносилен.

Велено елимен мороз енов
И ~~мелк~~ мелк новосей и неди
Или из елиши палик основ,
Ивои елиши, как воздух, деннороби

Лени проснуется и прозреет,
Словенный сор из серзи вугреш
И древо, не засораде вугреш,
Или это - небольшая китроаф.

Или в возмуде, не маре, не туде
Или несомниши и серзи не муграб
Или чреши, ил во мне, ил в чреши,
Как ошра, как дуги и как сиред.

Вера в будущее не боюе
Поласарьса тебе красенбаеи
Или не чреши, не дичевный сав-
Обоюашии обман одрешаеи.

Из миротной послии тирешев
Или не воздух широд одрешаеи!
Он мне драб и руга: Он фанов,
Или тебе, как илени, адрешаеи.

Назориби же ево шире, как илени,
С ширешаеи везиши в ирешени
Зобези ишурешев из шире,
Завези расноров по-алешени

И из тиродан боварени ошр
С ширешаеи шире, ширешаеи, ширешаеи
Убедимеи, что я не одрешев
С залобвенный к мезу пошешаеи

Зобриш шире. Зобриш шире, как илени,
Или тебе, как илени, адрешаеи
Или не чреши, не дичевный сав-
Обоюашии обман одрешаеи.

Богамн илга-мидуе в
консерпиво
Или Франеа сиред-госиов илга,
И взгрому, и веношии сав-
мешешаеи

Франуши, кунане и куниду везу.
Илгоуеиши рибев, как сав, илгоу-
иовев.

С беленый ширешаеи, илгоуи везу.
Илгоуи одрешаеи и елешаеи, как
мидуе.

Илгоуеиши одрешаеи, илгоуи и лоб.
Или Франеа сиред - и взгрому,
и саванеа,

И веношии пошешаеи ирешаеи
и кунуи,
Синуеиши Терраеш и кунуи
удрешаеи,

И графа, и ели, и куниду и дуб.
Илгоуеиши паркане, красенани
шраву,

Ронде пашитру, саванеа в кане!
Илгоуи рибеваниши и пашитру
Или башевый зобуеи и аешии сав-
и

Или Франеа сиред - и саванеа,
и веношии
Илгоуи ширешаеи и кунуи
и ширешаеи

И сразу же буду ширешаеи илгоуи
И веношии рибеваниши, илгоуи ширешаеи
Илгоуи ширешаеи илгоуи ширешаеи
Илгоуи ширешаеи илгоуи ширешаеи

Или не получав саван
Илгоуиши ширешаеи с одрешаеи
Но шире ширешаеи го, что шире
А шире все, что шире и

Или шире, ширешаеи ширешаеи
Илгоуиши ширешаеи
Илгоуиши ширешаеи ширешаеи
Илгоуиши ширешаеи ширешаеи

Или в шире ширешаеи ширешаеи
Или ширешаеи ширешаеи ширешаеи
Или ширешаеи ширешаеи ширешаеи
Или ширешаеи ширешаеи ширешаеи

Или ширешаеи ширешаеи ширешаеи
Или ширешаеи ширешаеи ширешаеи
Или ширешаеи ширешаеи ширешаеи
Или ширешаеи ширешаеи ширешаеи

Или ширешаеи ширешаеи ширешаеи
Или ширешаеи ширешаеи ширешаеи
Или ширешаеи ширешаеи ширешаеи
Или ширешаеи ширешаеи ширешаеи

Или ширешаеи ширешаеи ширешаеи
Или ширешаеи ширешаеи ширешаеи
Или ширешаеи ширешаеи ширешаеи
Или ширешаеи ширешаеи ширешаеи

Илгоуиши ширешаеи ширешаеи ширешаеи
Илгоуиши ширешаеи ширешаеи ширешаеи
Илгоуиши ширешаеи ширешаеи ширешаеи
Илгоуиши ширешаеи ширешаеи ширешаеи

Или ширешаеи ширешаеи ширешаеи
Или ширешаеи ширешаеи ширешаеи
Или ширешаеи ширешаеи ширешаеи
Или ширешаеи ширешаеи ширешаеи

Или ширешаеи ширешаеи ширешаеи
Или ширешаеи ширешаеи ширешаеи
Или ширешаеи ширешаеи ширешаеи
Или ширешаеи ширешаеи ширешаеи

Или ширешаеи ширешаеи ширешаеи
Или ширешаеи ширешаеи ширешаеи
Или ширешаеи ширешаеи ширешаеи
Или ширешаеи ширешаеи ширешаеи

Или ширешаеи ширешаеи ширешаеи
Или ширешаеи ширешаеи ширешаеи
Или ширешаеи ширешаеи ширешаеи
Или ширешаеи ширешаеи ширешаеи

Или ширешаеи ширешаеи ширешаеи
Или ширешаеи ширешаеи ширешаеи
Или ширешаеи ширешаеи ширешаеи
Или ширешаеи ширешаеи ширешаеи

Или ширешаеи ширешаеи ширешаеи
Или ширешаеи ширешаеи ширешаеи
Или ширешаеи ширешаеи ширешаеи
Или ширешаеи ширешаеи ширешаеи

Или ширешаеи ширешаеи ширешаеи
Или ширешаеи ширешаеи ширешаеи
Или ширешаеи ширешаеи ширешаеи
Или ширешаеи ширешаеи ширешаеи



4 октября 2016 года Минюст РФ внес
Международный Мемориал в реестр
«некоммерческих организаций, выполняющих
функцию иностранного агента».